Новый Журнал

146

THE NEW REVIEW

THE NEW REVIEW
НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

С 1966 до 1975 редактор Роман Гуль

С 1975 по 1976 редакция. Р. Гуль (главный редактор), Г. Андреев, Л. Ржевский

Сорок первый год издания

Кн. 146 НЬЮ ЙОРК 1982

РЕДАКЦИЯ: РОМАН ГУЛЬ И Е. Л. МАГЕРОВСКИЙ
СЕКРЕТАРЬ: ЗОЯ ЮРЬЕВА

NEW REVIEW. MARCH 1982

Quarterly No 146
2700 Broadway. New York. N. Y 10025
Subscription Price $24 — for one year
Publisher New Review Inc
Second Class Mail postage paid
at New York. N Y

ОГЛАВЛЕНИЕ

Солидарность с "Солидарностью" 5

Ю. Кротков — Арест 6

СТИХИ: Б. Нарциссов (73), В. Перелешин (74, 86), Ю. Иваск (85), М. Волкова (86), И. Чиннов (97).

М. Альтшуллер — Москва-Петушки В. Ерофеева и традиции классической поэмы 75

Э. Боброва — И. Одоевцева 88

А. Белозерский — Мастер 99

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

Письма Б. Зайцева И. и В. Буниным 115

М. Гольдштейн — Мемуары 20-летнего музыканта 143

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

Игумен Геннадий — Три историософских варианта Вл. Соловьева 175

П. Палий — Неиспользованное и гибнущее наследство 194

Д. Штурман — В тоске по утраченным абсолютам 208

Ю. Фельштинский — Из истории нашей закрытости 224

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ: — *В. Блинов* — Международная конференция, посвященная Вяч. Иванову. *Сен. Д. Мойнихен цитирует "Новый Журнал"* 241

БИБЛИОГРАФИЯ: *Игум. Геннадий* — Д. Штурман. "Наш новый мир". *Т. Фесенко* — Ст. В. Бене "Тело Дж. Брауна" в переводе И. Елагина. *Ю. Тролль* — Р. Гуль. Я унес Россию.

С. Крыжицкий — Устами Бунина. *П. П. Лапиккен* — Alla Crone. "East lies the Sun". *Р. Плетнев* — Письмо в редакцию. *Книги для отзыва* 252

Printed in U.S.A., by Computoprint Corporation
335 Clifton Ave., Clifton, N.J. 07011

СОЛИДАРНОСТЬ С "СОЛИДАРНОСТЬЮ"

Рожденье в польском народе массовой духовной силы, восставшей против звериного комунистического тоталитаризма, мы считаем историческим чудом, которым Польша в праве гордиться. "Новый Журнал" сорок лет защищающий творческую и гражданскую свободу человека, как такового, горячо приветствует "Солидарность", ее лидера Леха Валенсу и всех поляков (рабочих, крестьян, интеллигентов) в их борьбе за их свободу, за полную государственную независимость Польши от бандитской "брежневской империи". Идущая на наших глазах борьба поляков это не только польская борьба, это и наша борьба, это борьба всех людей свободы и чести с захватывающим мир коммунизмом. С этой чудовищной международной мафией. Да здравствует "Солидарность"! Да здравствует братство свободных русских с свободными и независимыми ни от кого поляками!

Роман Гуль, Евгений Магеровский

АРЕСТ

Повесть

Вступление

Сам я в этой истории непосредственно замешан не был, но знаю ее, атмосферу, способствовавшую ей, и вовлеченных в нее людей, очень хорошо. Некоторые из них были моими друзьями, а некоторые — врагами.

Если смотреть на вещи социологически, то сыр-бор с финалом, о котором долго шептались в литературных кругах Москвы, разгорелся на почве неоспоримых закономерностей нашей эпохи. По внешней же линии, безо всякого умысла, затеял эту фантасмагорию Тенгиз Тавардкиладзе, грузинский писатель, прозаик, мой приятель и однокашник по Литературному институту, с которым, между прочим, несколько лет назад я особенно подружился, проведя вместе лето в Гаграх, на черноморском побережье и потом, неделю, в его родном Тбилиси. Так вот он-то в преддверии того, что я назвал фантасмагорией, приехав в Москву, привез с собой два бочонка с вином и три бутылки с коньяком. Это у грузин многовековая традиция. В делах или просто так они не обходятся без паров Бахуса, свято веря в их всесилие и стараясь умножать удовольствия на расчет. Их не изменишь. Они были такими при царе Ираклии, они такие же и в наше заново преобразованное время, когда алкоголь в обществе социализма считается чем-то вроде пятой колонны. Но что поделаешь, если в красивой горной республике виноград, наполняясь весельем и теплом природы, растет сам по себе и где попало, а колхозники в деревнях с детства употребляют вместо воды вино. Кстати, в позапрошлом году, по рассказу очевидца, Тенгиз на пари перепил знаменитого миланского драматурга. К концу

"ристалища" тот не выдержал и свалился, а Тенгиз продолжал стоять на ногах, слегка покачиваясь и говоря представителю "Интуриста" (и наверное КГБ), сопровождавшему советских туристов: "Товарищ Апполон Рожков, не волнуйтесь, все будет в п-п-порядке". В Тбилиси отец Тенгиза, высокий, прямой как шест старик, по профессии винодел, за ужином (а за столом у него в доме сидело человек двадцать) провозглашал один за другим тосты за процветание членов Политбюро ЦК КПСС. Я уже лыко не вязал, ведь за каждого пришлось выпить по целому стакану. Когда же он исчерпал вождей, нам подали тарелки с четырьмя граненными стаканами вина на каждой. И отец Тенгиза сказал на ломаном русском языке:

— А теперь, дорогие товарищи, давайте выпьем за здоровье всех членов Политбюро вместе взятых!

И в этом случае надо было выпить четыре стакана подряд. Наутро старик был свеж как огурчик, а я умирал от головной боли. Подкрутив свои острые усы, он заявил уже по-грузински (Тенгиз перевел мне его фразу):

— Я покончил с третьей цистерной вина, а этот фанфарон еще не добрался до конца первой.

Фанфароном он назвал сына, конечно. А в Тенгизе было что-то такое. Он был красив в парфюмерном смысле слова, он постоянно приглаживал нарядные, волнисто вьющиеся каштановые волосы, закатывал карие глаза и, как стыдливая барышня, нет-нет да закусывал нижнюю губу; ходил он полутанцуя и манерно двигая руками и поводя плечами. Кажется, он во всем подражал своему прославленному дяде, народному поэту Грузии, Автандилу Коркия, который был первым, кто сложил поэму о детстве Сталина, но в то же время, по словам Тенгиза, привил ему вкус к литературе и к "вольным" воззрениям, а под конец взял и сошел с ума, переполошив всю республику. Отца Тенгиз упрекал в гедонизме и карьеризме, впрочем, унаследовав от него последние, в сочетании с материнской, так характерной для кавказских женщин старшего поколения, смиренностью.

Первый раз Тавардкиладзе встретился с переводчиком своего нового романа на русский язык зимой в Москве, после того, как тот просмотрел подстрочник и подписал договор с издательством Гослитиздат. Тогда дело ограничилось великолепным

обедом в популярном ресторане "Арагви". Теперь же, когда перевод был почти завершен, Тенгиз решил размахнуться во всю широту души и вот этими двумя бочонками вина и тремя бутылками коньяку, по существу, споил семью переводчика, еще не так давно известного советского писателя, Андрея Кутырева, а также семью "выдающегося" советского поэта, Евгения Светозара, с которым в то время у меня лично были прерваны отношения, ибо он публично назвал меня "блудливым котом", а я его публично заклеймил "попом Гапоном", то есть провокатором. Обе семьи спились потому, что обе жили в Переделкино, сосуществуя на одной даче, поделенной на две части. Правую занимали Кутыревы, левую — Светозары. Терраса у них была общая и на ней стоял общий обеденный стол, и на нем-то и "расположились" два бочонка и три бутылки. Ведь Тенгиз, приехав в Москву и остановившись в гостинице "Гранд-Отель", где издательство забронировало ему номер, сразу взял такси, погрузил в него "дары" Бахуса и отправился прямо на дачу Кутырева-Светозара. Так что каждый здесь мог подойти к столу и налить себе в бокал, в рюмку или в другую посудину, первоклассного вина или коньяка и выпить то или другое в неограниченном количестве. Накачались все. Почти все. Пьющие и даже непьющие. И возникла эта фантасмагорическая ситуация. В течение нескольких дней жизнь шла вверх тормашками. Некоторые окарикатурились, открыв свои реальные и глубоко запрятанные физиономии, по пословице: "Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке". Трезвые же или полутрезвые впали чуть ли не в инфантильность. Может быть, в отдельных случаях вино и коньяк доводили моих друзей и врагов, как ни парадоксально это звучит, до порога истины. Изрек же один московский юморист: "Истина всегда на взводе, то есть она подвыпившая гражданочка".

Теперь я должен кратко описать дачу, явившуюся как бы основной зрелищной площадкой, ну и в общих чертах писательские семьи Кутырева и Светозара. Конечно, без этого можно было бы обойтись, дав характеристики действующих лиц по ходу событий, но я предпочитаю открывать шахматную доску сразу и сразу же расставлять на ней фигуры. Таковы мои литературный стиль и темперамент.

О том, что поселок Переделкино это подмосковный дачный центр столичных литераторов достаточно известно как в СССР, так и за границей. Уголок этот очень живописный, более или менее тихий и все еще сельский. Для историков замечу, что в недалеком и памятном прошлом Переделкино было местом страшных боев и земля здесь, фигурально выражаясь, увлажнена кровью сотен членов Союза Советских Писателей (ССП). По приказу Сталина здесь было уничтожено много настоящих, полунастоящих и даже не настоящих романистов, поэтов и критиков. Я позволю себе воскликнуть:

— Ах, если бы Переделкинские лесные чащи, поля и овраги, если бы деревянные дачи, дороги и телеграфные столбы могли выступить свидетелями экзекуций того времени! Если бы это случилось, то к списку чудовищных преступлений "великого вождя народов" безусловно прибавилось бы еще несколько зловещих страниц.

Одна из таких деревянных дач, массивный одноэтажный сруб с резными украшениями вокруг окон, находилась на просеке имени Лермонтова и была огорожена слегка подгнившим низким забором. Вот в этом срубе летом (хотя он был приспособлен и к зиме) жили Кутыревы и Светозары. На территории дачи имелись двор, огород, сад, гараж и столь типичный для подмосковья душ-кабина, сколоченная из досок, с металлическим баком для воды, которая нагревалась солнечными лучами. Кроме того, в глубине, за домом, начинался лесок. Может быть, следует прибавить к этому описанию кусты чайных роз, которыми был обсажен дом, несколько елей и дубков у входа на террасу и гамак в саду.

Повторяю, правая часть дачи принадлежала Кутыреву, а левая — Светозару, принадлежали в том смысле, что обоим писателям Литературный Фонд СССР предоставил возможность арендовать по полдачи, за что они платили в месяц по 360 рублей каждый, что конечно, по тем временам, было вполне сносно. В том же, что Кутырев и Светозар имели по полдачи, а не по даче заключался свой эпохальный смысл: Светозар, будучи восходящей звездой на поэтическом горизонте, пока что, однако, не достиг зенита; к нему в высших инстанциях относились благожелательно, его как бы "культивировали", но в то же время

настороженно следили за ним, боясь как бы он не сделал какого-либо неожиданного "финта". Так что отдельной дачи ему в Переделкино еще не дали. Что же касается Кутырева, то Андрей Алексеевич застрял на полдороге, а вернее повис там, одно время бурно взбираясь вверх (его роман "Ермак", например, "Правда" назвала образцом советской исторической прозы), но затем вдруг перестал писать "созвучное" и начал зарабатывать на жизнь переводами авторов из республик нац. меньшинства и, по слухам, взялся за капитальное, то есть за современные "Войну и Мир", за роман, названный им "Годы и Люди", которому он отдал уже несколько лет своей жизни. По слухам же, Кутырев в этом романе критиковал наш режим и сравнил Сталина с Гитлером. Так или иначе, товарищи из ЦК КПСС, повседневные и повсеместные кормчии, решили воздержаться от предоставления отдельной дачи и Кутыреву. Ну и, в результате, прозаик и поэт, во всех отношениях абсолютно разные люди, оказались вдвоем на одной даче.

У Кутырева на его половине было три комнаты с ванной и кухней и еще закуток для домработницы. Обстановка отличалась скромностью: на старом паркетном полу лежали два уже полуистлевших и кое-где прохудившихся ковра. Мебель была разнобойная и поскрипывала. Зато в гостиной стоял черный рояль с карликовым кактусом на нем. И еще одна примечательная деталь: в кабинете Андрея уместился старый токарный станок, приводившийся в движение ногой, на котором он в свободное время, покрываясь мелкими деревянными стружками, вытачивал разные фигурки.

Половина Светозара, так же состоявшая из трех комнат с ванной и кухней, но без закутка для домработницы, была обставлена куда богаче. В гостиной красовался широкоэкранный телевизор — редкость в те дни (Евгений приобрел его в комиссионном магазине за баснословные деньги). Мебель была "модерная", кажется, финская. К тому же у Светозара имелся автомобиль "Москвич" ярко красного цвета, в связи с чем, к месту будь сказано, поэт получил в Переделкино кличку "брандмайор".

Андрею Кутыреву тогда стукнуло пятьдесят восемь, но он всячески преграждал путь старости, держась как спортсмен, выпячивая дугой грудь и отводя в стороны, как это делают

тяжелоатлеты, руки. Был он невысоким, плотным, кряжистым, с короткой шеей, с круглым лицом, на котором были заметны сильные скулы, с русопятым-пуговицей носом и густыми путаными бровями, с веселыми, а то суровыми, а то испуганными глазами василькового цвета; ходил, широко выбрасывая ноги и часто что-то мурлыча или произнося навсегда заученное "Пам-пам-пам..." Пожалуй, единственным уязвимым местом во внешности Кутырева была его плешь, но он ее тщательно скрывал, постоянно нося головной убор, напоминавший голубой дамский чепчик. Поэтому-то в литературных кругах его и называли "чепчиком".

Один мой коллега по перу сказал о Кутыреве:

— "Чепчик" одарен, но беда в том, что он подходит под разряд писателей — ни два ни полтора, или ни Богу свечка ни черту кочерга.

Я лично всегда питал к Кутыреву симпатию. Впрочем, может быть, от того, что сам я (признаюсь в порядке самокритики) ни два ни полтора и ни богу свечка ни черту кочерга. Последняя квалификация особенно запомнилась мне, ибо ее в одной из своих знаменитых речей употребил Сталин, а его изречения так влезли в мою башку, что их из нее и ломом не выковыришь. (Позволительно спросить: но кто из нас, членов ССП, не подходит под эту рубрику в той или иной мере?)

Да, я запамятовал сказать, что у Андрея была забавная привычка: беседуя, он часто вертел языком то за правой, то за левой щеками, или же прищелкивал языком так, как прищелкивают, открывая, скажем, бутылку с водкой.

В жару Кутырев носил парусиновые брюки и рубашку на выпуск с накладными "толстовскими" карманами, на шее цветистый шарф, а на ногах теннисные туфли, при этом жалуясь на то, что у него преют пятки.

Жена Андрея, Мария Петровна, в прошлом была хороша собой, в ней сохранилась величавая осанка и голова ее все еще была посажена гордо, но глаза ее давно погасли, губы поблекли, а волосы сплошь поседели, оставаясь, впрочем, все еще густыми. И, главное, Мария Петровна, попросту говоря, свихнулась умственно, однако она не была буйной, напротив, она была

очень спокойной. Как тень отца Гамлета, во всем черном, она то появлялась на террасе или в саду, то исчезала в своей комнате, где играла на скрипке (в молодости, по рассказам Кутырева, она окончила Киевскую консерваторию и выступала с концертами). Интересна и необыкновенна была полубредовая философия Марии Петровны о духовной вечности.

Дочь Кутыревых, Ирина, двадцатилетняя и весьма смазливая девица, на все сто процентов "из жизни". Учась на актерском факультете Всесоюзного Института Кинематографии, она каждый месяц перекрашивала волосы, маникюрила, конечно, ногти на руках и на ногах, увлекалась нарядами, которые на все лады обнажали ее, любила таскаться по ресторанам, танцевала и нередко в пьяной "компашке" делала "американский стриптиз". Изрекая постоянно всякие "пикантности", она постоянно ссорилась с отцом. Впрочем, у нее для того были и весьма веские причины. А в общем, как я уже заметил, она была типичным представителем нашей советской молодежи из разряда элитных или полуэлитных. Один элитный сынок министра сказал о ней:

— Ирке на язык не попадайся! Срежет, бикса!

В состав семьи Кутырева я должен включить и его домработницу. Клавдию Васильевну, женщину "в теле". О своей биографии она предпочитала молчать, но я знал, например, что попала она в наши края совершенно случайно, что прежде она жила где-то на Кубани и была замужем за директором коневодческого совхоза, который в шутку, наверное, прозывался — "Что ты ржешь, мой конь ретивый...", а после смерти мужа (может быть заразился сапом) она поехала в гости к дальней родственнице в Подольск, под Москвой, и там осела. Затем каким-то образом ей удалось прописаться в Москве. Затем она начала наниматься домработницей к разным писателям. Под конец, вот угодила к Кутыреву. Клавдия Васильевна казалась бабой простой, доброй и набожной, но это было не совсем так. Во всяком случае, в пятьдесят лет она умудрялась в своих тщательно подведенных глазах сохранить блеск, в котором явно присутствовала женская сила.

О Светозаре я бы мог написать целую книгу, и он ее

заслуживает. Повторяю, с моей точки зрения, он был попом Гапоном. Высоченнейший, как жираф, худой, как вобла, с впалыми щеками и жиденькими свисавшими на лоб белесыми волосиками, мокрогубый и с острым кадыком, он представлялся мне отвратительным млекопитающим. Голос у него был пронзительный и наглый, как у колхозников на рынке, а руки у него были длинными и цепкими, как у обезьяны. Я не очень разбираюсь в поэзии, но знатоки оценивали его как "фельетониста с рифмами", тогда как он сам считал себя лириком и "борцом за свободу человеческого духа", не меньше. Короче, по-моему, он обладал фантастическим нюхом и, играя на времени, в основном был таким же трусом, как и я, но зато более жадным.

И вот надо же, этому гаду привалило счастье. Нет, я не говорю о его литературной карьере. Дело в том, что им увлеклась Клара Ильмас, увлеклась как поэтом и вышла за него замуж.

Ах, Клара, Клара! Кто из нашей писательской братии не был влюблен в эту удивительно притягательную женщину? Поэты решительно всех мастей посвящали ей сотни пламенных четверостиший. Клара была необыкновенно красива, это признавали все. По типу Кармен, жгучая брюнетка, она владела редкими светло-голубыми и чуть косящими во внутрь глазами. А в ее обычно приоткрытых алых губах таился, ах черт, я не в состоянии удержать себя от того, чтобы не употребить этих банальных слов, да, да, в ее обычно приоткрытых алых губах таился манящий зов. Она была среднего роста, пропорционально сложенная, с высокой грудью и очень узкой талией (такую, ей Богу, можно было обхватить большим и указательным пальцами одной руки). А ее походка! О, ее походка сводила с ума! Не случайно Клара была дважды, до Светозара, замужем, сначала за драматургом Аркадием Примаковым, а потом за баснописцем Михаилом Лучиным (оба были талантливы, но "профессиональные алкоголики"). Она обоих, разумеется, бросила. И, увы, связалась со Светозаром. Нет, Клара все же была магнетическая женщина. Она была не только соблазнительна, как женщина, она была к тому же умна, и у нее было отважное сердце. И не только это. Если у нас еще существует нечто высоко трагическое и героическое, по масштабу равное

переживаниям, скажем, Анны Карениной и Жанны д'Арк, то, на мой взгляд, Клара была образом советской трагической и героической женщины, без производственного стажа и без звания летчика-космонавта. Она пыталась совершить великий подвиг — быть самой собой, но это ей до конца не удавалось и не удалось. Клара писала стихи, но быстро поняла, что у нее не было большого поэтического дара и перестала этим заниматься. Однако она обладала отличным литературным вкусом и инстинктивным ощущением настоящей литературы. Я думаю, что она была пронизана ею до мозга костей. Выйдя за Светозара и поселившись в Переделкино, она, естественно, близко познакомилась с Кутыревым. Через несколько месяцев Андрей Алексеевич предложил ей работу литературного секретаря. Клара согласилась. Когда мне намекнули на то, что она завела с Андреем "шашни", я, разумеется, удивился, учитывая, прежде всего, солидную разницу в летах, хотя в "Евгении Онегине" и поется: "Любви все возрасты покорны..."

Словом Клара Ильмас в наших буднях была явление прекрасное и лучезарное. Я других слов не нахожу. Интересно то, что она родилась на Волге. Отец ее был партийным работником, латышом, а мать — француженкой, да, да, француженкой, кажется, из Марселя, увлеченной идеями новой жизни и приехавшей по собственному желанию строить коммунизм. Из Москвы ее послали на сборку автомобильного завода в Нижний-Новгород, там она встретилась с отцом Клары; они поженились. Вилли Ильмас возглавлял партийный комитет завода. Ну а в 1937 году обоих арестовали по подозрению в шпионаже. Тогда это было в порядке вещей. Сталина обуяла паранойя и в каждом человеке он видел врага. Так что Клара попала в дом для сирот и прошла трудный жизненный путь. Впрочем, советская власть помогла ей получить среднее образование и окончить литературный факультет Московского университета. Между прочим, злые языки судачили, что она была больше еврейкой, чем латышкой, потому что у ее матери в роду кто-то был "испанским жидом". Один кривоногий лирик сочинил эпиграмму о Кларе, назвав ее "Жидовочкой", а другая его эпиграмма о Кларе называлась — "Сексуалочка". А моя очень завистливая и

ревнивая жена не упускала возможности, чтобы, например, не съязвить:

— Эта "брандмайорша" послала письмо главному редактору Госиздата, Лесковскому, и вместо подписи поставила языческий знак — отпечаток губ, сделанный с помощью красной помады.

Теперь об отце Светозара. Афанасий Гнедых, выходец из зажиточной крестьянской семьи с Урала, пошел на первую империалистическую войну рядовым, заработал два солдатских Георгия, затем в гражданскую заделался красным командиром, вступил в ленинскую партию большевиков, позже проучился четыре года в Военной Академии имени Фрунзе, полез вверх и дослужился до комбрига с тремя орденами боевого Красного Знамени. Конечно он стал бы и маршалом Советского Союза, если бы "великий вождь народов" в том же 1937 году не начал бы чистку своего генералитета, в результате которой Гнедых попал в черный список: его направили куда-то в Хабаровск, командовать бригадой, а вскоре арестовали, объявили "врагом народа" и упекли на десятку на Колыму, где он по истечении первого срока получил второй. Жена его, то есть мать Светозара, скромная химичка, умерла от горя через год после ареста мужа. Евгений воспитывался, если я не ошибаюсь, у тетки в Крыму. Комбрига же Гнедых после смерти Сталина реабилитировали. Разумеется, уже процветающий сынок-поэт взял отца к себе и сразу же сложил о нем эпическую поэму "Родитель", а родитель-то был полуживой развалиной. Целые дни он просиживал в кресле на колесиках, почти ничего не говоря и, в лучшем случае, устремив мутный взгляд куда-то в пространство. Тем не менее, при содействии Евгения он получил обратно свой ранг, награды, денежную компенсацию и даже обратился в суд с требованием вернуть ему и конфискованные при аресте вещи. Каждый в Переделкино, проходя мимо дачи Кутырева-Светозара, заглянув через забор, мог увидеть на террасе кресло на колесиках, а в нем грузное тело комбрига, облаченное в старую военную форму, с орденами на груди и с кавалерийской саблей между колен. Со стороны он напоминал что-то бутафорское, куклу, сделанную из папье-маше.

Так же, как я зачислил в состав семьи Кутырева домработ-

ницу Клавдию Васильевну, я должен зачислить в семью Светозара и актера Ланского, небольшого, подвижного, по внешности очень похожего (без грима) на Ленина, да, на Владимира Ильича Ленина. Он и шагал как Ильич, и как Ильич выкидывал правую руку вперед, а пальцы левой закладывал в кармашек жилетки, впрочем иногда по-ленински закладывая в оба кармашка жилетки пальцы обеих рук. Он даже картавил как Ленин. Все это было в нем уже его второй натурой, нажитой за то время, что он играл на сценах советских театров роль Ленина. В конце тридцатых годов актер Ланской был нарасхват. Его приглашали и в кино изображать Ленина. Но перед самой войной его ни с того ни с сего арестовали и дали 58-ю статью, сослав на ту же злосчастную Колыму. Он сам рассказывал, что "взяли" его по личному распоряжению Сталина за то, что он, видите ли, увлекся изучением эсперанто, языка, который вождь считал реакционным и оружием империализма и космополитизма. Ланского забрали прямо на спектакле, со сцены, одетого в ленинскую тройку (пиджак, брюки и жилетка черного цвета). И попал актер в тот же самый лагерь, в котором находился Гнедых. Они подружились. Когда отца Евгения выпустили, он решил позаботиться о своем "корышке", одиноком и неприкаянном актере. Это по свидетельству Светозара. И вот Ланской, после реабилитации, тоже приехал в Москву и Евгений начал хлопотать и за него, чтобы и ему вернули все его прежние привилегии. Подчеркиваю, это по свидетельству Евгения Светозара. Позже выяснилось, что дело обстояло несколько иначе.

В дополнение к вышеперечисленным действующим лицам, я должен упомянуть еще двух соседей Кутырева по Переделкино. То есть Арона Рошаля и Ивана Фадейкина-Пырькова. Первый жил тоже на аллее Лермонтова, на собственной даче (некоторые писатели у нас имели и имеют *собственные* дачи), которую он купил у вдовы маршала Лячко за 500 тысяч рублей, считаясь в нашей среде "миллионщиком", так как на сценах всех театров страны последние десять-пятнадцать лет шли его пьесы и были они комедиями и народ на них валил валом (ну хоть погоготать!), так что сборы были хорошими и Рошаль получал по полтора процента за акт, а комедии у него были, в основном, четырехактные; он даже написал одну в пять актов, но в "инстан-

ции" ему предложили переделать ее в четырехактную, а он, назло, взял и переделал ее в одноактную. В прошлом юморист из Одессы, на всю жизнь оставшийся "одесситом", круглый и лоснящийся как шар, с толстым семитским и уже обрюзгшим носом, отвислыми, как у сеттера, ушами и почти что негритянскими двухслойными губами, Арон Моисеевич был изобретателен на слово и щедр на деньги: он одалживал направо и налево и безвозвратно, то есть одолжит, а если не вернут, больше не давал. Половина московских "письменников" была у него в долгу и это ему очень нравилось, потому что должники либо всячески заискивали перед ним, либо, завидя, переходили на другую сторону улицы. Рошаль был притчей во языщех. О нем острили: "Рошаль был весь раскрыт и струны в нем дрожали". "Рошаль это вулкан, извергающий потоки ваты" и так далее. (Некоторые подозревали, что это он сам распространял о себе подобные "хохмы"). Но главное, что прилипло к Арону, так это эпитет одного ранее скончавшегося советского Гольдони — "Эротически незаурядная личность". Да, Рошаль был в этом смысле гусаром, готовым умотнуть за любой юбкой, но предпочитал, по его словам, за той, которая была "покороче". К тому же у него вечно были красные ладони, что свидетельствовало о плохом кровообращении, так что он петушился, а мог каждую минуту дать дуба, тем более, что у него была молодая жена, которую он называл "стервой".

Что же касается Фадейкина-Пырькова, то этот жидобой тяжелого веса являлся ни больше ни меньше как генеральным секретарем президиума ССП и пользовался особым доверием в ЦК КПСС, будучи его членом. Иван когда-то писал романы о людях двадцатых годов, преимущественно о рабочем классе, так как сам являлся потомственным пролетарием, родившись, кажется, у Абельмановской заставы в Москве. Один из его романов был озаглавлен "Парень с Абельмановской заставы". Однако в хрестоматию для средних школ он попал за роман "Бурный Дон", о гражданской войне. С годами этот тип стал законодателем в советской литературе, приводным ремнем "социалистического реализма", так сказать соавтором метода, ибо авторство тут ведь принадлежит самим Сталину и Горькому. Заручившись поддержкой "инстанции", Фадейкин-

Пырьков в наших кругах получил неофициальный титул "литературного маршала". Этому способствовал, разумеется, и тот факт, что за "Бурный Дон" мудрецы из Стокгольма присудили ему Нобелевскую премию (Толстому не присудили, а Фадейкину-Пырькову, да, присудили!). А "маршал" зверски пил и был постоянно близок к белой горячке. И это не было ни для кого секретом. В период запоев он отлеживался на даче в Переделкино, построенной в стиле русского теремка и находившейся на просеке Гоголя, тоже неподалеку от дачи Кутырева-Светозара. А если вдруг его вызывали в ЦК, то личный доктор Ивана Александровича впрыскивал ему в зад что-то отрезвляющее и его везли в черном лимузине американской марки на Старую площадь или в Кремль. Там же на факт алкоголизма смотрели сквозь пальцы, ценя "преданность товарища". Фадейкин-Пырьков был во всех отношениях личностью патологической. Его можно было бы определить в галерею героев или антигероев готической литературы, рядом с каким-либо чудовищем Франкенштейном. Он был высок, худ, чем-то напоминая Светозара, только так годков на тридцать постарше. И у него был уникальный затылок, по форме точь-в-точь кокосовый орех. Голос у него был пропитой, а в мушиных глазах постоянно светилась сладострастная издевка над ближним, если можно так выразиться. Одевался он летом, как правило, в белые брюки, белую украйнку и носил на ногах белые всегда запачканные грязью парусиновые туфли. По слухам, Иван был импотентом. Жена его, певица Бурская, бросила его и вышла за киносценариста Каплеркина, а сын его, то ли его, то ли от первого брака жены, Пашутка, был известен в Москве тем, что он зарабатывал на хлеб насущный игрой в бильярд, имея профессиональную кличку "Подонок".

Я не буду охарактеризовывать заранее секретаря ЦК КПСС Михаила Сусликова, заведующего отделом культуры ЦК, Куца, члена-корреспондента Академии Наук СССР, Нину Аркадьевну Кмит, а также появляющихся в конце моей летописи сотрудников КГБ, как у нас принято говорить о них, славных советских разведчиков, рыцарей революции с их пролетарским карающим мечом, так как они персонажи второстепенные и все они сами по сюжету так или иначе обнаружат, я надеюсь, свои

физиономии или маски. Но я не могу не написать нескольких слов о Семене Банине, переделкинском поселковом монтёре, безусловном питомце рабочего класса, угристом, одноглазом и прихрамывающем, с вечно мокрой отвислой нижней губой, не дураке выпить и схватить левый рубль. Под предлогом проверки электропроводки или счетчика или еще чего-либо, он вечно совал свой красный нос в писательские дома. Всем было известно, что Банин был чертовски плодовит, народив целую кучу детей. Жена его получила даже звание "Матери-Героини" и соответствующий орден. А старший сын Банина, двадцатипятилетний лейтенант спец. войск МВД за участие в важной операции на турецкой границе получил звание Героя Советского Союза. Так что в семье у монтера было два героя, чем он очень гордился. А в общем он был наредкость дрянным, злым и мстительным человеком, плебеем, который хотел бы, чтобы все вокруг него были плебеями. Я думаю, что духовные мускулы Банина питались исключительно одной эмоцией — завистью. Увы и ах, таковы диапазоны нашей "бесклассовой" эпохи. С одной стороны, вот сам Банин, член КПСС конечно, а с другой — сын, пограничник, Герой Советского Союза, и жена, "Мать-Героиня".

Ч. I В ПЕРЕДЕЛКИНО

1.

Солнце скользило по стеклянной глади окон и падало на траву. После шести зной терял силу и земля могла отдышаться. Вокруг дома пестрели чайные розы. Небо, кое-где подтянутое облаками, было сизым, и в нем повис жаворонок. А на верхушке дуба с тихо шелестящими листьями вертикально сидел дятел, отбивая свою трудовую дробь.

На террасе подле обеденного стола стояли Ирина и Тенгиз. Он был в кремовой сорочке с закатанными рукавами и с расстегнутым воротничком, в светлых полосатых брюках дудочкой, хорошо скроенных и сшитых, и в бежевых чехословацких сандалиях на ногах. Его модный пиджак висел на спинке стула. Ирина

была в плотно облегающих ее стройные ноги серых трикотажных рейтузах и в легкой шифоновой кофточке, узлом завязанной чуть ниже груди и оголявшей часть загорелого живота; внизу же поблескивали позолоченные босоножки на тонком и высоком каблуке.

Вино в стакане, который она держала в руке, расплескивалось, лицо ее, с заметной испариной, раскраснелось, а в глазах играли искры озорства, сдобренные откровенной похотью.

Тавардкиладзе показывал ей трюк: поставив фужер с вином, наполненный до самых краев, на ладонь правой руки, он поднял его вверх, затем, изгибая руку, пропустил ладонь с фужером под локтем, вывернул ладонь и поднес фужер к губам, выпив вино, не прикасаясь к фужеру левой рукой и не пролив при этом ни капли.

— Бра-аво! Брави-иссимо! — воскликнула Ирина.

— Это вам сделает каждый грузин, дорогая. Клянусь честью.

Русский язык Тенгиза был вполне грамотным, но с сильным акцентом. И он был прав: это мог сделать каждый грузин. Трюки с вином? Я видел и не такое на пирушках в Тбилиси. Один тип на моих глазах, помню, поставил на металлический поднос десять стаканов с вином и, поставив его себе на голову, начал танцевать знаменитый "Кинтоури"; потом он, конечно, сняв поднос с головы, осушил все десять стаканов.

— Ше-де-враль-но! — опять воскликнула Ирина и приблизилась к Тенгизу вплотную. — Теперь давай, целуй прямо в губы.

— Ара, генацвале (по-грузински это означает "Нет, дорогая"), — произнес Тавардкиладзе и на его лице появилось выражение неприкосновенности.

— Ах да, забыла. Ты же женишок. Мой папуньчик открыл мне этот секрет. Ты, конечно, женишься потому, что она, твоя невеста, я думаю, дочь тбилисского гинеколога, подпольно делающего аборты. Выгодная партия.

— Ирина, как вы можете говорить такие вещи! — вспыхнул Тенгиз.

— Литература — литературой, а аборты — реальные деньги. Сколько родитель твоей невесты обещал приданого? Вы ведь в Грузии без приданого не женитесь, я знаю.

— Ирина, дорогая!

Поставив стакан с вином на стол, она громко закричала:

— Упакованный, упакованный, упакованный!

— Упакованный? Что это значит?

— На жаргоне лабухов, то есть музыкантов-исполнителей: есть башли, то есть деньги, есть видная чувиха, то есть бабка, есть "положение" и трехкомнатная квартира — "хата" с мусоропроводом.

— По-грузински деньги — пули.

— Целуй прямо в губы, пуля!

В это время с половины Кутырева на террасу вышла Клавдия Васильевна, одетая в кружевное платье с фартуком поверх него. Взглянув на Ирину и Тенгиза, а затем на стол с бочонками вина и коньячными бутылками, слегка приподнимаясь на цыпочках, она направилась к Гнедыху, который сидел в своем кресле на колесиках, с головой уроненной на грудь, и иногда издавал странный звук, похожий на икоту. Остановившись около комбрига, погладив его слегка по седым волосам, она попыталась приподнять его голову и удержать ее в вертикальном положении, но это ей не удалось — голова опять свалилась на грудь.

— Ну прямо как "Ванька-встанька", — сказала Клавдия Васильевна.

Почмокав губами, она еще раз, и теперь уже с явным упреком, посмотрела на Ирину и Тенгиза и, ничего больше не сказав, спустилась по ступенькам лестницы во двор, обошла дом, приложилась носом к розам и двинулась в сторону бревенчатого сарая, забитого домашним хламом. И кто знает, может быть, по дороге она подумала об Ирине и Тенгизе: "Срамники, не то чтобы очень пьяные, а готовы сразу целоваться, да не только целоваться, а еще, как это выражаются, телами друг об дружку потереться. И болтают чего-либо несусветное, и слова нецензурные, должно, употребляют..."

— По-моему, она шпионка, — заметила Ирина. — Ходит тут и всех обнюхивает. Противно. Глаза-то у нее как у аспида.

— У кого?

— У змеи. И тебя, грузинец, обнюхивает: что, мол, ты за птица.

— Я орел! — хвастливо проговорил Тенгиз.

— Тогда целуй, чувак!

— Ирина, дорогая, — защищаясь, сказал Тенгиз, — давайте выпьем за здоровье "Ваньки-встаньки". Это лучше.

— Давай, только я называю комбрига совсем по-другому.

— Как?

— "Могикан из простокваши".

— Остроумно, но я уважаю стариков. У нас в республике они в почете. Эх, ведь был человек!

— Был? Был да сплыл. Как это по-грузински — ура? Ваша́? Да, ваша́?

— Ваша́?

— Ура! — Ирина выпила вино и начала покачиваться из стороны в сторону.

Тавардкиладзе тоже выпил.

— Он что весь день только и делает что спит, а?

— Дрыхнет. Я думаю, его кто-то подпоил. Может быть Кларка. Она же ждет не дождется, когда старик отдаст концы. Она и отравить может. С нее станет. С Кларки все станет.

Тенгиз вступился за Клару:

— Нет, это ваша домработница, вот эта "шпионка", которая обнюхивает, это она комбрига подпоила. Я сам видел. Она дала ему полстакана коньяку и сказала: "Выпей, старый конь, и тебе радость надобна".

— Старый конь? — Ирина засмеялась. — Да, в коневодстве она спец.

Ирина оступилась и чтобы не свалиться, схватилась за плечи Тенгиза. — Барашек, я кажется пьяная.

— Кто барашек?

— Ты.

— Я леопард!

— Знаешь что, лео... отнеси меня в ванную. Мне худо.

— Неужели, дорогая?

— Я хочу поехать в... Ригу.

— Гмерто?

— Отнеси меня в ванную. Ну?

— Да, да, конечно, генацвале...

Испугавшись, что Ирину действительно стошнит, Тавардкиладзе поспешно поднял ее на руки. Однако тут она, воспользовавшись удобным случаем, обхватила его за шею и

впилась в его губы. Он замотал головой и бросил ее на диван в углу террасы.

— Ара! Ара!

— У-у, вкуснятина!

— Это безобразие, генацвале, вы же хотели поехать в Ригу, а вместо того...

— Чукча, как зовут твою невесту? Царица Тамара?

Тавардкиладзе отвернул рукава сорочки, застегнул их на пуговицы и, взяв со стула пиджак, надел его.

— Во-первых, — строго сказал он, — я не чукча и не знаю что такое чукча, а во-вторых, мою невесту зовут Нуца, а я зову ее "Патара тха", что означает "Маленькая козочка".

— Бекицер, ты "маленькую козочку" не любишь.

— Люблю! Клянусь честью.

— Если бы ты ее любил, ты бы не подглядывал за мной, утром, отсуда с террасы, когда я принимала во дворе душ.

— Что-о? — Тенгиз покраснел.

— Что, взял?

— Ирина!

— Нет, ты лучше ответь на мой вопрос:
подглядывал ты за мной утром или не подглядывал? Ну, по-честному?!

— По-честному? По-честному, подглядывал, — Тенгиз рассмеялся. — А что? Вы... баба что надо...

— Победа! Победа! Слушай, парень, мне ужасно хочется распаковать тебя, то есть разрушить.

— Я гранит.

— Дай сигарету, цемент. И садись сюда. Рядом. Не бойся. Не изнасилую. Разрушить разрушу, а изнасиловать не изнасилую.

Тавардкиладзе достал из грудного кармана пиджака плоский золотой портсигар, с шиком открыл его и протянул Ирине. Она взяла одну сигарету и привычно покрутила пальцами, разминая ее.

— Спасибо.

— Ки, генацвале. Пожалуйста.

— А теперь дай огня. Забыл?

— Извините, дорогая, забыл.

Поднеся Ирине зажженную зажигалку, Тенгиз закурил и сам.

— Во ВГИК'е руководительница моего курса, Народная Артистка СССР, Тамара Макарова, называет меня "куском сочного мяса". Она считает, что у меня таланта с ноготок. Ну и пес с ней! Я имманентная! Знаешь чего это?

— Нет, не знаю.

Ирина удобно развалилась на диване. Тенгиз присел у нее в ногах.

— Как это ни странно, чувак, мой папунчик и моя мамаха родили меня имманентной. Мой дар в чувственности. Да, да, в чувственности. В этой сфере я натуральна. Как гетера я цельна, без фокусов и притворства. Если хочешь, я говорю совершенно серьезно, я социалистическая гетера, и я тону в сексе, чтобы не утонуть в океане вранья.

— Вах-вах-вах, — как-то поощрительно или снисходительно произнес Тенгиз.

— И ты, вах-вахов, не то, что ты есть. И ты тонешь в океане вранья. Что, нет?

— Если я не ошибаюсь, у великого пролетарского поэта, Владимира Маяковского, в одной из его пьес выведен образ фосфорической женщины...

— Не буфонь! — сердито оборвала Ирина.

— Вы думаете, генацвале, что нам с вами угрожает захлебнуться в океане вранья?

— Конечно. А ты этого не думаешь?

— А вы случайно не в комсомоле, Ирина?

— Случайно, да. А ты случайно не в КПСС?

— Нет, я в КПСС не случайно.

— Да ну! Молодец! Герой! Ортодокс! — Тон Ирины стал вызывающим. — Как называется твой роман, ирокез?

— Чеми мегобари. То есть "Мои друзья".

— А почему не "Мои социалистические друзья"?

— Это что, издевка?

— Воображаю что за жвачка. И мой папаша перевел его на русский. И Гослитиздат напечатает его в четвертом квартале. Чудненько. В связи с этим ты и приехал в Москву и захватил с собой два бочонка с вином и коньяк, и окабачил наш дом, — тут

Ирина привстала на диване. — Грузин, но ведь ты просчитался. Да, да, это чистый промах. Ты ведь полагал, что имя Андрея Кутырева, как переводчика, придаст твоему роману больший вес. А мой родитель погорел. По-го-рел.

— Что-что? — Тенгиз не уловил сказанного Ириной.

— Повторяю, мой прекрасный папунчик, член ССП, Андрей Кутырев, взял и погорел.

— То есть как это погорел?

— А очень просто. Как у нас горят писатели? Синим пламенем.

— Почему синим? Я ничего не понимаю.

— Ох, ну что за осел! Слушай меня внимательно. Тебе же известно, что мой отец, кроме переводческой работы, много лет писал свой собственный роман — "Годы и люди". Это про всех нас.

— Да, Андрей Алексеевич говорил мне об этом еще зимой. Но причем тут синее пламя?

Тавардкиладзе встал с дивана, на переносье у него появились две глубокие складки, свидетельствовавшие о тревоге, а плечи его приподнялись так, точно под них что-то подложили.

— А при том, что в марте он послал свой роман в журнал "Знамя".

— Ну и... что?

— Не торопи меня. Успеешь еще наплакаться, торжествующе заявила Ирина.

— Не тяните, генацвале, не тяните.

— Хорошо, не буду тянуть. Сжалюсь над тобой. Словом, вчера я была во ВГИК'е, на комсомольском собрании. И встретила там Вадьку Синицына, с режиссерского факультета, парень так себе, но у меня их несколько, на привязи. Поклонники. Этот сын зам. пред. Совмина Союза; я у них на даче в Барвихе смотрю спец. фондовские фильмы с Бриджиткой Бардо. Так вот вчера Вадька подморгнул мне и шепнул на ухо, что его тятька сказал, что "Годы и Люди" попали на самый Олимп, то есть в аппарат ЦК КПСС и что "коллегиалисты" его зарубили.

— Зарубили? — Тенгиз вздрогнул и закусил нижнюю губу.

— Они же там специалисты по рубке. Буденные и Ворошиловы, — Ирина захохотала.

— Ирина, что с вами, дорогая? Рогор шейбзлеба? (По-

грузински это — "Как можно?")

— Ой смешно, ой смешно. Они там наверху поставили диагноз "Анти". И, следовательно, роману папунчика света не видать. И, следовательно, песенка папунчика спета.

— Что-о? Не может быть! — Тенгиз вытянулся как струна.

— Представь себе, чукча, в "Годах и Людях", как сказал мне Вадька, мой отец дошел до того, что заявил, что нам в СССР необходима многопартийная система и что пора переходить к подлинной демократии.

— Вах-вах-вах, неужели он дошел до этого?

— Он вложил эти слова в уста своего положительного героя. Фюить! Шик и блеск! Больше того, чукча, мой отец вывел в "Годах и Людях" образ иудушки-Троцкого. И назвал его создателем Красной Армии.

— Катастрофа, — одними губами произнес Тавардкиладзе.

— Тебе надо искать нового переводчика.

— Что вы сказали, Ирина?

— То, что ты слышал.

— Ирина, вы не пошутили?

— Ничего себе шутки.

— А ваш отец... он об этом знает? О диагнозе?

— Конечно. Я ему сообщила все еще вчера вечером.

— И как же он... реагировал, дорогая?

— А никак. По-кутыревски. Он не поверил мне, Вадьке и Вадькиному тяте. Он отругал меня, отмахнулся и дважды повторил, что роман "Годы и Люди" *за* Советскую власть. Он же у меня помесь блаженного с капуцином. Ирина опять захохотала.

— Ах, как же вы можете так... так говорить о своем отце, генацвале? — И Тенгиз начал кипятиться: — Как же так, товарищи? Это недопустимо! Это же черт знает что такое, амханагебо! Да ведь Андрей Кутырев крупный советский писатель, его исторический роман "Ермак" — выдающееся произведение, я уже не говорю о его романе о комдиве Киквидзе, о повести об Александре Герцене, и так далее...

— Последние годы, когда папа "вгрызся" в советскую тематику, нам жилось нелегко. Материально, — вздохнув, серьезно заметила Ирина. — Если бы он, одновременно, не пере-

водил на русский сочинения процветающих нацменов вроде тебя, горец, то мы... сосали бы лапу.

— Отвратительное слово "нацмен"!

— А ты, нацмен, небось на "лауру" нацелился. Лауреат Гос.Премии, Тенгиз Тавардкиладзе. Как живете, караси? Ничего себе, мерси! — Ирина злорадствовала, — Вот, Бальзак и только! Ха-ха. Автор романа "Мои друзья", о беспримерных достижениях социалистической Грузии. Не так ли? Переведен на русский язык. Тираж тебе наверное обещали в 50 или 100 тысяч экземпляров. И вот женишься на гинекологической козочке. Да у твоего пахана, вероятно, в земле зарыт миллион рублей. Это за грузинами водится, они зарабатывают целое состояние, торгуя лавровым листом. Ха-ха. Жизнь в ажуре. И вдруг... прокол. Вместо поцелуя в диафрагму — нате вам — миазмы коммунистических будней.

— Ах, Ирина, генацвале, вы сами не понимаете, что говорите. Лучше поспите. Правда, правда, а то вино вам ударило в голову и лучше в таком случае поспать.

— Да, вино ударило мне в голову. Я кирнула будь здоров! Я косая.

— Косая?

— По-лабужьи — пьяная.

— Вот и я говорю.

— А ты сдрейфил, парень.

— Я сдрейфил?

— Ты.

— Нет!

— Сдрейфил. Факт.

— Помолчите, дорогая.

— Ладно. Ну тебя. Ну вас всех к турку в штаны. Я устала...

Ирина зевнула и потянулась: — А что хорошая идея — поспать, полямкать малость. А ты, грузинец, пока раскинь мозгой, подумай что тебе в этой ситуации предпринять, чтобы не пострадать больше, чем следует...

Довольная тем впечатлением, которое она произвела на Тенгиза новостью о романе ее отца, Ирина свернулась на диване калачиком и стихла.

У нас в Литературном институте, в студенческие годы,

Тавардкиладзе считался человеком крайностей, что большинство из окружения объясняло его кавказским характером. Это правда, в один миг он мог от радости перейти к отчаянию и наоборот. Он был чрезвычайно чувствительным, например, к критике. Однажды руководитель прозаического семинара, мастистый романист Леонид Леонский, сказал, что написанный Тенгизом рассказ, в переводе на русский, конечно, "чепуха на постном масле". Услыхав это, Тенгиз позеленел и потерял сознание. Мы его откачивали водой и натирали виски спиртом из институтской аптечки.

Тенгиз заметался по террасе, как раненый зверь, задевая на ходу стулья, кресло на колесиках с комбригом Гнедых в нем, край стола, диван и при этом чертыхаясь. Слова Ирины безусловно запали в его душу. Но беда заключалась в том, что он не знал как ему надо повести себя в связи с этим, не нарушая статута гостя. Инстинкт самосохранения диктовал необходимость что-то сделать и никоим образом не сидеть сложа руки и ждать у моря погоды. Тенгиз сразу решил, что ему прежде всего надо точно выяснить суть дела и выяснить это из первоисточника, то есть поговорить с самим Кутыревым. Приняв это решение, он сошел с террасы во двор и направился в сад, где находился Андрей Алексеевич. Но нет, на полдороге Тенгиз остановился и повернул обратно. "Как же я спрошу его об этом?", промелькнуло в голове, и в грузинском прозаике заиграло самолюбие. "Я же выдам себя и в глазах Кутырева стану паникером", сказал он самому себе, хорошо понимая, что не исключено, что действительно произошла катастрофа, но что он не должен показывать виду, что это его беспокоит просто потому, что быть эгоистом и шкурником все же низко. Гордость одолела в Тавардкиладзе практицизм.

Он вернулся на террасу, скосил глаза на Ирину, потом на Гнедыха, и потом налил себе полстакана коньяку и залпом выпил его. Что же ему еще оставалось делать? Он сел на ветхую качалку с продранной соломенной спинкой и начал медленно в ней раскачиваться. Ему хотелось спокойно взвесить все обстоятельства неожиданного происшествия или, как он мысленно выразился, "надвигающейся неприятности", подумав и о том, что, может быть, все это было брехней и что Вадька все это

нафантазировал, чтобы, к примеру, выместить на Ирине то, что она встречалась с другими парнями. Разве ревность не понуждает людей на подобные инсинуации? Тенгиз невольно улыбнулся, вспомнив, что слово "инсинуация" было одним из его любимых в русском языке, хотя оно и не было русским. И это обстоятельство на секунду уравновесило его. Но только на секунду. Нет, ему было легче поверить в то, что Кутырев и на самом деле написал что-то такое, что на Олимпе признали "анти". Тенгиз удивился тому, что эта мысль ему нравилась, хотя от нее и делалось страшно. Он вспомнил о том, что его дядя Автандил однажды сказал ему: "Бывает, человек дурак, а талантлив. И бывает, что талант губит человека, заводя его в область запретного. Да, мой дорогой племянник, быть талантливым в наше время и трудно и опасно. Талант это страшная штука, она, между прочим, уживается и с пороками. А главное, талант редко поддается обузданию, хотя идет, иногда, и на компромисс".

Постепенно страх полностью овладел Тенгизом, страх и за Кутырева, страх и за самого себя. Грозы, которые теперь могли обрушиться на голову Андрея Алексеевича, могли рикошетом ударить и по Тавардкиладзе. Ирина была права. А что если Тенгизу зададут вопрос: "А почему вы выбрали переводчиком Кутырева?" А если ему зададут вопрос: "А не разделяете ли вы его философию?" Воображение разыгралось. Он уже допустил даже возможность того, что Андрея Кутырева, несмотря на все его литературные заслуги, исключат из ССП, и, заодно, выкинут на улицу и Тенгиза Тавардкиладзе. Ведь глаза у страха велики! Картины одна мрачнее другой проходили перед ним и от них не было защиты.

На террасе было тихо. Только порой Гнедых издавал хрипящий звук, уютно посапывала Ирина, дятел на дубе упорно продолжал свою работу, да еще с половины Светозара начали доноситься ритмические удары клавиш пишущей машинки — там Клара отстукивала последние страницы перевода романа "Мои друзья" на русский язык.

Тенгиз провел ладонью по лбу. Увы, пот выступил не от жары, а от внутренних треволнений.

И тут Тавардкиладзе вспомнилось недавнее и далекое прошлое. То и другое вошло в него помимо его воли, само, как

нечто обязательное. Он раскачивался на качалке в этой жизни, а память унесла его на годы назад. Сперва, он вспомнил о профессоре Теймуразе Габашвили, которого он обожал. Это был тонкий знаток западной и русской литературы. На его лекциях в Тбилисском университете все места в аудитории, как правило, были заняты. Студенты слушали его, затаив дыхание и ловя каждое его слово. И вот Габашвили вдруг лишили кафедры, ученых степеней и уволили из университета. Это случилось после того, как в республиканской газете "Коммунисти" появилась статья, озаглавленная: "Идеологическая ересь с кафедры Госунта". Габашвили позже арестовали и сослали куда-то в Среднюю Азию (Нет, не в Сибирь и не на Колыму). За что? А за то, что он посмел на лекциях критиковать творчество Максима Горького и иронически отозвался о методе "социалистического реализма". "Да, но ведь это было в последний год жизни под Сталиным", — пытался найти оправдание Тенгиз. Теперь ведь аресты почти прекратились, теперь на дворе ведь новая эпоха, эпоха "коллегиального руководства". Его разум продолжал: теперь ведь развивался процесс "десталинизации", несмотря на то, что выражение "десталинизация" официально не употреблялось и вообще с именем Сталина обходились осторожно, особенно в Грузии, где еще многие в душе боготворили "великого грузина". Нет, теперь, к счастью, в Кремле и в ЦК КПСС сидели "коллегиалисты" и подлинные ленинцы. Вдруг Тенгиз мысленно застопорил этот внутренний монолог, вспомнив, что совсем не так давно на Тбилисском вокзале милиция арестовала молодого человека, который, подвыпив, по глупости (и только по глупости) громко выкрикивал что-то нецензурное о "коллегиалистах", и Тенгизу было известно из достоверных источников, что этого молодого человека арестовали и осудили на 3 года исправительно-трудовых работ, что, кажется, получше, чем быть сосланным в "отдаленные места".

В груди у Тенгиза похолодело. Зашевелились дурные предчувствия. А память теперь перебросила его в 1937-ой год, когда ему было всего-навсего десять лет. В тот год мать по ночам не спала, плакала и все ждала, что за отцом приедет "черный ворон" и заберет его в НКВД. Отец Тенгиза сам ждал этого, хотя обычно, разводя руками, говорил: "За что меня сажать? Я

же только винодел и политикой не занимаюсь". Семья Тавардкиладзе жила на Грибоедовской улице в доме 18, рядом с шикарным корпусом, который был выстроен Советом Народных Комиссаров Грузинской ССР для наркомов, секретарей ЦК и прочей сов.-парт. знати. По ночам "черный ворон" без конца подъезжал к этому дому и один за другим исчезали именитые "шишки" с партийными билетами. Мать Тенгиза слышала, как подъезжали эти страшные машины органов Гос. безопасности и все ждала, когда "черный ворон" остановится у дома 18. И дождалась. В дверь квартиры главного винодела "Самтреста", Симона Тавардкиладзе, постучались. Отец в одних кальсонах вскочил с кровати и побежал в прихожую. Через порог переступили два агента НКВД и двое понятых. Они предъявили ордер на арест и обыск. От страха отец лишился дара речи и не стал проверять ордер. Мать была в полуобморочном состоянии. Обыск продолжался больше пяти часов, в течение которых не было произнесено ни единого слова. Наконец, старший чекист сказал: "Гражданин Букия, собирайтесь, вы можете взять с собой постельные принадлежности". Но отец Тенгиза ведь был не Букия, а Тавардкиладзе. Букия же, архитектор Букия, бедняга, жил этажом выше. Тут выяснилось, что произошла ошибка. Агенты органов Гос. безопасности даже не извинились и поднялись на этаж выше, все же забрав отца Тенгиза, но уже в качестве понятого, так как один из их понятых заболел желудком и отпросился домой.

Тенгиз на всю жизнь запомнил выражение ужаса на лице матери, когда "рыцари революции" вошли к ним в квартиру!

Воспоминание улетучилось. На смену ему пришла новая мысль. Раскачиваясь на качалке, Тенгиз подумал о том, что ведь Ирина была права, когда она сказала: "А ты сдрейфил, парень". В этом было нелегко признаться, но это было так. И конечно это было не очень приятно услышать из уст молодой и красивой женщины. Больше того, в глубине души Тенгиз сознавал и то, что Ирина была права и по поводу его предстоящей женитьбы. Нуца на самом деле была дочерью известного Тбилисского, нет, не гинеколога, но невропатолога, который возглавлял специализированную клинику, был депутатом Верховного Совета СССР и имел частную практику (на это у него было особое разрешение

властей). И приданое за Нуцей было солидное: дом в Сухуми и дача в Коджорах. Тенгиз убеждал себя в том, что он любил Нуцу, но как всякий грузин, полагающий, что жена должна быть абсолютно преданной мужу, а муж, при случае, может и вильнуть хвостом, ибо он в дом ведь ничего не приносит. Чего греха таить, Тенгиз действи ельно не выдержал и достаточно долго подглядывал за Ириной, когда она принимала во дворе душ, да и вообще ему стоило огромных усилий не воспользоваться возможностью и не вступить с Ириной в интимную связь. Сдерживало прежде всего то, что она была дочерью Кутырева, а тот был переводчиком романа Тавардкиладзе и популярным советским писателем. "Да нет же, — рассуждал про себя Тенгиз, — я не хочу богатств отца Нуцы. У меня есть голова и руки. И я же регулярно получаю гонорар за свои произведения". Тенгиз знал и то, что у отца его, если у него не был зарыт в земле миллион рублей, то кое-какие сбережения старик имел. Словом, Тавардкиладзе считал, что главным для него в жизни были не деньги, а литература.

Со стороны сада послышались два глухих выстрела. И они оборвали размышления Тенгиза. Он вздрогнул и перестал раскачиваться в качалке. Ему показалось, что стреляли в него. Он встряхнул головой. Затем послышался лай соседской собаки и сразу после того раздались еще два глухих выстрела. Тавардкиладзе поднялся на ноги.

2.

Кутырев опылял кусты клубники. Способ был испытанный и так хорошо известный подмосковным садоводам: двуствольное охотничье ружье заряжалось патронами, набитыми вместо дроби порошком ДДТ; из ружья стреляли вверх, химическая пыль медленно оседала на клубнику. Стрельба и сознание того, что он совершает полезное дело, давали Андрею чувство удовлетворенности. Может быть, от того, что он выпил, ранее, вина или коньяка, и был "под мухой", но, трудясь в саду, он произносил с некоторыми перерывами короткие монологи, что выглядело театрально и даже помпезно. Однако в этом не было ничего странного, так как в Кутыреве бесспорно был элемент "зрелой" помпезности, которая часто свойственна очень

хорошим людям. Он любил казаться особенным, оригиналом, чудаком. За словом чудак он усматривал нечто романтическое; чудак, по его мнению, был существом не от мира сего, а ему хотелось быть не от мира сего. Вероятно, это и породило в нем его непременное "Пам-пам-пам..." Одно время Андрей Алексеевич ловил себя даже на мысли, что ему хотелось серьезно обдумать как играть роль знаменитого и талантливого писателя, но не дотянув до зенита, он плюнул и мысль эта атрофировалась. Тем не менее, я хочу подчеркнуть, что в том, что Кутырев выставлял, так сказать, "на показ", было много и достоверного.

— Труд это звучит бла-го-родно! — произнес он, покрутив языком за правой и левой щеками и перезарядив ружье, доставшееся ему в наследство от отца, "тульскую двустволку". — Да, труд это звучит по-горьковски величаво, это венец человеческого предначертания, взглянув на закатное небо, он многозначительно добавил, как бы адресуясь к высшему: — Писатель должен работать. Да, да, работать. Пам-пам-пам...

Ему вспомнился Тригорин из пьесы Антона Чехова "Чайка", который произносил что-то в этом роде, но с ленью, тоской и отчаянием. Но Кутырев верил в то, что он прославлял не только труд литератора, но и труд крестьянина, металлиста, кухарки, ассенизатора.

— Мускулы ног, рук, мускулы мозга должны функционировать интенсивно. Вот альфа и омега нашего бытия! — воскликнул Андрей Алексеевич и теперь уже прищелкнул языком.

Гордость заполнила душу Кутырева. И это было правдой, хотя это и было выспренне: трудовые усилия безусловно утешали его и давали ему силы для того, чтобы делать то, что он делал, особенно в минуты, когда в голове, ни с того ни с сего, зарождались зловещие сомнения и когда "бытье" начинало казаться бессмысленным и пустым. К тому же трудовые усилия помогали ему сопротивляться надвигающейся старости. Опыляя ли клубнику или сажая помидорную рассаду, он, как бы, прятался за массивной декорацией, помня, что ее впервые публично возвел не кто иной, как Карл Маркс, заявив, что труд очеловечил обезьяну. Нет, труд, конечно, помогал. Он помогал и

нынче, когда Андрея все же охватило беспокойство по поводу его нового романа. Он отмахнулся от Ирины с ее дурной новостью, он сказал ей: "Чепуха! Вздор! Сплетни! Как "Годы и Люди" могли попасть в ЦК? Я послал рукопись в журнал "Знамя", а его редактор не посмел бы, не спросив моего согласия, переслать ее в инстанцию. Вздор! Сплетни! Не верю!" В тот момент, когда с его уст сорвалось это "не верю!", Кутырев вспомнил об известном русском режиссере, Станиславском, который любил говорить "не верю!", на репетициях, актеру, недостаточно воплощавшемуся в заданный образ. И все же где-то в сердце ныло. Да к тому же, Клара, узнав об этом, пессимистически заметила: "Все может быть".

— Нет, нет, — бросил Андрей. — Я же стою на позициях "социалистического реализма", я же ученик Горького.

От этих последних слов ему стало совсем неловко, потому что они прозвучали чистой риторикой. Чтобы как-то выйти из состояния этой внутренней неловкости, Кутырев решил закончить работу в саду и, вскинув ружье на плечо, направился в сторону дачи, по-солдатски выбрасывая ноги вперед и насвистывая себе под нос мотив "Марсельезы" — любимую мелодию его отца. Поднявшись на террасу и увидя Тенгиза, он сказал:

— Мой друг, у меня есть замечательная идейка.

Тавардкиладзе озадаченно и даже испуганно посмотрел на Кутырева:

— Что? Что вы сказали, Андрей Алексеевич?

— Я сказал, что у меня есть замечательная идейка.

— Индейка?

— Идейка. Давайте, Тенгиз, выпьем вина и давайте выпьем за... труд. За труд с большой буквы. А?

— Я... я не возражаю, батоно, — грузинский прозаик произнес это, думая совсем о другом.

— Пам-пам-пам...

Кутырев подошел к столу, налил из бочонка два стакана вина и протянул один Тенгизу.

— Как называется этот чудесный нектар?

— Оджалеши, батоно, — почти автоматически ответил Тавардкиладзе.

— Ах да, Оджалеши. Вы мне говорили. Забыл. Ну что ж, за

труд!

— За труд, Андрей Алексеевич!

— Поехали, мой друг.

Они со звоном чокнулись стаканами и затем осушили их. После этого Кутырев, сняв с плеча ружье повесил его на привычное место: на гвоздь, вбитый в стену дома, тут же на террасе, и кивнул на Гнедыха:

— "Революционная реликвия на колесиках" спит? Или он тоже под парами?

— Ирина называет его "Могиканом из простокваши".

— М-да, это вам не фунт изюма, просидеть там, да, да, там, 17 лет. Просидеть их ни за что, и вот вернуться живым и на все сто процентов советским.

— Извините, Андрей Алексеевич, но если я не ошибаюсь, при Сталине за ни за что давали десять, а потом уже шли надбавки. И еще, если я не ошибаюсь, комбриг Гнедых вернулся оттуда не на все сто, а на все сто пятьдесят процентов советским.

— Ха-а, вы, пожалуй, правы, мой друг. Старик проснется, вскинет руку и прохрипит: "Вперед! К коммунизму!" И еще за саблю схватится. Это с ним бывает. Пам-пам-пам. Знаете, Тенгиз, когда я пьян, я чувствую себя... вороном. Да, да, да, вороном, и мне ужасно хочется говорить по-вороньи, то есть каркать. Кр-кр-кр-кр. Получается? Нет, вы смотрите на меня так, точно я и действительно птица-ворон, точно я ею уже рожден и точно вы это только что поняли. Что с вами?

— Что? Нет, ничего.

— М-да, поэт Евгений Светозар не зря сделал своего отца героем "суперпоэмы", которую он назвал "Родитель", не зря. Критики же наши, все эти супер-Вольтеры, написали, что это творение — знамя соц. реализма, черт возьми. Но не верьте мне, голубчик, я же не из поклонников Светозара, и вы об этом знаете. Нет, я не поклонник, хотя бы потому, что он мой сосед по даче и мы постоянно сталкиваемся, мягко говоря, задница с задницей. К счастью, у нас отдельные уборные и ванные. Но вот один душ на дворе. Да, и все же я скажу, что, на мой взгляд, он в поэзии спортсмен. Но перед его отцом я, честно, преклоняю голову. Он как-никак пострадавший, жертва Сталина. Тенгиз,

что вы на меня так смотрите? Может быть, я и на самом деле перевоплотился в птицу-ворона? Кр-кр-кр-кр...

— Нет, нет, что вы, — Тавардкиладзе закусил нижнюю губу.

Кутырев, повернувшись к дремавшей на диване Ирине, покачал головой.

— Цыпа совсем упилась. Ладно, пусть дрыхнет. Свернулась клубочком, как делал наш покойный кот "Шарик". Только для девушки в двадцать лет это достаточно непристойная поза, между прочим. Признаюсь, мой друг, моя дочь совсем отбилась от рук. Днями бездельничает, как дщерь какого-либо Ротшильда. Ума не приложу как она сдает экзамены. Впрочем, современные студенты умеют сдавать экзамены, не ходя на лекции и не готовясь к ним, — прислушавшись, Андрей Алексеевич добавил: — А Клара все стучит на машинке. И дятел стучит на дубе. Они у нас "стахановцы", работают на славу. Пам-пам-пам.

— Андрей Алексеевич, я хотел спросить у вас...

— О чем, Тенгиз?

— Да вот, видите ли, я... — нет, — Тавардкиладзе не отважился задать вопрос, который крутился у него на губах, вместо того, подняв голову к небу, он сказал: — Вот вы назвали дятла "стахановцем", а как называется вон та птица, видите, высоко в небе, парит как орел. Ястреб?

— Нет, это жаворонок. Очень красивая птица. И гордая. Ха-а, Светозар думает, что он поэтический жаворонок, а он просто... глиста.

— Да, вы его недолюбливаете, Андрей Алексеевич.

— М-да, между нами.

— Андрей Алексеевич, я хочу спросить у вас... решительно начал Тенгиз.

— О чем?

— Почему... почему вы всегда крутите языком то за правой, то за левой щеками?

— А... это привычка, просто привычка. В отца пошел, мой друг. С детства подражал ему решительно во всем. Я же копия своего отца. А он был учителем и он был замечательным человеком. И по внешности, как я, бычок. Но в классах на уроках, чтобы ученики не очень скучали, он их от времени до времени

смешил — вот закладывал язык за обе щеки по очереди, как я это и делаю. А то на его уроках математики, бывало, мальчики и девочки засыпали.

— А почему же Ирина не унаследовала этого от вас?

— Ирина? Она же... нет, она не унаследовала. Это правда. Вы задали странный вопрос, Тенгиз, но это правда, она не унаследовала. Она же в мать, — и понизив голос, Кутырев добавил: — Они у меня обе, мать и дочь, того... умственно конечно... недоделанные... Ха-а...

— Андрей Алексеевич!

— Что, Тенгиз?

— Андрей Алексеевич, вы... вы не хотите сказать мне чего-либо важного? — вдруг выпалил Тавардкиладзе.

— Ах, да, да, конечно. Мы же еще не выпили за успех вашего нового романа...

— Нет, мы за это уже пили и неоднократно.

— Разве? Ах да, я забыл. Пили. Это правда. Ну, тогда давайте выпьем за...

— За успех вашего романа "Годы и Люди"! Тенгиз подчеркнул слово "вашего" и сделал это весьма многозначительно.

Но Кутырев не обратил на это особого внимания.

— Ну что ж, голубчик, я за. Спасибо. Надеюсь в грязь лицом не ударить.

— Не ударить?

— Нет, не ударить. А что?

— Нет, нет, ничего. Ваш роман ведь сейчас находится в журнале "Знамя". Это несомненно, да?

— Да, да, в "Знамени". А что?

— Нет, нет, ничего. Вы ждете ответа редколлегии?

— Разумеется. А что?

— Ничего!

Тавардкиладзе произнес это последнее "Ничего!" достаточно резко и, налив из бочонка два стакана вина, протянул один Кутыреву.

— Маш ицоцхле, генацвале! — воскликнул он.

— Что это означает?

— Процветайте, дорогой! За ваш роман! За "Годы и

Люди"!

— О, вы, грузины, все же особый народ. Высокие мотивы — у вас в крови. И это, пожалуй, вне зависимости от классовых характеристик.

— Давлиет, амханагебо!

Оба выпили вино.

3.

На террасу с половины Светозара вышла Клара. Она была в легком сарафане с желтыми и оранжевыми узорами, и в туфлях без задников. Волосы ее были ловко подвязаны красной тесемкой; она вытирала платочком пальцы, запачканные копировальной бумагой и лентой.

— Вакханалия продолжается? — улыбнувшись, она взглянула на Кутырева и Тавардкиладзе.

— А, Клара, да, мы... пьем... — сказал Андрей Алексеевич.

— Извините, генацвале, — Тенгиз поправил свою сорочку, — но без вина, по кавказским стандартам, жизнь как пустыня без оазиса.

— Образно, мой друг, поощрительно проговорил Кутырев и обратился к Кларе: — Ты кончила печатать перевод?

— Да.

— Поздравляю. Поздравляю тебя, Клара, и вас, Тенгиз.

— Спасибо, батоно.

— Сколько страниц получилось, всего? — поинтересовался Кутырев.

— 368.

— Ну это неплохо.

— А в грузинском тексте было 325, заметил Тавардкиладзе.

— Ваш язык лаконичнее, — пояснил Кутырев. — Да и мне пришлось делать отступления. Читатель будет ведь русский. А не все знакомы с нравами и бытом современной Грузии.

— Да, да, конечно, Андрей Алексеевич. Я не в претензии.

— Как машинка, Клара?

— Опять каретка шалила.

— Тьфу! На прошлой неделе ремонтировали. Халтурщики повсюду.

— Я даже хотела пересесть за "Ремингтон" Евгения, но решила, что будет разнобой в шрифтах. Это нехорошо.

— Ну и правильно решила.

На диване зашевелилась Ирина. Приподнявшись, она протерла глаза и сразу же подала голос:

— Как живете, караси? Ничего себе, мерси?

— А ты побайкала, Ир? — дружелюбно произнесла Клара.

Ирина не ответила на ее вопрос и повернулась лицом к отцу.

— Опылил, папашка?

— Опылил, цыпа.

— Клубнику? Или может быть Кларку?

— Пам-пам-пам... — Кутырев поморщился и смущенно взглянул на Тенгиза, потом он неожиданно громко закричал в сторону дома: — Маша! Маша? Где моя жена? Маша!

Ирина опустила ноги на пол и усмехнулась:

— Я вот сочинила во сне эпиграмму, специально для тебя, папуньчик. Вот послушай: "Задирая ей подол, не забудь про валидол!" Что, лихо? Ты понял смысл, барашек? — Ирина адресовалась к Тавардкиладзе. — Валидол это капли от сердечных недомоганий. — А что, папа, если бы мама умерла, например, ты бы мог жениться на Кларе Ильмас и она стала бы моей мачехой. Се манифик, а?

— Пам-пам-пам, я французским не владею, — Кутырев опять поморщился.

Клара же, приблизившись к Ирине и с упреком глядя на нее, приложила один из своих пальцев к ее левой щеке, оставив на ней темное пятно.

— Ты дуреха, Ирина!

— Уйди! — грубо оборвала Ирина и добавила в сторону Тенгиза: — Ты же еще не в курсе наших семейных дел, чукча. Вот мой отец выдал реплику на полном голосовом накале: "Маша! Где моя жена? Маша!", а на самом деле он давно уже покончил с мамой и спутался вот с этой... Эти двое "любят" друг друга. Вообрази, они даже бараются! — Ирина указала глазами на отца и Клару: — Ромео и Джульетка. Ха-ха-ха! Одним словом, писатель Кутырев и его литературный секретарь, она же супружница великого поэта Светозара, Клара Ильмас — живут во грехе. Да, да. Жизнь во грехе!

Ирина захохотала нарочито и пошло. А Клара приложила к ее правой щеке другой палец, также оставив на ней темное пятно.

— Ты пьяна как сапожник, Ирка, — сказала она.

— Да, знаете ли, вино ей противопоказано... как бы извиняясь, произнес Тавардкиладзе.

Ресницы его глаз заморгали быстро-быстро, он окончательно растерялся, так как к тревоге, связанной с судьбой романа Кутырева, теперь вот прибавилась еще эта семейная история.

— Па, скажи членораздельно: "Ильмас, я люблю вас!" — не унималась Ирина.

Андрей перешел к действию.

— Изволь, цыпа! — и он громко, отчеканивая каждое слово, повторил вслед за дочерью: — "Ильмас, я люблю вас!"

— Шедеврально! — подражая отцу, Ирина добавила: "Пам-пам-пам", — и еще добавила: — "Соц. реалист", ты великолепен в своей нелепости!

— Замолчи, паразитка! — на секунду выйдя из себя, крикнул Кутырев.

— Не пугай меня, я не из пугливых, спокойно отреагировала дочь и продолжала: — Меня интересует вот что: ну, допустим, мама умрет, ну, допустим, вы сойдетесь, поженитесь, ну, допустим, Клара станет моей мачехой. А как же с Евгением? Куда вы денете в таком случае Светозара?

Клара на этот раз поставив темное пятно на лбу Ирины, сказала:

— Тебе отдадим, Ир.

— Иди на фиг! Потребен мне этот чувак! — Ирина протестующе замотала головой. — Твой Женька как-то обронил: "Я бы с удовольствием приземлился на твоем аэродроме, Ирина". А я ему выдала: "У меня посадочная площадка только для реактивщиков". Он обиделся, болван. Тенгиз, ты реактивщик?

— Я... я кукурузник, дорогая, — попытался сострить Тавардкиладзе, заикаясь и улыбаясь.

— Пам-пам-пам, — произнес Кутырев.

— Вот именно, пам-пам-пам, — повторила Ирина. — У меня есть прелестная идейка.

— Индейка? — переспросил Тенгиз.

— Идейка, барашек. Почему бы не стравить Светозара как мышонка?

— Нельзя! — твердо проговорил Кутырев.

— Почему? — спросила Ирина.

— А потому что он не мышонок, а глиста.

— Ты думаешь, папашка? А мне кажется, что он без боя Клару не уступит. Она же — сокровище! — И Ирина опять захохотала, встала с дивана, пошатываясь и, вдруг, как мешок с песком, осела прямо на пол.

Андрей же Алексеевич сильным движением притянул Клару к себе, обнял ее и поцеловал в губы, сказав:

— Клара — моя.

— Зрелище! — воскликнула Ирина и завертелась на полу как волчок.

Тенгиз чувствовал себя, по-прежнему, словно он сидел на жаровне с горячими углями, он попеременно смотрел на всех присутствовавших, быстро-быстро мигая ресницами и стараясь выдавить из себя что-то вроде улыбки. Потом он помог Ирине подняться на ноги.

Тут неожиданно наступило общее молчание, потому что на террасу из своей комнаты вышла Мария Петровна.

— Ты звал меня, Андрюша?

Она была в длинном бумазеевом капоте, с гладко причесанными волосами. Я должен повториться, напомнив, что у нее были абсолютно погашенные глаза и поблекшие губы. Я должен сказать еще, что в ней было что-то "трансцендентальное". Кто-то, характеризуя ее, сказал, что от нее "пахнет вечностью". В ее присутствии я всегда чувствовал, что кровь у меня течет по венам в обратном направлении. Я ее побаивался, как я побаиваюсь вообще ненормальных людей. Между прочим, ненормальные заражают меня, и я начинаю думать, что я сам потусторонний фрукт.

Мария Петровна фактом своего присутствия гипнотизировала, как талантливый актер гипнотизирует зрителя в театре. Вот почему при ней никто не решился проронить ни единого слова, даже невоздержанная Ирина. Клара осторожно высвободилась из объятий Кутырева. Но Мария Петровна не заметила этого или сделала вид, что это ее не касается. Ее не

удивило и то, что Андрей, по существу, не откликнулся на ее вопрос. Она подошла к Тенгизу и мутными зрачками начала осматривать его, как будто бы она увидела его впервые, и так, как осматривают тех, кого подозревают в том, что у них есть насекомые. Тенгиз не выдержал этого "осмотра" и даже отряхнул свой пиджак. Тогда Мария Петровна приблизилась к комбригу Гнедыху и так же осмотрела его. После этого, так ничего и не сказав, она ушла обратно к себе в комнату.

— Это странно, — с досадой и иронией проговорил Кутырев. — Это очень странно, что Маша не заявила нам о том, что душа человека живет после смерти бренного тела. Она же так любит утверждать это. А кроме того, где-то вычитав это, она обычно добавляет: "Душа человека часто уже мертва, когда тело еще живо".

Ирина, разметав на голове волосы и придав голосу торжественную многозначительность и, тем самым, став похожей на отца, произнесла:

— Мы все — куклы!

Здесь мне придется опять прервать мою летопись и рассказать то, что я слышал непосредственно от Кутырева, то есть историю, которая как-то объясняет поведение Марии Петровны и вообще делает весь ее противоречивый и странный образ более понятным. Дело в том, что в 1948 году, уже после окончания войны и когда все еще бушевал сталинский террор, был арестован первенец Кутыревых, сын Гришутка, веселый и головастый парень, увлекавшийся коротковолновым радио. Органы Гос. безопасности арестовали его, обвинив в том, что он-де по своей коротковолновой радиостанции передавал в эфир сигналы "СОС" с политическим оттенком, то есть однажды в эфире непочтительно выразился об одной из исторических речей Сталина. Все это было нелепостью и идиотизмом. На допросе же, на Лубянке, Гришутке повредили спинной мозг. В конце концов его освободили, но он умер и умер на руках Андрея и Марии Петровны. Похоронив сына, она психически ослабела и тогда-то появились у нее заскоки и она ударилась в богоискательство. Вскоре о Марии Петровне в Переделкино говорили: "У Кутыревской жены мозги теперь набекрень. Сталин ей их свернул".

Появление Марии Петровны на террасе и ее уход в дом

подействовали на Кутырева и на всех как своего рода катализатор, как нечто выключившее их из течения жизни или, лучше сказать, как нечто расстроившее и парализовавшее волю Кутырева и других.

Может быть, в результате этого Андрей Алексеевич не нашел ничего более подходящего, как взять с пола в углу террасы трехкилограммовые чугунные гантели и, упражняясь с ними, спуститься по лестничке во двор и направиться в сад. Тавардкиладзе, со взметнувшимися вверх бровями и закушенной нижней губой, последовал за ним, но почему-то опять остановился в нерешительности, как будто бы думая — идти за Кутыревым или не идти, и потом, приблизившись к двум соснам, между которыми висел гамак, сел в него и стал раскачиваться точно так же, как он раскачивался, сидя в качалке.

4.

Ирина и Клара смотрели друг другу в глаза. Из дома донеслись звуки скрипки. Мария Петровна играла что-то бессвязное, режущее ухо, и играла как-то прерывисто и нервно.

Нет, Клара не испытывала к Ирине недоброго чувства, несмотря на то, что та упорно стремилась любым способом ранить ее самолюбие. Клара понимала, конечно, что ее отношения с Андреем Алексеевичем были такими, что его дочь не могла смириться с ними, хотя она и, глядя со стороны, насмехалась над отцом и проявляла к нему ироническую небрежность. Клара даже оправдывала Ирину, может быть и потому, что она видела, как та страдала от внутренней опустошенности и потерянности, вне зависимости от ее связи с Кутыревым. В годы юности и Клара была на грани такой же внутренней пустоты и обреченности, но ее природный дар и инстинктивное чувство правды спасли ее и дали ей цель для существования. Клара симпатизировала Ирине главным образом потому, что она чувствовала себя перед ней виноватой, но не в том, что она "увлеклась" ее отцом и, как бы, "разбила" семью, которой давно уже не было. Нет, совсем по другой причине. Клара не могла лукавить сама с собой. Вот Ирина назвала ее и Кутырева "Ромео и Джульеткой", однако Клара отлично сознавала, что она вовсе не была "Джульеткой", так как ее "влечение" к Андрею Алексе-

евичу было, по существу, лишено эмоциональности. Оно было без романтизма, оно скорее было рациональным, почти деловой или интеллектуальной сделкой. Она была больше "увлечена" литературным талантом Кутырева, чем мужчиной и человеком Кутыревым, да и "увлеченность" литературным талантом Андрея была тоже условной, то есть по пословице: "На безрыбье и рак рыба". Она знала, что Кутырев не обладал абсолютно бесстрашным талантом, но что его даже ограниченный компромиссностью дар все же породил что-то, что было ближе к правде (она имела в виду роман "Годы и Люди"), чем что-либо иное. И это ее обнадеживало или, как она сама как-то сказала: "держало ее голову над водой".

Ирина же откровенно ненавидела Клару, она ненавидела ее за ее красоту, но больше всего за то, что та твердо стояла на ногах и не поддавалась коррозии — процессу распада личности и бесцельной траты жизни. В основном это была полуосмысленная ненависть. Но бывало Ирина ясно признавалась себе в том, что она ненавидит Клару за ее умные и вдумчивые глаза, за ровную и убедительную речь, за спокойную походку, за то, что она была глубже и серьезнее как человек. Впрочем, Ирина утешала себя тем, что она была моложе Клары.

Так мне виделись их отношения в то время. Однако и тогда я подумывал о том, что за активной и яростной ненавистью Ирины к Кларе скрывалось что-то еще, что-то загадочное и, может быть, даже преступное.

Теперь Ирину замутило на самом деле. Зигзагами, с гримасой на лице, она направилась в дом, на свою половину. Клара попыталась подсобить ей и поддержала ее.

Ирина грубо оттолкнула и крикнула:

— Уйди, амазонка!

5.

Звуки скрипки оборвались. После того, как Ирина и за ней Клара скрылись в доме, на террасу снова вышла Мария Петровна. Не обнаружив на ней никого, кроме Гнедыха, она неопределенно улыбнулась и села на диван. Спустя несколько минут, она почему-то распустила волосы и заговорила, но заговорила без слов, только слегка приоткрывая рот и иногда

чуть взмахивая рукой.

О чем же говорила умалишенная?

Кто знает, может быть, она убеждала Гнедыха в том, что физическая смерть человека это вовсе не конец жизни, как считают многие, а начало нового и счастливого и вечного бытия, но не в загробном царстве, а в царстве духа. Она верила в бессмертие души. По ночам она с жаром молила своего избранного Бога, чтобы он поскорее принес ей исцеление от земной суеты, которая ничем уже не привлекала ее и которая в ней жила уже лишь на самых элементарных инстинктах и рефлексах. Мария Петровна ужасалась, думая о том, как трудно, а на деле невозможно, изменить "заданность" жизни, рутинный ход. Да, она верила в своего избранного Бога, позволявшего ей быть в мыслях самостоятельной и, как ей казалось, абсолютно искренней, поэтому ей не надо было посещать церковь. Но смерть не шла по ее зову. И Марии Петровне представлялось, что она живет в клетке, по воле какой-то архи-дьявольской силы. Правда, вокруг нее все еще были знакомые и в общем дружеские лица. Но Мария Петровна давно уже была вне советской общественной структуры, ее уже мало интересовали дела, которые интересовали советских людей. Нет, она уже не замечала в Кутыреве мужа, а в Ирине дочь. Почти так. С некоторыми отступлениями, ибо она еще не была полностью потусторонним существом, и вот, по привычке, осматривала окружающих так, точно по ним ползали насекомые.

Это было уму непостижимо, но Мария Петровна вдруг изрекла вслух, обращаясь к Гнедыху:

— Мы — дети солнца! Да, товарищ комбриг?

Это было нелепо, но это было произнесено с сердцем и верой. Она употребила сочетание слов "товарищ комбриг", порожденное исключительно нашей эпохой, в сочетании с тем, что было, так сказать, космическим и символическим. И может быть, в этом заключалась суть нашей жизни: сочетание несочетаемых и противоречивых величин.

Марии Петровне было хорошо от того, что Гнедых не ответил и продолжал пребывать в состоянии сомнамбулы. Но Мария Петровна, глядя на него, в то же самое время, опять содрогалась от ощущения неизбежности вот всех этих учрежде-

ний, этой расписанной где-то по табелю жизни, в которой она когда-то была студенткой консерватории, женой, матерью, гражданином, и только нынче уже почти трансформировалась в нематериальную субстанцию, в то, что не имело головы, двух рук, двух ног, в составную часть того, что было без начала и конца, в то, что простиралось без края, как океан, что называлось вечностью. И все же, вопреки своему желанию, в ней все еще шевелились изначальные рефлексы и иногда она делала то, что сама осуждала. Когда на террасу вышла Клавдия Васильевна, например, между ними произошел такой диалог:

— Что подавать на ужин? — спросила Клавдия Васильевна.

— Борщ, — ответила Мария Петровна.

— Опять?

— Опять.

— Со сметаной?

— Со сметаной.

— С чесноком?

— Без, — голос Марии Петровны почему-то вздрогнул и повысился. — Кто в кухне разбил голубое блюдце?

— Я.

— Дрянь!

Мария Петровна встала и ушла в дом.

— Фурия, окаянная! прошипела ей вслед Клавдия Васильевна и, повернувшись лицом к Гнедыху, продолжала: — Сами посудите, старичек... обратно насчет ужину. Второй месяц на борще сидим. С утра до вечера борщ да борщ. Как в коммуне живем. И не то чтобы из-за скупости или экономии, нет, просто по старомодности и по безразличию. Вот чего. Ей-то все одно, только что чеснок не терпит. А так все готова жевать. Она же безмозглая. Это не секрет. Э-эх, нет модерну в этом доме...

Клавдия Васильевна махнула от досады рукой, подошла к столу, осмотрелась по сторонам, налила себе стакан вина и быстро выпила его, отерев губы краем фартука.

В отдалении зазвонили колокола церкви Патриаршьего подворья, весело, живо, басы перекликались с дискантами, провозглашая приближение вечерней поры и от этого, может быть, действительно, все вокруг стало празднично.

Клавдия Васильевна улыбнулась и трижды перекрестилась.

6.

— "В багряный закат ворвался 'Москвич' "! Хороша строфа! Перший класс! — сказал Светозар, свернув машину в открытые ворота и поехав по дороге, залитой последними лучами солнца, к даче.

Евгений был наблюдателен и любил природу. Что правда, то правда. Этого у него отнять было нельзя. В некоторых его стихотворениях она звучала чисто и оригинально. Может быть, только в природе он обходился без спекулятивности, понимая ее великую силу. И все же, по-моему, он любил природу прикладно — на секунду, две, то есть точно столько, сколько у него в жизни и поэзии было отведено на природу. Он заявлял, что он лирик и поэтому больше места отдавал в своих прочных штампах — любви. Я же думаю, что на первом месте у него была дипломатия, то есть улыбка с вопросом на губах: "Что угодно?"

Между прочим, когда красный "Москвич" Светозара сворачивал с аллеи Лермонтова в открытые ворота дачи, какой-то мальчишка из поселка, шустрый и горластый, бежавший за машиной и обдаваемый пылью, чихал и кричал во всю мочь:

— Брандмайор приехал!

Евгений погрозил ему кулаком. Ланской, сидевший рядом, рассмеялся, вероятно от того, что Светозар воспринял реплику мальчишки вполне серьезно.

Мне трудно писать о Евгении Светозаре объективно. Я этого не отрицаю. И я уже в начале летописи заметил, что я его не переваривал и что между нами пробежала черная кошка. В такой ситуации надо быть ангелом, чтобы не воспользоваться случаем и не дать противнику по зубам. И конечно же мне было приятно от того, что шустрый и горластый мальчишка обозвал Евгения "брандмайором" и что тот обиделся и погрозил кулаком. Ведь у этого типа не было ни капли чувства юмора. Впрочем, у него хватило юмора спросить меня, когда мы с ним еще были в приличных отношениях: "Как по-твоему, пахну я коридорами ЦК или нет?" (в этом был намек на то, что он-де вхож в высшие инстанции), на что я ему ответил: "Нет, ты пахнешь дерьмом". Собственно, после этого между нами и

возникли трения.

"Москвич" остановился во дворе. Евгений не преминул нажать на кнопку гудка, как бы во всеуслышание возвещая: "Эй вы, там, холопы, это я, я приехал! Вываливайте встречать!" Широким и манерным жестом распахнув дверцу машины, он вылез наружу. С другой стороны вылез Ланской. У обоих в руках было множество всяких свертков и пакетов, а кроме того, Евгений достал из багажника два чемоданчика, один почти квадратный, а второй по форме круглый.

Вздохнув полной грудью, Светозар сказал:

— Нет, я должен написать поэму "Мой автомобиль". И начнется она так: "В багряный закат ворвался 'Москвич' !" Прекрасно! — и тут же он бросил в ответ на лай соседской дворняги: — Замолчи, чертик! (собаку звали "Чертик" и она на самом деле выглядела как сказочный "чертик").

Немного погодя к "Москвичу" подошли Кутырев и Тавардкиладзе. Они помогли Евгению и Ланскому со свертками и пакетами. Андрей Алексеевич, разглядев элегантный летний костюм Светозара, не без иронии заметил:

— "Как денди лондонский одет и он увидел свет". Пам-пам-пам...

— Привет русским и грузинским прозаикам! — воскликнул Евгений. — О, друзья, я привез много новостей. Есть и клубничка. Да, да, Андрей Алексеевич, клубничка. Москва слухами полна. Столько говорят...

— А что, что говорят, генацвале? — навострил уши Тенгиз.

— Престольная захлебывается в брехне. Уж чего-чего, но брехни — целая галактика.

— Какая-такая галактика? — Тавардкиладзе нетерпеливо перебил Светозара, бросив настороженный взгляд на Кутырева.

— Отстань, князь! — отшутился Евгений.

— Я князь? Что вы, какой я князь.

— На Кавказе все князья.

Кутырев взял один из чемоданчиков.

— Голубчик, так ведь это... патефон. Патефон? И пластинки к нему?

— Так точно. Сорок, — ответил Ланской. — По списку. Между прочим, есть и "Очи черные, непокорные, и манят они в

страны дальние".

— Да ну!

— Честное слово.

— Ладно. Пошли. Пошли, — Светозар заторопился. — Меня ведь жена ждет.

Когда они поднялись на террасу, Евгений небрежно бросил в сторону отца:

— Салют, батька!

— Можно авоську положить на стол? — спросил Тенгиз.

— Клади, пока суть да дело, клади, — не глядя на Гнедыха, Ланской, подражая Светозару, небрежно бросил: — Салют, "Сабля"!

Комбриг же не ответил ни тому ни другому, по-прежнему сидя в кресле на колесиках без движений, с опушенной на грудь головой. Евгений, заметив это, на секунду поморщился, подошел к отцу, пощупал его пульс и, успокоившись, обратился к Кутыреву:

— Этот патефон, Андрей Алексеевич, мой родитель купил в Испании в подарок матери. Он вернулся после войны с Франко с орденом боевого Красного Знамени... — и он закричал: — Клара! Где ты? Клара! — затем он адресовался к отцу: — Я тебе, батя, все медали привез, те что были у тебя отобраны при аресте.

— Отсудили-таки? — Кутырев покрутил языком за левой шекой.

— Отсудил. Да где же Клара?

Светозар и Ланской, как бы мимоходом и не придавая этому особого значения, решили выпить.

— Коньячку? — спросил Ланской.

— Коньячку, — ответил Евгений.

Они чокнулись и осушили по полстакана каждый. После этого, щелкнув большим и указательным пальцами, Ланской сказал:

— Очередь в складах имущества бывших "врагов народа" архи-длинная. Я увидел и ахнул. Наглядная иллюстрация к эпохе "позднего реабилитанса". Но перед Евгением Светозаром, конечно, все расступились. Он же автор поэмы "Родитель". У него имя! Нота бене! — он опустился на колени, открыл патефон, завел его и поставил пластинку. — Давайте-ка послушаем

эту...

Хрипло зазвучала старая революционная песня "Там вдали, за рекой".

— Помню, помню, как же... — Кутырев поправил на голове "чепчик" и глаза его вспыхнули. — Хотя я еще и был мальчишкой. Да, да, романтика, жертвенность, героика. Помню, помню, как же... — и он с чувством подпел:

Ты боец удалой,
Расскажи дорогой,
Что я смело погиб
За рабочих!

Актер, ты им поведай, как меня встретили сегодня в ССП, — похвастался Светозар.

— О! Как Шекспира!

— А в московской синагоге?

— Как Моисея!

— Вы были и в синагоге, Евгений? — перестав подпевать, поинтересовался Кутырев, — это зачем же?

— Как зачем? Я же защищаю советских евреев от юдофобов сталинских времен. Вот семиты и устроили прием в мою честь. Ну и я захватил с собой "черносотенца" Ланского.

Светозар засмеялся.

— В костюме Ленина, — засмеялся и Кутырев.

— Да ведь у Ленина в крови было иудейство, — серьезно сказал Ланской.

— Амханагебо, товарищи, я должен заявить, что Евгений Светозар у нас в Грузии бог для молодых поэтов, — льстиво произнес Тавардкиладзе. — Да, да, его имя гремит. Не сомневайтесь, кацо.

— Спасибо, князь, — Светозар, заложив пальцы в рот, засвистел.

— Он скромен, — сказал Ланской.

— Вы четырехглавое чудовище, Евгений, — не без издевки заметил Кутырев.

— Подкапываетесь, эллин?

— Что вы, голубчик... я вам завидую.

Тавардкиладзе, решив, что между Светозаром и Кутыревым может произойти перебранка, попытался отвлечь того и дру-

гого, и ни с того ни с сего произнес:

— А знаете, по-грузински папа это мама. Верите? Клянусь честью.

— Не бойся, князь, дуэли не будет. Поэты с прозаиками не дерутся, — сказал Евгений.

— А на кулачках я бы, пожалуй, вас подковал, Женюра...

На террасу вышла Клара:

— Ну, что Париж, Женя? Летим?

Светозар быстро подошел к ней, обнял ее и поцеловал в губы. Тавардкиладзе смущенно опустил глаза, а Кутырев опять запел революционную песню.

— Видишь ли, родная... — Светозар провел ладонью по волосам Клары.

Она его перебила:

— Понятно. Тебя в ЦК утвердили, а меня опять вычеркнули из списка. Я — неблагонадежная, да?

— Актер, да прекрати ты эту какофонию! — раздраженно крикнул Светозар.

— Дети, ша. Поэт не в духе, — Ланской остановил патефон.

— Кларушка, родная моя, увы, из списка тебя вычеркнули. Ты угадала. Как только я узнал об этом, я позвонил в Выездную Комиссию ЦК и беседовал лично с генералом Панюшкиным. Он сослался на то, что ты не изменила свою девичью фамилию, Ильмас, не взяв фамилии прежних мужей и мою. Это конечно вздор! Я ему так и сказал. Он дал мне слово, что следующий раз... Однако, если ты хочешь, я откажусь и пошлю Париж к черту.

— Нет, ты должен лететь. Продукты привез?

— Все, что ты велела, кроме болгарского перца, он с прилавков почему-то исчез. Ты огорчена?

— Из-за перца?

— Из-за Парижа?

— Я этого ждала. Они же боятся, что я не вернусь обратно в СССР. Когда отлет?

— Через неделю. В четверг ночью.

Клара спросила Ланского:

— Ну а ваше дело как, выгорело?

Приняв позу Ленина, то есть заложив пальцы обеих рук в

кармашки жилетки, актер, картавя, начал:

— "Товарищи рабочие, крестьяне, солдаты и матросы! От имени Совета Народных Комиссаров объявляю: поэт революционных масс, красный сокол и буревестник, Евгений Светозар — это маг и волшебник наших времен..." — и посмотрев на Светозара, он спросил: — Могу рассказать что произошло?

— Валяй.

— Значит, так. Приезжаем в министерство культуры, на улицу Куйбышева. В секретариате министра человек десять. Ждут. Записаны на прием заранее. А мы нет. Мы с улицы. И всё вокруг тузы. С множеством блямб на груди. Народные. Лауреаты и прочие. Поэт Светозар сует свою длинную руку начальнику секретариата, бабе, и говорит: "Светозар, Евгений, как живете, милейшая?"

Ланской изобразил всю сцену в лицах.

— Шаржируешь, скот, — улыбнулся Светозар.

— Через пять минут мы в кабинете у министра. Так?

— Окей, валяй дальше.

— Поэт Светозар расхаживает из стороны в сторону и говорит: "Товарищ министр, допустимо ли, чтобы артист Ланской до сих пор обивал пороги вашего просвещенного учреждения?"

— Неужели он так и сказал: "просвещенного учреждения"? почти с восхищением спросил Кутырев.

Показав и эту сцену в лицах, Ланской кивнул:

— Министр — крольчиха. Светозар — удав. Полотно, достойное кисти Рембрандта...

— Ладно, не тяни, давай дальше, — перебил Светозар.

— А дальше Евгений заявил: "В 1947 году актер Ланской был арестован на спектакле "Человек с ружьем", играя роль нашего Ильича, и получил десятку за то, что изучал в свободное время эсперанто, на котором баба звучит как бовина, а мужик как бово. И вот теперь, уже находясь на свободе, актер Ланской — прямая жертва сталинского террора, не может вернуться в тот театр, в котором играл, по-русски, конечно, не на эсперанто же, роль нашего незабвенного учителя и вождя..."

— Короче! — рявкнул Светозар.

— Короче, министр культуры обещала восстановить меня во

всех правах и предоставить мне квартиру на улице имени Горького.

— Вах-вах-вах, — Тавардкиладзе от изумления закусил нижнюю губу.

Евгений, откинув голову назад и устало вздохнув, сказал:

— Клара, между прочим, на среду назначен вечер поэзии в Лужниках. Мне придется выступить. Без меня вечер не потянет. Так считают устроители. Не я же, конечно. Я прочитаю одну поэму. Новую. "Водолаз" — о наших славных эпроновцах. Да, и еще новость: в ССП стало известно о том, что мой сборник с "Родителем" и "Антикультом", вышел в Бостоне и в Сиднее, в переводе на английский.

— А зачем вы едете во Францию, батоно, если это не секрет? — спросил Тавардкиладзе.

— Хочу поболтать кое о чем с генералом де Голлем... — и рассмеявшись собственной остроте, Светозар уже серьезно добавил: — В Париже состоится очередной форум мировой интеллигенции на тему "Прогресс и разум на службе человечеству". Я буду читать стихи, разумеется. Я ведь разрушаю империалистов и всяких других реакционеров поэтической строчкой. Да, вот еще что, Клара, в "Юманите" напечатана статья, озаглавленная "Полпред социализма". Обо мне. Похож я на полпреда социализма, князь?

— Как две капли воды, генацвале. Клянусь честью! — с энтузиазмом воскликнул Тавардкиладзе.

— Да будет тебе бахвалиться, Клара нетерпеливо махнула рукой.

— Погоди. А вы как думаете, эпик? — Евгений обратился к Кутыреву.

Тот прищелкнул языком:

— Тенгизу виднее, голубчик.

— Знаете, Андрей Алексеевич, а Москва слухами полна, — вдруг, прищурившись, произнес Светозар.

— Какими? — спросил Кутырев.

— Какими, какими, батоно, а? — спросил Тавардкиладзе.

— Ну что же вы молчите, лирик? Вываливайте ваши слухи.

— Ты о чем, Евгений? — Клара нахмурилась.

— Нет... моя пробабка была замужем за шотландцем. А

шотландцы не болтливы. Так что обойдемся без слухов. Айдась на нашу половину, актер. По домам, ребята. Клара, забирай поклажу. Донесем?

Тавардкиладзе его не понял:

— На кого?

— Поможешь, князь?

— Я не доносчик. Клянусь честью!

— Заспиртовать оригинала! — крикнул Светозар.

— Давайте и я вам помогу, полпред, — Кутырев поднял с пола патефон и запел: — "Ты боец удалой, расскажи дорогой..."

— Спасибо, Андрей Алексеевич, — поблагодарила Клара.

— А мой батька, поди, опять целый день просидел на террасе. Поди, надоел? — сказал Светозар.

— Нет, нет, ничего... терраса ведь общая, — на ходу заметил Кутырев.

— "Товарищи рабочие, крестьяне, солдаты и матросы!" — начал "по-ленински" Ланской, — Вы идите, а я тут задержусь на минуту, по личному, так сказать, делу...

Светозар, Клара, Кутырев и Тавардкиладзе, взяв в руки все то, что было привезено из Москвы, пошли на половину Светозара. Ланской же, оглядевшись по сторонам, как ворюга, быстро "пропустил" еще полстакана коньяку, а потом сбежал с террасы во двор, обошел дом и направился к двери, которая вела в кухню. Решительным жестом он открыл ее.

7.

На пороге стояла Клавдия Васильевна с глазами полными восторга и благодарности.

— Ленин! — она всплеснула руками.

— Красавица моя, — Ланской обнял ее.

— Я все слышала через стенку, — потупила глаза Клавдия Васильевна. — Да только побоялась выйти на террасу.

— Значит, ты в курсе. Вот получу квартиру на улице имени Горького и тогда — в ЗАГС.

— Вы интеллектуалист, бово! Клавдия Васильевна ласково погладила Ланского по лысине!

— Я сатир, бовина!

— Я вас люблю, бово, — Клавдия Васильевна зажмурилась

от счастья.

— Любовь это высшее блаженство, леди.

Клавдия Васильевна смутилась:

— Да я же из простых. Мы с первым мужем по коневодству работали...

— Знаю! Лошадиную сперму консервировали.

— Ее...

— Так ведь за эту деталь, может быть, я тебя еще больше люблю, Клавушка. Иметь такое в биографии это же... это же целая Эйфелева башня. Не забудь, что я лагерник. Не только актер. Во мне и урка живет, — и Ланской запел: "С одесского кичмана бежало два уркана..." — затем он достал из кармана пиджака небольшой сверток и протянул его Клавдии Васильевне

Это тебе, бовина.

— Ах, балуете вы меня, а деньги счет любят.

— До брака-то, — деловито заметил актер.

Клавдия Васильевна развернула сверток и обнаружила в нем розовую комбинацию.

— Бесстыдник вы, бово... размер-то какой взяли?

— Ти-ци-ановский!

— Интеллектуалист.

— Примеришь?

— Да ну вас совсем, вы меня в краску вгоняете.

— Это что! Собаку заведем. Пуделя! Назовем его "Светозаром". И ковер купим, персидский. И пылесос. И порнографию, шведскую. С шиком жить будем, — Ланской понизил голос и быстро добавил: — Нынче ночью, в два, как обычно, в овраге, под мостом, — и поцеловав ее, еще добавил. — Нота бене!

— Сатир...

Актер побежал обратно на террасу через двор, и исчез на половине Светозара. Клавдия Васильевна мечтательно потянулась, но позади нее неожиданно раздался строгий голос Марии Петровны:

— Борщ разогрели?

Клавдия Васильевна повернулась на голос Марии Петровны. Зрачки их глаз столкнулись. Сначала Клавдия Васильевна хотела сунуть розовую комбинацию под фартук, но потом, не выдер-

жала, взмахнула ею в воздухе и закричала:

— Да пропадите вы пропадом с вашим боршом!

И выбежала из кухни.

— Дочь тьмы, спокойно вслед ей сказала Мария Петровна.

8.

Рошаль, подойдя к даче Кутырева-Светозара, сразу же, миновав ворота, стал размахивать правой рукой, в которой, как парламентер, он держал белый носовой платок. Оказавшись во дворе, перед террасой, он остановился и отер со лба пот. На нем был светло-желтый, скроенный из чесучи костюм, а на отвороте пиджака красовались многочисленные ордена и медали.

— Чепчик! Где ты тут есть? Э-э? Чепчик! — позвал Рошаль; но никто на его голос не откликнулся; однако он заметил на террасе Гнедыха. — А, красный кавалерист? Мое вам с кисточкой. Что? Вы меня не знаете, а я вас да-таки знаю. Что? Маразм? И днем спите? Знакомо. Я ведь рядом. И дачами, и вообще. Что нет? Э-э? Вы жи фатер поэта Евгения Светозара. Звезды. Ох и сыночка-трубадура вы подарили нашей соц. родине, товарищ с одним ромбом. Будь здоров! Он жи очистит карманы любого фраера. А вы, наверное, член КП с 1901 года? Э-э? Уник?

"Заговорившись" с Гнедыхом, Рошаль не обратил внимания, что на террасу вышел Кутырев.

— Узник? Почему узник? — удивился тот, не расслышав как следует последнего слова Рошаля.

— Да нет, глухарь, уник, уник. Понял? Таких, как эта музейная ветошь, теперь ведь по пальцам пересчитать. Что нет? Очень хорош для "Правды" — подписывать одобрения старых большевиков новых постановлений партии и правительства...

Кутырев напустил на себя неприступный вид и почти официальным тоном перебил Рошаля:

— А ты, собственно, кто?

— Чепчик, я член Се-се-пе, Се-Се-Се-Сэр. Арон Моисеевич Рошаль. Ведуший драматург, комедиограф. Что еще? Ах да, по профессии еврей.

— Зачем пришел, еврей? — покрутив языком за шеками и все

еще сердито спросил Кутырев.

Арон энергично замахал носовым платком:

— Мир! Шолом! Чепчик, ну нельзя жи дуться так долго. Мы жи не дети. Это жи неприлично. Ты жи не монстр. Ну я виноват. Признаюсь. Каюсь. Ну поцеловал публично твою дочь. Плохо, ой плохо. Аморально. Что? Да ведь Ирина такая деваха... Мессалина! И я жи извинился. Слушай, чепчик, это жи для тебя не секрет, что я "эротический Квазимода". Что делать? Ну ошибся. Но ведь мы жи с тобой старые друзья. И почти соседи по дачам. Чепчик, шолом!

Да, и я слыхал о том, что Рошаль месяца два-три назад както вечером в нашем Доме Литераторов на улице Воровского, куда Кутырев зашел вместе с Ириной, публично, при всем честном народе обнял ее и поцеловал в губы. Но как поцеловал! Взасос. Ну и Кутырев отреагировал на это тем, что порвал с Ароном отношения, назвав его при всем честном народе подлецом. А Рошаль пытался оправдаться, говоря: "Но ведь Ирина такая деваха... Мессалина!"

— "Эротический Квазимода", ворчливо повторил Кутырев. — Или "эротически незаурядная личность". Надо же... — и вдруг, улыбнувшись, совсем непринужденно, по-детски, он добавил: — Пес с тобой, Ароша. Шолом.

— Ну и слава Моисею!

Рошаль протянул руку Кутыреву, который пожал ее, попетушиному вытянув голову вперед.

— Ох, Мацист! — Арон закорчился от боли. — Тебе некуда девать силы что ли?

— Пам-пам-пам... да вот накачиваю бицепсы гантелями.

— Знаю. Давай обнимемся, давай поцелуемся.

Они обнялись и поцеловались три раза по древнему славянскому обычаю.

— Да, мы старые, старые приятели, Ароша.

— Еще бы, чепчик... ты помнишь нашу жизнь в жемчужине Одессе? Ой-ой-ой, какое пирожное "Наполеон" продавал мой фатер на Дерибасовской улице. Э-э?

Кутырев рассмеялся:

— У тебя в комнате на стене перед кроватью висела большая географическая карта Черного и Каспийского морей. И ты

говорил своим дульцинеям: "Жажду любви между двумя морями".

— И таки жаждал. Ой, жаждал, Андрюха.

— А помнишь, с каким триумфом прошла постановка твоей первой комедии "Рыжий кот"?

— А что? Кот-таки был рыжим. Э-э-э-э-э, "Как хороши, как свежи были розы". Да, мы были кем-то, чепчик. Были. Мы даже верили в новые времена, мечтали, спорили, носили на груди красные банты, писали, расставляли сексуальные капканы.

— Канканы?

— Капканы, глухарь.

— А... ты да, я нет. В этом смысле мы с тобой были разными, Ароша.

— Ах, целомудренник!

— Знаешь что, выпьем-ка по случаю нашего примирения вина. Тут как раз есть кое-что. Как оно называется? Оджалеши, грузинское. Понимаешь, его привез мой автор. Тенгиз Тавардкиладзе. Я перевел его роман. Зарабатываю на жизнь, так сказать. Поднимайся-ка на террасу, — Кутырев понизил голос и добавил: — Этот Тавардкиладзе типичный советский середняк, отличное пополнение для воеводства "Соц. реализма". Но парень ничего. Даже с проблесками. Ну, так выпьем?

— Еще как! Давай! Давай! — Рошаль поднялся на террасу. — Я жи не имею права пить дома. Устав жены. Эта стерва, моя молодая жена, Эльвира, да, да, Эльвира, следит за каждым моим шагом. Я возвращаюсь домой, она говорит мне: "Ну, дыхни!" Проверяет, не выпил ли я, и не выкурил ли сигарету. Ощупывает мои костюмы. О, от этой стервы ничего не скроешь.

— Красивое имя: Эльвира.

— Чтоб она сдохла!

— Не болтай глупости... — Кутырев налил два стакана вина и поднес один Рошалю. — За что же, Ароша?

— Пить за дружбу очень банально. Давай за здоровье Пикассо.

— Почему Пикассо?

— А почему и нет? Он же член Французской КП.

— Нет, давай за Одессу-маму.

— Хорошо, давай за маму, чепчик.

Они чокнулись, выпили и поставили стаканы на стол.

— А гос. лаур у тебя на груди не сосчитать! — проговорил Кутырев, прищелкнув языком.

— Да вот нацепил, чтобы убедить тебя в необходимости примирения. Внукам моим, между нами бабушками говоря, будет из чего делать золотые коронки.

— Пьесы твои идут по стране как чума. Молодец!

— Вот именно как чума. Они идут в каждом, даже в самом захудалом театре, где актерам платят жалованье только раз в год. Мои пьесы... Ах, чепчик, между нами бабушками говоря, я уже давно сам не хожу по проволоке. Устал. Ты же знаешь, кто этого теперь не знает, что у меня есть негр — молодой еврей, Гуревич. Саша Гуревич. Зубоскал. Гений, который выражается так: "Накладывать кучи я не умею, но размазываю идеально". Что? Словом, я накладываю, а он размазывает. Гонорар 75 процентов мне, 25 процентов ему. Концерн. Монополия. Торгуем оптом и в розницу соц. драмами и, преимущественно, комедиями. Вчера мой негр придумал фамилию для производственного фарса: "Бронхит". Знакомятся двое ударников. Один представляется: "Бронхит". Другой отвечает: "У тебя бронхит, а у меня палочки Коха". Ничего себе хохма? Э-э?

— Смешно, пожалуй, — без особого восторга отозвался Кутырев и, заметив осу, снял со стены "хлопушку" и стал за ней охотиться.

— Или вот тебе еще хохма, придуманная Сашкой Гуревичем: "Какая разница между просто реализмом и социалистическим реализмом? Просто реализм это когда писатель пишет то, что он видит. А социалистический реализм это когда писатель пишет то, что он слышит".

Кутырев рассмеялся, но сразу же спохватился и упрекнул Рошаля:

— Зло, зло, дружок. Зачем же так? Пам-пам-пам. Мы же все за "социалистический реализм". В общем и целом. Мы же все, так сказать, дети Горького.

— Лучше сказать, пасынки.

— Ароша, не злопыхательствуй, пожалуйста. Я этого не люблю, — и, убив осу, Кутырев добавил: — Готова!

— Отправил ее к прадедам? — Рошаль сел на диван, закатал

"брючину" и показал Андрею, что на голой ноге у него был привязан специальный "кармашек", в котором была пачка сигарет. Он достал ее.

— Закурим?

— Бросил.

— Ах, бычок, бычок...

— А ты молодую жену охмуряешь.

— Этой стерве нужно, чтобы "кто-либо" в семье зарабатывал. А "кто-либо" в семье хочет курить, "кто-либо" человек, "кто-либо" все равно умрет. Посмотри на мои ладони. Видишь? Красные как бурак.

— Нет, нет, мы еще поживем, Ароша. Пам-пам-пам! — бодро воскликнул Кутырев.

— Э-э, чепчик, впереди у нас с тобой только ночь, беспробудная ночь. Что, день?

— День, много дней. Не впадай в ипохондрию, пожалуйста.

— Слыхал, чепчик, — Рошаль закурил и с удовольствием затянулся табаком.

— Что слыхал? — рисуясь и в то же время с опаской спросил Кутырев.

— Да про твои любовные похождения слыхал...

— О чем ты, Ароша?

— О Кларе Ильмас. Э-э-э-э, во-первых, что она нашла в этом проходимце, Светозаре? Во-вторых, я половой антисемит, а она кажется полукровка, — Рошаль замялся и потом продолжал. — А в-третьих, ведь на свете много чудесных шоколадниц.

— Каких-таких шоколадниц!

— Моих. Отныне, чепчик, я пасусь на кондитерской фабрике имени Розы Люксембург. Оазис.

— Не понимаю.

— Пролетарская мухер — мечта. И недорого. Контрамарочка в театр на мой спектакль, скажем, "Леля, Сережа и мартен", и я уже в дамках.

— Ты... ты циник, Ароша.

— Я собираю на этой фабрике материал для следующей комедии. Они, шоколадницы, называют меня Карлом Либхнехтом. Ничего себе, э-э?

— Пошляк. Как тебе не стыдно! Ты употребляешь прослав-

ленные революционные имена черт знает для чего! И совращаешь молодых работниц кондитерской фабрики.

— Нет, не просто кондитерской, а социалистической кондитерской фабрики имени Розы Люксембург.

— Арон!

— Ой-ой-ой-ой, ты, кажется, опять хочешь выгнать меня вон. Э-э?

— Вон! — полушутя-полусерьезно произнес Кутырев.

— Стоп, чепчик! Не торопись. Перекрой светофор. Есть важное дело. Ты можешь быть серьезным или нет? — Рошаль понизил голос. — Я жи не случайно пришел к тебе с миром именно сегодня. Слушай сюда. Я жи имею важный сигнал. Откуда не спрашивай. Но моя разведка работает на все сто. В нашей жизни без разведки нельзя. Так вот, Андрей, твой новый роман "Годы и Люди" признан там наверху "Анти". Готовится удар — это решение наших ком. босов. Понял?

— Ничего не понял. Какой удар? Ты о чем, Арон?

— Об ударе, ударе по кумполу, кретин. Не строй мне глазки, я жи не фраер.

— Да о чем ты говоришь? Да ведь я же еще не получил письменного ответа из журнала "Знамя", куда я послал его.

Рошаль сердито хлюпнул носом и перебил:

— Не лови блох, локш!

— Нет, нет, ты что-то путаешь, Ароша.

— Слушай, чепчик, я повторяю, моя разведка работает на все сто. Тебя занесло. Занесло. Э-э-э, и меня когда-то заносило. Теперь не заносит. Я научился контролировать свое перо. И я даже завидую тебе, что ты еще не утратил эту способность: заноситься.

— Ароша, да ведь мой роман за, за Советскую власть.

— А разве "Записки ЗК" Житницына против? — Рошаль засмеялся неестественным дребезжащим смехом.

— Не надо бить лежачего, Арон.

— Лежачего? Ну, знаешь, я совсем не уверен в том, кто здесь лежачий. Он или мы? Хорошо, хорошо, не будем спорить. Я согласен, что все мы за Советскую власть, потому что другой нету. Однако штамп "за" или "против" ставят не писатели, а их ком. боссы. Слушай сюда, Андрей. Тебе следует немедленно

спрятать в надежном месте, хотя бы одну копию романа. Для истории. Для потомства. Я не предлагаю своих услуг, так как у меня в доме хозяйка моя молодая жена, стерва; она продаст.

Кутырева, разумеется, встревожило то, что ему сказал Рошаль, потому что об этом же, я повторюсь, ему до того сказала Ирина, да и Светозар как-то хитро улыбался, глядя на Андрея Алексеевича, и явно на что-то намекал. Но Кутырев продолжал сопротивляться, по-прежнему пытаясь свести все к недоразумению. Ему же было трудно поверить в то, что где-то там наверху, без его ведома и участия, его роман действительно был признан "Анти", в то время, когда он был глубоко убежден в том, что он написал чрезвычайно нужный и честный советский роман.

И хотя слово "удар" больно завибрировало в его ушах, он даже улыбнулся, чтобы рассеять беспокойство.

— Э-э, посмотрите на эту жирафу! Она улыбается! — воскликнул Рошаль. — Наивняк. Постучат в двери — будет поздно. Не упускай времени. Тебе жи до сих пор везло, потому что ты сидел главным образом на исторической тематике. На "Ермаке" и прочих "Стеньках Разиных" тоже без искусства баланса можно сломать голову. Что нет? Но писать на чисто советскую тему — это эквилибристика над бочкой с порохом. Я это знаю. Слушай, говорят, ты в своем романе сравнил Сталина с Гитлером. Врут?

— Не-ет, а что?

— Слушай, горшок, это гениальное сравнение, но за него тебе могут оторвать башку. Чепчик, ты нуждаешься в помоши, ибо тебе может быть очень худо... худо... — Рошаль опять закатил "брючину" и достал из "кармашка" свернутый листок бумаги и протянул его Андрею. — Я рискую, но это мой долг. Возьми. Отдашь, когда будут.

— Что это такое? — Кутырев развернул листок, оказавшийся чеком на 10 тысяч рублей. — Ароша, да ты что... Ты сошел с ума... зачем? Зачем мне деньги? Полно, дружок, я же не преступник, или ты думаешь, что они подвергнут меня полному остракизму.

— Вот именно! Остракизму!

— Нет, нет, это чушь! Нет, нет, оставь, пожалуйста!

— Слушай, чепчик, я рискую. Они конечно об этом узнают. И моя стерва-жена узнает. Но черт с ними! Я жи твой старый друг. Я не могу отвернуться от тебя совсем. Так что не упирайся, ты, горьковское чадо.

— Да нет же, я повторяю, Ароша, я же писал так, как мне велели мое сердце и мой глаз, а у меня, как и у тебя, как и у всех нас, глаза ведь...

— Максима Горького? Э-э? Ты это хотел сказать?

— Ну да, да, конечно. И я не мог, не мог написать "анти". Нет, нет, мы же все патриоты, Ароша, мы же... мы же...

— Андрей, я тебе нужен, я пришел — почти могильным голосом произнес Рошаль.

— Я конечно благодарен тебе, но... нет, нет, возьми чек обратно...

— У меня в банке — миллион.

— Нет-нет...

— Возьми. Если не понадобится — уничтожь. Дай Бог, чтобы не понадобился.

В это время со стороны ворот послышался гудок автомобиля и шум мотора, к которому сразу же прибавился лай соседской собаки — "Чертика". В медленно спустившихся сумерках засветились фары.

— Кто в такой час? — чуть вздрогнув, произнес Кутырев.

— По-моему, это лимузин, — Рошаль, прищурившись посмотрел в сторону ворот.

— И по-моему это лимузин. Фадейкин-Пырьков?

— Он. Генсек, собственной персоной заявился. Представление начинается. Пролог, чепчик, закончен.

— Неужели это Иван?

— Да, твой фронтовой друг. Почетный алкаш. Геббельс. Что нет? Двух жен загнал в могилу, импотент вонючий, третья его бросила. О, еврейский Бог, если ты существуешь, пошли ему поскорее кондрашку. Этот тип даже Житницына зачислил в иудейское племя и называет его Жидницыным и говорит, что отец последнего был евреем, Абрашкой, потому что отчество Житницына — Абрамович.

— Ароша, ты думаешь он приехал ко мне?

— А к кому же? Андрей, пойми, наконец, представление

начинается. Это первый акт. Завязка. Я тебе, конечно, сочувствую. Этот негодяй и плагиатор загубил сотни невинных писательских душ. Нет, я не хочу встречать эту славянскую вошь.

— Арон...

— Я тебя предупредил, бычок. Рукопись романа надо спрятать в надежном месте. И не тяни. А чек на 10 тысяч рублей — твой. Они тебе пригодятся. И еще вот что: ты никому не должен доверять. По моим сведениям, ты со всех сторон обложен, как и Житницын.

— Обложен? Кем?

— Орга́нами.

— Какими орга́нами?

— Гос. безопасности, мамочка.

Рошаль торопливо сошел с террасы и направился в глубину дачного участка, где он перелез через покосившийся забор, обнаружив прыть молодого человека и, оказавшись на пустыре, быстро зашагал по тропинке вниз к почти высохшей речушке, на дне оврага.

Появление Фадейкина-Пырькова теперь уже не на шутку взволновало Андрея. Теперь он уже чувствовал, как под ложечкой у него заныло и легкая дрожь начала подбираться к горлу. Это был страх. До того Кутырев все еще надеялся на то, что произошла какая-то неувязка, но теперь уже от этой надежды осталось мокрое место. Сунув чек на 10 тысяч рублей в карман, он покрутил языком за обеими щеками, произнес свое "Пам-пам-пам", натянул "чепчик" поглубже на голову, как будто бы кто-то мог сорвать его, и зашагал по террасе в ожидании генсека, решив, по тактическим и психологическим соображениям не идти во двор ему навстречу.

— Чепуха! Вздор! — подбадривал он себя.

Взгляд его остановился на бочонках с вином. Но Андрей Алексеевич отказался от мысли вдохновиться алкоголем, поняв, что ему весьма вероятно предстоит "серьезный" разговор.

9.

Да, приехал Иван Фадейкин-Пырьков собственной персоной и приехал в своем американском лимузине с правительственной

"кукушкой", то есть сигналом, останавливающим на перекрестках Москвы любое автомобильное движение.

Вдребезги пьяный Иван был в белых брюках и белой украйнке с вышитой грудью, с одним парусиновым туфлем, соскочившим с правой ноги, в левой руке.

— Эй вы там! Кто там? Люди! Письменники земли русской! Встречайте маршала! завопил он пьяным голосом, выбравшись из машины и не позволив шоферу поддержать его.

И вышло так, что первыми, кто откликнулся на его крик, оказались Светозар и Тавардкиладзе. И вышло так, что когда они бегом приблизились к лимузину, Фадейкин-Пырьков взял и просто упал им на руки.

— Товарищ Иван... что с вами? — почтительно произнес Евгений.

— Я сам... не троньте меня, черти... — Генсек запихнул туфлю в карман брюк и обнял за шею Тенгиза. — Ты, собственно, который? Я тебя не знаю...

— Я Тавардкиладзе. Грузинский прозаик, член ССП, — почти по-военному отчеканил Тенгиз.

— Инородец? Ага, а это верно, что колхозники у вас в Грузии сперва слушают эмигрантское антисоветское радио из Мюнхена, а потом пьют за здоровье усопшего Сталина, а? — и не дожидаясь ответа, повернув голову к Светозару, он спросил: А ты, длинный, которая твоя фамилия?

— Ну, Иван Александрович, если вы надрызгались так, что не узнаете ведущих поэтов современности, то...

— А, Светозар! Ты? Как же, как же, узнал. Привет ведущему. А где тут Андрюха? Кутырев где? Мне надобно повидать чепчика. Где он?

Светозар и Тавардкиладзе на руках внесли Фадейкина-Пырькова на террасу.

— Здравствуй Иван, — прикинувшись радушным хозяином, сказал Кутырев. — Ты не ко мне ли, случайно?

— Здравствуй, тип, к тебе, именно к тебе... — у генсека заплетался язык. — Эй, черви, опустите меня на землю. Я не Мао Дзедун какой-нибудь, не китайский мандарин, понимаете ли... Без опоры на земле, я тоже червь... — и, сгримасничав, он добавил: — Андрюха, у меня, понимаешь ли, этот... как его...

запой, небольшой, даже я бы сказал проходной... Вы вот чего, черви, вы... вы мотайте отседова... Ты, как тебя?

— Тавардкиладзе.

— Ага... так вот ты, инородец, и ты, светлая заря... вы того... марш. Мне потребно с Андреем... с Кутыревым вдвоем по душам потолковать пару минут... Я вас ценю, черви, вы талантливые и ведущие, вы... как его... высоко держите знамя ленинской партийности, ну и... всякое такое...

— Иван Александрович... — начал было Светозар.

— Вы сокровища! — выкрикнул Фадейкин-Пырьков. Социалистические брильянты! Клад! Да, да, вы клад, но вы того... мотайте отседова... Ясно?

— Да ясно уж, куда больше, — проговорил Евгений с интонацией снисходительности. — Толкуйте сколько вам влезет, старшее или старое, или "старческое" поколение. Мы с князем будем поблизости. Если вам понадобится молодое поколение — позовите.

Светозар и Тавардкиладзе ушли на половину Евгения. А Фадейкин-Пырьков уже почти трезвым голосом сказал:

— На мое место метит, скотина. Светлая заря-то. В одном "литературном салоне" этот гад заявил, что "после того, как дегенерат Иван окончательно сопьется, я сяду в кресло генсека". Понимаешь, Андрюха, что угрожает советским письменникам? Вот она... смена! А на вид угодничает, сука, лебезит, педераст...

— Педераст? Светозар? — Кутырев удивленно посмотрел на Фадейкина-Пырькова.

— А ты что не знаешь что ли? Да он же живет с этим... ну как его... ну с Лениным, то есть с актером, который тут у вас обитается...

— Нет, это вранье.

— В Москве все говорят: Светозар живет с Лениным. Не спорь, Андрюха, — пошатнувшись, Иван схватил Кутырева за шею и повис на ней, как в цирке один атлет повисает на шее другого. — Слушай, брат, в следующий понедельник ровно в 11.00 ты должен быть на Старой площади, в ЦК КПСС, в отделе пропусков, конечно, ведь ты того, ну как тебя, ты же беспартийная сволочь...

— Я сочувствующий.

— Все равно, без пропусков и сочувствующих в ЦК ни-ни, не пушают.

— А зачем?

— Что зачем?

— Зачем мне надо быть... в ЦК КПСС?

— Нас вызывает товарищ Сусликов, дурак.

— Кто дурак? Сусликов?

— Ты!

— Иван... но зачем, зачем мы понадобились самому товарищу Сусликову? — Кутырев почувствовал слабость в икрах ног.

Фадейкин-Пырьков сполз на диван и в полулежачем положении сказал:

— Не теряй драгоценного времени; продумай, понимаешь ли, по какой линии тебя легче всего будет долбать... ну за новый роман, разумеется, не за "Ермака" же, не за "Киквидзе" же... Как называется твой новый опус? Погоди... "Люди и Годы" что ли, или наоборот... словом... ну то, что ты послал Кожевкину в "Знамя"... А Кожевкин, сукин сын, без моего ведома, передал роман в этот, как его... в ЦК... Но можно, понимаешь ли, и по профсоюзной линии тебя критикнуть, или по морально-бытовой... тоже подойдет... дома ведь у тебя бардалес... Ирка твоя поди дает концертики направо и налево... да и ты сам того... спутался с этой светозаровской язвой...

— Иван, да ты что...

Фадейкин-Пырьков перебил:

— А что, не так что ли? Сперма тебе в голову ударила, товарищ Кутырев, вот ты и свихнулся. И политически свихнулся. Эта язва, жидовка Ильмас, тебя, понимаешь ли, настраивает против нас... А для меня, товарищ Кутырев, понимаешь ли, интересы партии превыше всего, в том числе и фронтовой дружбы, понимаешь ли... Наша фронтовая дружба дело прошлое, да, да, прошлое, товарищ Кутырев, а сегодня... Вы, товарищ Кутырев, понимаете ли, в своем новом романе, в этой идеологической порнографии, понимаете ли, клевещете на наш народ, понимаете ли, — и затем, приподнявшись, Иван вдруг сказал: — Андрюха, дай полсотни. Взаймы.

— Полсотни? Да ведь... да у меня нет денег; деньги у Маши,

Кутырев растерянно ощупал карманы. — У меня ничего нет. Ни копейки.

— У, скряга! Это всегда так говорят — деньги у жены. Знаю, я вас, скупердяев. А я, если хочешь, из-за нее, из-за полсотни к тебе и заехал. А "приглашение" в ЦК ты получишь в письменном виде, под расписку, наверное, завтра. А как же? — и он опять приподнялся и заорал: — Эй, черви! Вы, там! Прозаики и поэты! Давайте, понимаете ли, маршала в эту... ну как она... в машину... тащите меня...

На террасу выскочили Светозар и Тавардкиладзе, как будто бы они ждали, когда Фадейкин-Пырьков позовет их. Они подняли его на руки. А он тут же не преминул обратиться к Светозару за деньгами:

— Длинный, одолжи полсотни. До завтра. Издержался я, понимаешь ли...

— Сам сижу без гроша, — как автомат произнес Светозар. — Банкрот я, Иван Александрович!

Но Тавардкиладзе с охотой откликнулся на просьбу генсека.

— Пожалуйста, генацвале, могу одолжить и полсотни и сотню. Сколько вам надо?

— Да ладно, давай пару сотен. Который ты?

— Тавардкиладзе. Прозаик. Из Тбилиси. Член ССП.

— Ага... о, у тебя явный талант. По глазам вижу...

10.

После отъезда Фадейкина-Пырькова, Тенгиз решил откровенно поговорить с Андреем Алексеевичем и вернуться в Москву в гостиницу "Гранд-Отель". Непредвиденная встреча с генсеком, о котором он так много слышал, но с которым знаком не был, и тот факт, что последний одолжил у него 200 рублей, конечно на некоторое время отвлекли Тавардкиладзе, но тем не менее он продолжал думать только об одном; как ему выкрутиться из создавшегося положения и сделать это, так сказать, благородно, не показав себя трусом. Появление "маршала" на даче и его "беседа" с Кутыревым окончательно убедили грузинского прозаика в том, что он попал в беду и что катастрофа неминуема. И вместе с тем он понимал, что ему невозможно

отказаться от Кутырева, как переводчика его романа, и что фамилию Кутырева с титульного листа не снимешь, если, разумеется, дело не дойдет до того, что Андрея Алексеевича арестуют. Инстинкт самосохранения подсказывал Тенгизу, как первый и основной шаг, — изолироваться от Кутырева. А Тавардкиладзе всегда слушался своих инстинктов и они его еще не подводили.

Итак, Тенгиз нашел Андрея в кабинете, где тот вытачивал на токарном станке какую-то деревянную фигурку и со стороны казался полностью поглошенным работой. Но это, конечно, было не так. Собственно, это был и самообман. Сам Андрей Алексеевич пытался таким образом побороть в себе все усиливавшееся и все глубже охватывающее его волнение.

В открытые окна проглядывала вечерняя тьма.

— Андрей Алексеевич...

— А, это вы, Тенгиз? Что?

— Андрей Алексеевич, дорогой, я все знаю... о том, что случилось с вашим романом "Годы и Люди". Я знаю, что в ЦК его назвали "Анти". Мне об этом сказал и Евгений Светозар. Я вам глубоко сочувствую, батоно, но вы должны понять мое положение... я... я хочу вернуться в Тбилиси... У меня там дела, знаете ли, семья... и вообще, я ведь приехал на время...

Кутырев пристально посмотрел на Тавардкиладзе, остановил станок, отряхнул с себя стружки и, обращаясь вовсе не к Тенгизу, а к кому-то за пределами своей комнаты, сказал:

— Так вот, товарищ Сусликов, если вам мало одного Житницына, извольте, теперь и я к вашим услугам! Теперь у вас на прицеле будут два непослушных: Житницын и Кутырев. Пам-пам-пам! Нет, товарищ Сусликов, меня голыми руками не возьмешь. И я не из робкого десятка. Вы, товарищ Сусликов, объявляете мне войну, ну что ж, я ее принимаю. Вызов принят. И я не уступлю. Это вопрос писательской чести, товарищ Сусликов! Я буду бороться за свое литературное детище до последнего! Вы привыкли командовать, а я вам не бессловесный раб! Я литератор! Ленин был литератором. И я литератор! Пам-пам-пам. Довольно держать меня в партийной упряжке. Писатель должен быть свободным, как... как жаворонок. И он должен писать правду! Да, товарищ Сусликов, я вступаю на путь борьбы

с ЦК!

— Что вы, что вы, Андрей Алексеевич, — испугался Тавардкиладзе, — как можно бороться с ЦК? Я вот думаю, может быть вам лучше откупиться — сунуть в лапу кому-нибудь наверху пару тысяч рублей. У нас в Грузии даже в ЦК берут взятки...

— Тенгиз, слушайте меня внимательно, энергично перебил Кутырев, игнорируя слова Тавардкиладзе.

— Да?

— Это строго между нами, — он понизил тон.

— Что такое?

— У вас родственники в горах есть?

— Конечно. У каждого грузина в горах есть родственники, генацвале. Мы же горцы. Таков рельеф нашей страны.

— Прекрасно, — Андрей прищелкнул языком.

— У меня, например, есть дедушка Гигия. Он живет под самым небом. В Сванетии.

— Это хорошо, это очень хорошо. Так вот, Тенгиз, я хочу, чтобы вы захватили с собой в Тбилиси один экземпляр моего нового романа и переправили бы его деду Гигия, под самое небо, на вечное хранение.

— Что-о?

— Я понимаю, Тенгиз, вы влипли как кур в ощип. Вам лучше поскорее смотать удочки и вернуться домой в Тбилиси. Подальше от греха. Да, у меня, вероятно, будут неприятности с ЦК. Однако, я думаю, что вы, как писатель и любитель литературы, согласитесь помочь мне.

— Андрей Алексеевич, я всей душой. Конечно, я готов помочь вам, но... но ведь это может быть истолковано, как действие, идущее вразрез с интересами партии и правительства, и...

— Вы боитесь последствий?

— Нет, нет, я ничего не боюсь!

— Тогда в чем же дело?

— Да ведь...

— Тенгиз, не так страшен черт, как его малюют. Во-первых, никто не будет об этом знать. Это должно быть тайной. Тайной между вами и мной. Ну и прибавим сюда деда Гигия. Но я

уверен, что он замечательный и молчаливый, как скала, старик.

— О да, о да... дедушка Гигия — это скала.

— Ну вот, а во-вторых, если даже это обнаружится, вы скажете, что вы не знали о том, что содержится в папке, которую я вам передал. Вы назовете себя жертвой.

— Жертвой? Вы думаете они верят жертвам? — Тенгиз закусил нижнюю губу.

— Не беспокойтесь, мой друг, они вам поверят. Вы выглядите, как жертва уже сейчас. Они вам поверят, потому что это в их интересах. Они же не захотят расширять инцидент. Словом, Тенгиз, по рукам и за дело. Я вам доверяю. Да, да, я вам доверяю свою честь. Пам-пам-пам... — Кутырев достал из ящика письменного стола толстую синюю папку и вручил ее Тавардкиладзе — Это вот вторая копия.

— О гмерто, я пропал... — тихо проговорил Тенгиз.

Подумать только, Андрей Кутырев отважился на столь рискованный шаг! Это было на него так не похоже. Но ведь и на старушку, говорят, бывает прорушка. Убеждая Тавардкиладзе в том, что вся эта затея не была так уж опасна, он сам вовсе не был в этом уверен. Напротив, в глубине души он был уверен в том, что решился на очень опасное действие. Да, на такое у нас не каждый пойдет. Черт возьми, может быть, в Кутыреве действительно взыграло писательское самолюбие! Наконец! Да, говорят, что и на старушку бывает прорушка. Может быть, в Андрее забушевал талант, за которым проглядывала человеческая совесть.

Андрей Кутырев был сгустком противоречий!

Тем не менее, факт оставался фактом. Кутырев предложил товарищу Сусликову не мир, а поединок. Положа руку на сердце, скажу, что я, например, не осилил бы такого акта, хотя и в моей скромной литературной биографии случилось однажды, что мне надо было либо плюнуть самому себе в физиономию, либо бросить категорический вызов властям, всей системе. Это было что-то вроде танца смерти на рубиконе эпохи, говоря образно. И я тоже был близок к отчаянному прыжку. Но в последний момент у меня не хватило нерва, мужества, я "скис", как лимон в стакане чая, и предпочел плюнуть самому себе в физиономию. Увы, увы, я не сумел противопоставить свое "я" коллективу,

олицетворявшемуся понятием "мы", а практически ЦК КПСС. А выбора не было. Нет, выбор был таков: либо ты, либо общество, ибо общество у нас жило и живет по кодексу идеологии "стеоритизированной" Карлом Марксом сто лет назад.

Подумать только, Андрею возжа попала под хвост и он последовал совету Рошаля и решил прежде всего схоронить одну копию своего романа!

Меня интриговало: как же поведет себя Кутырев в кабинете товарища Сусликова и поедет ли он в следующий понедельник на Старую площадь или же возьмет и дипломатически заболеет?

Тенгиза же лихорадил страх. И тогда я бы не поручился за него, то есть не поручился бы за то, что, взяв с собой "Годы и Люди", он действительно переправит его в горы Сванетии, а не передаст в руки органов Гос. безопасности или, ну, скажем, в партком ССП, несмотря на то, что его дядя, Народный Поэт Грузии, Афтандил Коркия, привил ему вкус к "вольным" воззрениям и, позже, может быть, из-за этих самых "вольных воззрений", сам сошел с ума. Нет, как я уже заметил, у нас в Литературном институте Тавардкиладзе считался человеком крайностей, но никто за ним не усматривал "якобинства", скорее он был в разряде ортодоксов и состоял членом бюро комсомольской организации, членом которого был и я...

Но судьбы людей и их характеры даже в условиях тотально регламентированной советской реальности, все же переменчивы.

Я не буду забегать вперед, но скажу, что Тенгиз, уехав в тот же вечер в Москву и захватив с собой рукопись романа Кутырева, в синей папке, заперся у себя в номере и занялся упаковкой чемодана, готовясь к отлету в Тбилиси. Внутренне, повторяю, он был в состоянии полного смятения и, повторяю, его лихорадил страх, который приводит людей к тому, что научно называется экстремизмом.

(Продолжение следует)

Ю. Кротков

НА МОТИВЫ БЛОКА

1. ГОРОД

Без конца, без конца мостовые —
До утра будет этот кошмар...
Смотрят мертвенно окна слепые
На пустынный ночной тротуар.

Криком город уснувший молю я
Мне отдать, что я в нем потерял.
Горло в жалобу сжато больную,
Я продрог, я смертельно устал.

Ветер гонит меня исступленно.
Я иду, задыхаюсь, бегу...
И кричу фонарям я зеленым,
Что я жить, что я жить не могу.

Но лишь хлещется ветер безумно
О дома неживые в ответ,
Да на камни зловеще бесшумно
Припадает испуганный свет.

2. ДВОЙНИК

В эту ночь над осеннею грязью
Низким пологом шли облака.
В эту ночь, оборвав наши связи,
Я убил своего двойника.

Он молил о пощаде и плакал,
Я смеялся тихонько и ждал.
И когда он качнулся во мраке,
Я вонзил ему в сердце кинжал.

Закричав, он свалился на плиты
И прижал мою руку к губам,
И я понял тогда, что убитый
Был такой же, как я, был я сам.

Но на горло ему наступая,
Я, свободный, жестокий — другой —
Знал, что этой ценой покупаю
Долгожданный, холодный покой.

Я смеялся над нашей борьбою.
Но, когда я взошел на крыльцо,
Я опять увидал за собою
Искаженное мукой лицо.

Борис Нарциссов

НАСЛЕДНИК

При выходе на волю из темницы
Утрачены достоинство владык,
Герб воинский — мечи, знамена, штык,
Набор икон растоптанной божницы.

Лишь языка не отняли границы:
Я русскости стыдиться не привык —
В отличие от новых "горемык",
Въезжающих в богатые столицы.

Я исподволь Китай завоевал,
Бразилии бессмертье даровал,
Обоим дал зеркальное нетленье,

И, наконец, по-старчески ворча,
Я воздаю добром за преступленье,
Наследником назначив палача!

Валерий Перелешин

"МОСКВА—ПЕТУШКИ" ВЕНЕДИКТА ЕРОФЕЕВА И ТРАДИЦИИ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЭМЫ

Книга Венедикта Ерофеева "Москва—Петушки", написанная в самом конце 1960-х гг. и получившая широчайшее распространение в самиздате, стала крупнейшим литературным событием 1970-х гг. Это эпическое повествование о всеобщем, стихийном русском пьянстве и, таким образом, о советской жизни в целом, ибо в пьянстве сейчас заключен весь духовный мир советского человека, "только ради алкогольного забвения еще стоит оставаться жить".[1]

Книга, названная в позднее исчезнувшем подзаголовке поэмой, представляет собою рассказ (пьяную исповедь) о путешествии героя из Москвы на станцию Петушки. Рассказ ведется от первого лица и имена автора и лирического героя совпадают.

Такое композиционное построение пробуждает у читателя определенные литературные ассоциации, тем более, что, как увидим, это входит в намерения автора. В числе литературных предшественников Ерофеева мы сразу легко называем "Мертвые души" Гоголя, "Путешествие из Петербурга в Москву" Радищева, "Сентиментальное Путешествие" Стерна.

Однако эти лежащие на поверхности параллели далеко не исчерпывают литературных связей Ерофеева. От поэмы

---

1. А. Солженицын. В круге первом. Собрание сочинений. Том второй. Вермонт. Париж, 1978, стр. 319.

"Москва—Петушки" ассоциации ведут не только к поэме "Мертвые души", но через "Божественную комедию" Данте к поэмам классицизма и античности (Вольтеру, Виргилию и др.). На связях современного эпоса Ерофеева с эпическими поэтами классицизма мы и позволим себе остановиться несколько подробнее.

С классическим эпосом книгу Ерофеева роднят следующие принципиальные положения, сформулированные еще Буало, а на русской почве М. М. Херасковым в известном предисловии к "Россиаде": "Эпическая Поэма заключает какое-нибудь важное, достопамятное, знаменитое приключение в бытиях мира случившееся и которое имело следствием важную перемену, относящуюся до всего человеческого рода..."[2]

Героем такой поэмы является выдающаяся личность, даже слабости которой должны вызывать восхищение:

Faites choix d'un héros propre à m'intéresser,
En valeur éclatant, en vertus magnifique;
Qu'en lui, jusqu'aux defauts, tout se montre héroique;
Que ses faits surprenans soient dignes d'être ouis;
Qu'il soit tel que César, Alexandre, ou Louis...[3]

В такой поэме всегда наличествует элемент чудесного, чаще всего взятый из античной мифологии.

Классическая поэма всегда вторична. Она не может существовать без образца: "Энеида" без "Илиады" и "Одиссеи", "Генриада" без Виргилия, "Россиада" без всех этих предшественников плюс Тассо, Ариосто, Мильтон, "Мертвые души", без Гомера и Данте, книга Ерофеева, как увидим, без всей предшествующей культуры (и антикультуры). Эти поэмы пишутся с расчетом на читателя, постоянно сопоставляющего читаемого автора с его знаменитыми предшественниками.

Всем описанным параметрам удовлетворяет рассматриваемая нами книга. Она посвящена поистине судьбоносному явлению не только в жизни русского народа, но явле-

2. М. Херасков. Взгляд на эпические поэмы. М. Херасков. Творения. Ч. I, М. 1796, стр. 17 отдельной пагинации.

3. N. Boileaux-Despréaux. L'art poétique, 246-250.

нию далеко не безразличному для судеб всего человечества. Пьянство в СССР трагедия чреватая далекими, пока непредсказуемыми последствиями. Оно, по Ерофееву, есть действительно единственная и абсолютная ценность бытия. Лишь в пьянстве может проявить себя личность: ".. у каждого своя мечта и свой темперамент: один — вермут пил, другой, кто попроще, — одеколон "Свежесть", а кто с претензией — пил коньяк в международном аэропорту Шереметьево".[4] "Мир прекрасного" — это когда "человек выпьет семьсот пятьдесят". "Объект вдохновения" — денатурат. Для счастья нужно "еще пива и пару портвейнов". И герой, наконец, приходит к выводу: "Нет ничего, кроме этого! ...Вы скажете: "Призвание это гнусно и ложно". А я вам скажу: ..."Нет ложных призваний, надо уважать всякое призвание".

Далее, герой поэмы Венедикт Ерофеев олицетворяет, по крайней мере, с официальной точки зрения, самую значительную общественную силу страны. Он есть истинный герой наших дней, "его величество рабочий класс", по словам официальной пропаганды. Что же касается слабостей, то герой наделен ими с избытком.

Книга изобилует чудесами (поют ангелы, совершается революция в деревне Черкасово) и даже, как рекомендовал Буало, эти чудеса бывают взяты из античной мифологии. Таков Сфинкс, задающий загадки, бешено мчащиеся вдоль вагонов Эринии.

Вместе с тем, пародийность, бурлескность, злая сатира рассматриваемой книги, естественно, не позволяют прямо причислить ее к тому ряду, который начинается именами Гомера и Виргилия, затем Вольтера, Хераскова и др.

У героической поэмы есть сниженный двойник. Сам пафос ее, высокий сюжет, напряженность изображаемых событий и пр. порождает желание ее пародировать. Этому способствует отмеченная литературность, ориентация героического эпоса на образец.

Уже гомеровская "Илиада" имела своего пародического двойника "Батрахомиомахию". Развитие классицизма привело к

4. В. Ерофеев. Москва—Петушки. YMKA-PRESS. Paris, 1981. Все ссылки на это издание.

появлению в европейской литературе большого количества травестированных и ирои-комических поэм, либо изображающих высоким слогом ничтожные происшествия обыденной жизни (Буало "Налой"), либо, наоборот, сниженным, обыденным языком, слэнгом рисующие величественные события прошлого (Скаррон "Травестированная Энеида").

В 18 и начале 19 века жанр травестированной и ирои-комической поэмы получил в России очень широкое распространение (В. Майков, Осипов, Котляревский, Шаховской, В. Пушкин и мн. др. вплоть до пушкинской "Руслана и Людмилы"). Нужно заметить, что в России разница между травестированной и ироикомической поэмой зачастую исчезала. Ирои-комическая поэма травестирует, выставляет в смешном и сниженном виде классические ценности. Однако если в тезаурусе читателя не существует предшествующей литературной традиции, то поэма не будет им воспринята, перестанет для него существовать. Читатель должен был знать, что

> Робенка баба бьет — то гневная Онона.
> Плетень вокруг гумна — то стены Илиона.[5]

Он хохотал, читая, что начальница тюрьмы для проституток сожгла в печи портки и камзол своего любовника Елисея

> И тем подобною Дидоне учинилась, —[6]

той знаменитой карфагенской царице, которая, покинутая Энеем, сожгла самоё себя на костре.

Современной формой травестированного эпоса является поэма "Москва—Петушки". В ней выворачивается наизнанку, снижается и пропускается сквозь восприятие пьяницы весь арсенал культуры, которым располагает современный советский интеллигент. Таких реминисценций здесь сотни. Если их не воспринимать, книга перестанет существовать как художественный текст.

---

5. А. П. Сумароков. Эпистола вторая (О стихотворстве). В кн.: А. П. Сумароков. Избранные произведения. Ленинград. Изд. "Советский писатель". (Библиотека поэта. Большая серия), 1957, стр. 123.

6. В. Майков. Елисей или Раздраженный Вакх. В кн.: Василий Майков. Избранные произведения. М.-Л. Изд. "Советский писатель". 1966, стр. 112.

Могут быть выделены три группы этих реминисценций: Явления западноевропейской культуры; 2. Русская культура; 3. Культура (или антикультура) современного советского общества, включая события Октябрьской революции, партийные лозунги, изречения вождей и пр.

Остановлюсь на нескольких примерах. В книге Рабле "Гаргантюа и Пантагрюэль" описана Телемская обитель с надписью при входе "Делай, что хочешь". Здесь люди живут дружно и согласно: "Благодаря свободе у телемитов возникло похвальное стремление делать всем то, чего, по-видимому, хотелось кому-нибудь одному. Если кто-нибудь из мужчин или женщин предлагал: "Выпьем!" — то выпивали все; если кто-нибудь предлагал: "Сыграем!" — то играли все; если кто-нибудь предлагал: "Пойдемте порезвимся в поле — то шли все. Если кто-нибудь заговаривал о соколиной или же другой охоте... и т. д."[7]

Прекрасная утопия Рабле трансформируется у Ерофеева в дружное и гармоничное пьянство: "Мы жили душа в душу и ссор не было никаких. Если кто-нибудь хотел пить портвейн, он вставал и говорил: "Ребята, я хочу пить портвейн". А все говорили: "Хорошо. Пей портвейн. Мы тоже будем с тобой пить портвейн". Если кого-нибудь тянуло на пиво, всех тоже тянуло на пиво".

Еще один пример, чтобы показать, как плетется Ерофеевым нить ассоциаций, связывающих его книгу с европейской культурой. Пьяный старичок Митрич рассказывает: "Председатель у нас был... Лоэнгрин его звали, строгий такой... и каждый вечер на моторной лодке катался. Сядет в лодку и по речке плывет... А покатается он на лодке... придет к себе в правление, ляжет на пол... А если скажешь ему слово поперек — отвернется он в угол и заплачет... стоит и плачет, и пысает на пол, как маленький..."

Нельзя придумать более нелепого имени для председателя советского колхоза (на следующей странице оно названо "позорной кличкой"). Откуда оно появилось? Настоящий Лоэнгрин приплыл по Шельде спасать свою Эльзу на лодке, влекомой белоснежным лебедем, и в той же лодке уплыл в свой далекий замок.[8]

7. Франсуа Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль. Гос. Изд. Художественной литературы. М., 1961, стр. 151-152.

8. Richard Wagner. Lohengrin. Opera in Three Acts. G. Schirmer's collection of

Сказочная лодка стала просто моторной. Шельда превратилась в безымянную речку, а печаль рыцаря Святого Грааля, покидающего возлюбленную, трансформировалась в потоки слез запойного пьяницы.

Естественно, что русская культура травестируется Ерофеевым гораздо чаще. Так, в школьном преподавании и официозной пропаганде большой популярностью пользуется Тургеневское стихотворение в прозе: "Русский язык": "Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! ...нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!"[9]

Герой Ерофеева присматривается к своим соседям по электричке: "Мне нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые. ...никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла — но зато какая мощь! (Какая духовная мощь!) Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной. В дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий — эти глаза не сморгнут. Им все божья роса..." Острые и издевательские, а по существу глубоко печальные раздумья героя заканчиваются точной цитатой из Тургенева.

Сто лет тому назад еще жила вера в великое предназначение русского народа (Тургенев, Достоевский), а ныне только пустые глаза глядят на Венечку, глаза народа, спившегося, потерявшего духовность, утратившего чувство собственного достоинства (конец цитаты — намек на пословицу: Ему хоть наплюй в глаза, а он — Божья роса).

С особенным злорадством, наслаждаясь своим остроумием, осмеивает автор расхожие медные пятаки советской идеологии, выдаваемые властями за культуру современного общества. Венечка рекомендует своим друзьям-работягам поэму Блока "Соловьиный сад": "Очень своевременная книга... вы прочтете ее с большой пользой для себя".

---

opera librettos. G. Schimer, Inc. New York, 1963.

9. И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений и писем. Т. 13. Изд. "Наука", М.-Л., 1967, стр. 198.

М. Горький вспоминает высказывание Ленина о романе "Мать": "Очень своевременная книга ...много рабочих участвовало в революционном движении несознательно, стихийно, и теперь они прочитают "Мать" с большой пользой для себя".[10] Бригадир Ерофеев с важным видом присваивает себе бессмысленное изречение вождя по поводу скучного и слабого романа, лежащего у истоков "Социалистического реализма", но обращает его к благоуханной поэме Блока, которая впрочем тоже травестируется: лирический герой поэмы "уволен с работы за пьянку, б(...)ки и прогулы".

Официальной пропагандой усиленно насаждается в качестве одного из высших достижений советской литературы роман Н. Островского "Как закалялась сталь", не имеющий никакой литературной ценности, но, может быть, сохраняющий некоторый интерес как памятник комсомольской идеологии 20-30-х гг. Школьников заставляют заучивать наизусть цитаты из этой книги: "Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы... чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества".[11]

"...записывайте рецепт "Ханаанского бальзама", — подхватывает знаменитую формулу Венечка Ерофеев. — Жизнь дается человеку один раз и прожить ее надо так, чтобы не ошибиться в рецептах". Далее следует состав коктейля из динатурата, пива и политуры. Вторая часть формулы использована несколько ниже. "Что самое прекрасное в мире? — вопрошает Венечка, и читатель уже знает ответ: борьба за освобождение человечества", но оказывается, что это не вся правда: "А еще прекраснее" коктейль "Сучий потрох", состоящий из пива, шампуня, дезинсекталя и пр., коктейль, который настаивают на "табаке сигарных сортов" и пьют "с появлением первой звезды большими глотками", коктейль, после которого "человек становится настолько одухо-

10. В. Ленин о литературе. Изд. "Художественная литература". М., 1971, стр. 236.

11. Н. Островский. Сочинения. Т. 1. Изд. "Молодая гвардия". М., 1953, стр. 198.

творенным, что можно подойти и целых полчаса с расстояния полутора метров плевать ему в харю, и он ничего тебе не скажет". Таким "одухотворением", т. е. полным распадом отдельной человеческой личности заканчивается обычно борьба за освобождение всего человечества.

С самых истоков эпоса мы отчетливо можем наблюдать в нем две основные формы, которые можно определить как эпос странствий и эпос войны. К первой относится "Одиссея", ко второй "Илиада". Хотя, конечно, обе формы могут смешиваться, но "Энеида" (первые шесть песен) принадлежит к эпосу странствий, а "Россиада" к военному, "Орлеанская девственница" Вольтера — эпос странствий, а "Елисей" В. Майкова — эпос войны.

Эпопея В. Ерофеева, несомненно, принадлежит к книгам странствий. Из непосредственно повлиявших на ее композицию произведений нужно назвать "Сентиментальное путешествие" Л. Стерна и "Путешествие из Петербурга в Москву" Радищева. Они, очевидно, оказали влияние на форму анализируемой книги: каждая глава — это название станции, через которую проезжает герой: Кале, Амьен — у Стерна, София, Новгород — у Радищева. У Ерофеева главы обозначены перегонами между станциями: Серп и молот — Карачарово, Чухлинка — Кусково. Как у Стерна, у Ерофеева фраза может обрываться в одной главе и продолжаться в начале следующей.

Для всех трех авторов важно не то, что происходит во вне, не рассказ о путешествии, а внутреннее состояние лирического героя, которое лишь маркируется названиями станций.

Однако есть важнейшее принципиальное различие между современным эпосом Ерофеева и предшествующей литературной традицией. Одиссей добирается до дома и попадает в объятия верной Пенелопы, Эней благополучно приплывает в Италию, Йорик Стерна и лирический герой Радищева приезжают соответственно в Париж (1-я часть) и в Москву. Все эти литературные персонажи реально перемещаются в пространстве из одной точки в другую в течение реального времени.

Не то герой Ерофеева. Путешествие из Москвы в Петушки есть символическое путешествие души от тьмы к свету, через которое хотел провести Чичикова Гоголь, которое совершил

Данте. "Он (Бог) благ, — восклицает Венечка, — он ведет меня от страданий — к свету. От Москвы — к Петушкам. Через муки на Курском вокзале, через очищение в Кучине, через грёзы в Купавне — к свету и Петушкам". Москва с ее Кремлем, которого никогда не видел Венечка — место, куда человек добровольно не должен идти, место мук, отчаяния и страдания, т. е. ад, место, где, как увидим, никогда не бывал Христос.

Москве противостоит прекрасная страна — Петушки. Там живет возлюбленная героя, похожая на библейскую Суламифь, лоно которой в розах и лилиях (Ср.: "Чрево твое ворох пшеницы, обставленный лилиями". — Песни Песней Соломона, гл. 7, ст. 3). Там до утра "между лилиями" "пасется" герой (Ср.: "Возлюбленная моя... пасет между лилиями". Там же, гл. 2, ст. 16). В Петушках "не умолкают птицы, ни днем, ни ночью, ...ни зимой, ни летом не отцветает жасмин. Первородный грех — может, он и был — там никого не тяготит. Там даже у тех, кто не просыхает по неделям, взгляд бездонен и ясен..."

Итак, это рай, где первородный грех либо не совершен еще, либо прошен и забыт, где даже запойные пьяницы ("не просыхают по неделям") сохраняют человеческий, т. е. Божественный облик, ибо человек есть подобие Божие.

Однако этот Эдем недостижим. Чем ближе подъезжает Венечка к Петушкам, тем призрачнее становится цель, к которой он стремится. Литературные реминисценции становятся менее травестированными, чаще появляется Христос, чаще возникают евангельские и ветхозаветные мотивы. В пьяной исповеди героя явственнее проступают трагические черты. Дьявол искушает Венечку: "...возьми и находу из электрички выпрыгни. Вдруг да и не розобьешься... (Ср.: Евангелие от Матфея, гл. 16, ст. 18-19; от Иоанна, гл. 20, ст. 21-23; Ф. Достоевский. "Братья Карамазовы". Легенда о Великом Инквизиторе). Появляется Сфинкс, "*некто* без ног, без хвоста и без головы". Он избивает героя, не пускает его в Петушки. Туда, хохочет Сфинкс, "вообще никто не попадет". Рай закрыт, заперт для людей, и "женщина вся в черном", сошедшая с картины Крамского "Неутешное горе", оплакивает героя. Мчатся полчища Эриний. "Нет ничего. Все выпито. И во всем мире никого-никого". Слышится "скрежет зубовный", хохочет Суламифь, в сознании умирающего героя воз-

никают апокалиптические слова: Мене, такел, фарес... ("...исчислил Бог царство твое и положил конец ему". Книга пророка Даниила, гл. 5, ст. 26). Наступает темная холодная ночь, в какую "и апостол предал Христа трижды".

Венечка вдруг очутился "на площади, устланной мокрой брусчаткой". Он в центре ада, у того самого Кремля, которого инстинктивно избегал, которого "ни разу не видел". Он едва "доплелся до кремлевской стены — и рухнул".

Какие-то исчадия ада с глазами "жижи карего цвета", которая "плещется и сверкает... в туалете Петушкинского вокзала" бьют его головой о кремлевскую стену.

Все вокруг темно и пустынно. Когда-то Тютчев писал о Русской земле:

> Удрученный ношей крестной,
> Всю тебя, земля родная,
> В рабском виде Царь Небесный
> Исходил, благославляя.

Однако есть на этой земле одна точка, место, которого избегает даже Спаситель, которого даже Он не может благословить (ибо Христос не может благословить Сатану и место его обитания) — это Кремль. Вдоль зубчатых стен его "стоят на постаментах бюсты разной сволочи", а за стенами расположились властители жизни, хозяева нынешней России. "Если Он, — думает Венечка, — никогда моей земли не покидал, если всю ее исходил босой и в рабском виде — Он обогнул это место и прошел стороной..."

Вырвавшись от преследователей, Венечка забегает в подъезд. И тут Господь его "оставил", как Христа в последний час его крестной муки. Бандиты с Красной площади догоняют его и, распяв на полу, как Христа, убивают, "вонзив шило в самое горло".

Итак, герой поэмы снова оказался в Москве и в подъезде, откуда он утром направил свои стопы в землю обетованную. Так в новом эпосе исчезло пространство: герой никуда не уезжал, ни до какого места не добрался. Здесь, в конце книги, действуют уже иные законы, законы новой литературы — Пруста, Джойса, Кафки.

Нет в этом новом эпосе и времени. Если подъезд, в котором

был распят Венечка, тот самый, в котором он проснулся утром, чтобы идти к Курскому вокзалу (а это, очевидно, так, иначе не нужно было героя загонять в подъезд, эффектнее было убить его у кремлевской стены), то он и не выходил никуда. Все, что произошло с ним — это мгновения перед смертью, кошмары меркнущего мозга, последние видения умирающего.

Смерть героя символизирует гибель всех духовных ценностей захлебнувшегося в пьянстве народа. Это воистину "трагические листы", как охарактеризовал свою книгу сам автор. Может быть, самые трагические во всей русской литературе последнего десятилетия.

Марк Альтшуллер

ВЕСНА

Как молоком облитые
Шумят сады вишневые...
Некрасов

В саду Мещанина весна бушевала:
Ей ветра любого наверное мало.
Колышится старая вишня-в-цвету.
Молочные хлопья ловлю налету.
Желти, канареечный куст у забора:
Из солнца и смеха рожденная флора.
Не знаю — чего я весенне хочу.
Ударили братья, звеня, по плечу.
Родился я сверстником Ана-креона
Из белого снега и красного звона.
Вкушай, молодая худая пчела —
Фиалку, которая втай расцвела.
Палимого воску, едомого мёду —
Пуды бы из бортя честному народу.
Вишневая буря утихла в саду.
Я с добрыми братьями в ногу иду.

Ю. Иваск, 1980

СЛЕДЫ

Какая простота в последней сложности!
Как разрешает всё прикосновенье
острейшего клинка к тому узлу
из трепетных надежд и безнадежности,
из целости и раздвоенья,
из частых смен земного тяготенья
к добру и злу!

Ведь только миг, единый миг бездонности,
и то, что было хрупко и громоздко,
светло, темно, легко и тяжело,
сравняется, в своей незавершенности,
с забытым, неоконченным наброском,
и скроется под маскою из воска
добро и зло...

Не проследить, где пересеклась линия,
не уловить, ни сердцем, ни глазами,
как Сила сил дух с телом разняла...
А жизнь идет! А мир не стал пустынею!
Растет трава... и реже вьется память
над кое-где заметными следами
добра и зла.

Мария Волкова

МОЛИТВА ЗА ПОЛЬШУ

Вопреки четырем разделам
и разгульным праздникам зла,
ты своим искромсанным телом
раздробленье пережила.

Пятикратно из-под обломков
воскресал несломленный дух,
чтоб лечить руками потомков
гнойники и раны разрух.

Пятый раз тебя не кромсали
по частям: твоя и моя,
а бездумно в расход списали,
откупились тобой друзья.

А теперь — на твои останки,
уцелевшие от войны,
пулеметы, пушки и танки
вероломно наведены.

Боже наш! Разразиться грому
не позволь! Своему рабу,
Иоанну-Павлу Второму
вверь несчастной земли судьбу!

Дай ей в дедовских жить пределах,
да и нас избавь от стыда,
чтоб царей — ни красных, ни белых —
ей не знать уже никогда!

Валерий Перелешин

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА

Ирина Одоевцева, по её признанию, с юности мечтала стать поэтом и только поэтом. Получила она известность рано в пореволюционном Петрограде как автор баллад и стихов, опубликованных в 1922 году в сборнике "Двор чудес".

На Западе, за период с 50-го года по 76-й были изданы шесть её сборников: "Контрапункт" (50 г.), "Стихи, написанные во время болезни" (51 г.), "Десять лет" (61 г.), "Одиночество" (65 г.), "Златая цепь" (75 г.) и "Портрет в рифмованной раме" (76 г.). Готовится к изданию седьмая книга стихов, в которую войдут стихи последних лет.Но ни сама Ирина Одоевцева, гордость студии Николая Гумилёва, ни её *мэтр* в 1919 году не подозревали, что *только* поэтом она не останется, а помимо стихов даст читателям ряд романов и повестей и воскресит в своих "воспоминаниях" славу и трагедию многих своих современников — поэтов и писателей "Серебряного века".

Уже её первый рассказ "Падучая звезда", опубликованный в Париже в 20-х годах, удостоился похвалы Бунина. А роман "Ангел смерти", вышедший в 27 году, был переведен на несколько иностранных языков. В 1931 году вышел следующий роман "Изольда", потом вышли — "Зеркало", "Оставь надежду навсегда" и в 67 году — воспоминания "На берегах Невы".

Хотя в этих воспоминаниях местоимение "я" не может не повторяться, о самом авторе мы можем почерпнуть лишь очень скупые сведения. В предисловии к книге мы читаем: "Я пишу не о себе и не для себя, а о тех, кого мне дано было узнать на берегах Невы..."

Когда-то Рахманинов на вопросы журналистов ответил: — "...Я ничего интересного о себе не могу рассказать. Всё в моей

музыке. Слушайте её, в ней вы найдёте меня". К Ирине Одоевцевой это тоже применимо. Мы видим её отражение на страницах её романов, в строках её стихов, слышим её голос в разговорах с современниками. Но всё это крупицы, разбросанные в книгах, из которых многие стали библиографической редкостью. Я попытаюсь хоть вкратце сказать об Одоевцевой как человеке.

Её детство в семье присяжного поверенного, очевидно, было безбедным. Она имела возможность изучить английский, французский и немецкий языки, познакомиться с произведениями иностранной литературы в оригинале. В 1918 году её родители ещё занимали большую квартиру в барском доме, где был и кабинет с камином (роскошь, доступная тогда немногим). И хотя топить его часто было нечем, и вся семья голодала, как и другие советские граждане, вид у неё, тогда юной девушки, всё ещё не выходившей из дому без шляпы и перчаток, а зимой одетой в котиковую шубку с горностаевым воротником, был вполне "буржуазный". Она много читала, писала книги, а свою трудовую книжку предъявила только, чтобы записаться на поэтическое отделение института "Живое Слово". Рыжеватая блондинка с серо-зелеными глазами и хрупкой фигурой, она была весьма привлекательна. Гумилёв называл её "умилительно-тонкой": "Ветер подует, сломает и унесёт. Взмахнёте бантом — только вас и видели".

В 22-м году она вышла замуж за поэта Георгия Иванова и с ним выехала в Берлин, а позже во Францию. Её отец эмигрировал раньше в Ригу, где у него был большой дом. Это впоследствии помогло Ирине Одоевцевой купить дом в Биаррице. Но он был разбит бомбой в 1944 году.

В 1958 году Одоевцева овдовела. Жила потом в Ганьи под Парижем. После выхода книги "На берегах Невы" дважды была приглашена в Америку и выступала здесь на русских литературных вечерах, в американских университетах и по радио в США и в Канаде.

Несколько лет тому назад Ирина Одоевцева вышла замуж за писателя Я. Н. Горбова, бывшего редактора парижского журнала "Возрождение", и жила в Париже. Вот краткие вехи жизни И. Одоевцевой в России и за границей.

Но вернёмся к 18-му году в Петроград, где прошла её молодость. Этим годом датированы её шутливые стихи: — "Нет, я не буду знаменита, / Меня не увенчает слава, / Я — как на сан архимандрита, / На это не имею права. / Ни Гумилёв, ни злая пресса / Не назовут меня талантом. / Я маленькая поэтесса / С огромным бантом".

Сорок лет спустя она вспоминает этот год в других стихах:

Да, бесспорно жизни начало
Много счастья мне обещало
В Петербурге над синей Невой.
Всё, о чём я с детства мечтала,
Подарила судьба мне сполна,
Не скупясь, не торгуясь, — на!..
Всё мне было веселье, забава
И звездой путеводной судьба.
Мимолётно коснулась слава
Моего полудетского лба.

Несмотря на голод, холод и террор тех лет, для молодой девушки, которая "ничем, кроме поэзии не интересовалась", жизнь началась как некое приключение. И. Одоевцева училась у Гумилёва. Учиться у Гумилёва было трудно. Он к своим ученикам был неумолим. По его теории, нельзя писать стихи, не изучая поэзии. Он говорил: "Когда вы усвоите все правила, вы сможете, как говорил Кальдерон, запереть их в ящик и ключ бросить в море... Я не могу вдохнуть в вас талант, но то, что вы теперь принимаете за вдохновение, просто невежество и безграмотность". Когда в 19-м году открыли Литературную студию, И. Одоевцева была единственной, перешедшей туда из "Живого Слова" по решению самого Гумилёва, который уже убедился, что она настоящий талант. Он принял в ней большое участие, снабжал книгами, пополняя пробелы в её знании литературы, истории, философии, заставлял её читать Ницше и Шопенгауэра, а также иностранных поэтов.

Войдя вскоре в круг известных поэтов и писателей, Ирина Одоевцева жадно впитывала каждое их слово. Известность свою как поэта И. Одоевцева получила своей первой балладой "О толченом стекле", создав этим новый жанр современ-

ной баллады, хотя в советских учебниках это несправедливо приписывается Николаю Тихонову. В этой балладе ей с большой силой и оригинальностью удалось описать преступление солдата, спекулянта дефицитной в те дни солью.

Интересно, что открыл значение этой баллады Георгий Иванов, а не Гумилёв, на полгода положивший её в папку забракованных стихотворений "братскую могилу талантливых неудачников", как он говорил.

Читая отрывок из воспоминаний И. Одоевцевой с описанием этого знаменательного для неё вечера на приёме у Гумилёва, вы без труда заметите характерные особенности её поэтической прозы. В ней есть едва уловимый, но явственный ритм, сжатость, чёткость и умение пользоваться точной деталью.

Дальше литературная биография Одоевцевой развернулась с быстротой. Чуковский пришёл от баллады в такой восторг, что попросил И. Одоевцеву записать её в "Чукоккалу" — тетрадь, в которой только знаменитости удостаивались чести писать. А автор фельетона в "Красной газете", хотя и обвинил "изящнейшую поэтессу" в клевете на красноармейца, назвал балладу талантливой и принёс Ирине Одоевцевой ещё большую известность. О балладе хвалебно отозвались Троцкий и Горький.

Чтобы потом не возвращаться к этому жанру, вкратце скажу и о других балладах И. Одоевцевой. В те же годы в Петербурге она написала "Балладу об извозчике", "О Роберте Пентегью", шутливо названную кем-то "Балладой о котах", и "Балладу о водопроводе". Во всех них реальность причудливо переплетается с фантастикой, но по форме они разные. В них уже намечается раскованность, свобода от канонов, характерные для стихов Одоевцевой зрелого возраста. В "Балладе о толченом стекле": "А в полночь сделалось темно / Солдатское жильё. / Стучало крыльями в окно, / Слеталось вороньё..." А вот заключительные строки "Баллады об извозчике": — "Небесной дорогой голубой / Идёт извозчик и лошадь ведёт с собой. / Подходят они к райским вратам. / "Апостол Пётр, отворите нам!" / Раздался голос святого Петра: / "А много вы сделали в жизни добра?" / "Мы возили комиссара в комиссариат / Каждый день туда и назад. / Голодали мы тысячу триста семь дней / Сжальтесь над лошадью бедной моей! / Тепло и сытно у вас в раю /

Впустите меня и лошадь мою!" / Апостол Пётр отпер дверь / На лошадь взглянул: "Ишь, тощий зверь! / Ну, так и быть, полезай!" / И вошли они в Божий рай".

В балладе о Роберте Пентегью, по теме столь непохожей на рассказ об извозчике, мы находим такой же повествовательный тон, такое же широкое дыхание и переплетение контрастов. "В сумерках зимних мелькнули огни, / Словно сверканье церковных свечей. / Том прошептал: "Господи, сохрани" / И меж могил зашагал скорей. / Кто-то зовёт его: "Том! Эй, Том!" / В страхе он огляделся кругом / На свежей могиле уселись в ряд / Девять котов, и глаза горят. / Том закричал: "Кто меня зовёт?" / "Я" — отвечает тигровый кот. / "

В 1923 году, уже за границей, И. Одоевцева написала ещё две баллады: "Балладу о Гумилёве" и "О площади Виллет". Последняя самая короткая, всего 24 строки, но исключительно интересная неким срошением "добра и зла". В ней добрый видит злые сны про гильотину и тюрьму, а злой засыпает лёгким сном и... "Во сне ему двенадцать лет, / Он в школу весело бежит / И там на площади Виллет / Никто убитый не лежит".

Последняя баллада о Гумилёве непохожа на другие. Это грустный, правдивый рассказ о том, как на Рождество 20-го года, последнее его Рождество, он вдруг предложил ей написать балладу о нём и его жизни. Тогда она, смеясь, отказалась: — "...памятники ставят и баллады пишут не при жизни, а после смерти. Вот когда вы через шестьдесят лет умрёте, ...но к тому времени я буду такая ветхая старушка, что вряд ли смогу написать о вас..."

Оба они не подозревали, как скоро она сможет исполнить его просьбу, написав балладу о нём — поэте, воине, герое. Вот заключение баллады: "... И был он очень несчастен, / Как несчастен каждый поэт. / Потом поставили к стенке / И расстреляли его. / И нет на его могиле / Ни креста, ни холма — ничего. / Но любимые им Серафимы / За его прилетели душой / И звёзды в небе пели: Слава тебе, герой!"

В стихах Ирины Одоевцевой любовь к жизни как таковой — важная тема не только в её молодости ("Мне с жизнью весело дружить, / Союз наш неразрывно прочен"), а и в стихах поздних лет: "Я во сне и наяву / С наслаждением живу." Не цепля-

ясь в страхе перед смертью за жизнь, как многие другие, а "с чувством радостной беспечности" она просит у золотой рыбки: "Дай дожить мне до ста лет / И прибавь ещё кусочек вечности". И хотя Одоевцева в одном стихотворении цитирует ремизовское "Человек человеку бревно", для её поэзии более характерно всепрощающее со-страдание с ближним и связь с ним:

"С каждым зверем, с каждым предметом
Наяву и во сне
Ощущаю я братство-сестричество
Неразрывное с миром родство".

Тема "счастливей, чем сейчас, я не была" повторяется в её лирике во всех тональностях, вопреки всем испытаниям судьбы, наперекор горечи потерь и несмотря на долгие годы одиночества после смерти мужа. Тогда даже один из разделов сборника стихов получил название "Одиночество".

"Я в комнате своей у лунного окна.
Дверь заперта на ключ. Одна. Совсем одна
С тех пор, как умер ты, — одна на целом свете".

Но вот уже она включает и других в своё горе: —"От одиночества и от усталости / Прилив горячей нежной жалости / К себе и прочим тварям на земле, / Как уголёк, краснеющий в золе." Так, постепенно тема личного одиночества приобретает общечеловеческий смысл — "У зеркального пруда / Белая томится лилия. / Кто занёс её сюда / В мировое одиночество?" И дальше там же:

Кто услышит, кто опишет
Одиночество звезды?
Летний ветер жарко дышит
И доносит голоса
Космонавтов..."

Мы не знаем, как сложилась бы судьба Одоевцевой в советской России. Но трагедия многих поэтов и писателей, оставшихся там, позволяет предположить, что "дома" жизнь была бы к ней менее милостива, чем в эмиграции. Она, бесспорно, знает это и благодарна за всё то, что ей было дано судьбой:

безбедное детство, ранняя слава, радость дружбы с душевно-близкими ей людьми в юности, счастливый брак, жизнь за границей вдали от произвола диктатуры, материальное благополучие в эмиграции до войны, благодаря помощи отца, жившего в Риге, и, наконец, возможность свободно творить. "Я счастлива, счастлива, счастлива", повторяет в одном стихотворении Одоевцева. И когда приходят неизбежные мысли о том, что "... уже отсчитаны они / На счётах звонких и магических / Мои пустынные, торжественные дни...", она заканчивает словами: "Нет, старость мудрая, прости, / С тобою мне не по пути / Ни в жизни, ни в стихах / До самой смерти!"

Сколько бы ни было в поэзии Ирины Одоевцевой наравне с жизнерадостностью грусти, печали, стихи её никогда не звучат трагически. От этого её спасает и чувство юмора. Им она щедро пересыпает свою поэзию, прозу и воспоминания. Замечать смешное и описать его добродушно умеют далеко не все. Вот, например, она описывает, как Г. Иванов, чтобы напоить чревоугодника Мандельштама чаем, спалил, за неимением дров, два тома какого-то классика. А вот, Гумилёв на её вопрос, зачем он пересыпает нафталином даже портфель, ведь моль кожу не ест, — ответил: "А кто её знает. Дореволюционная не ела. А теперь при новом режиме, изголодавшись, напостившись, могла изменить вкусы". Запомнила она и вопрос соседки, беременной жены рабочего: "А правда, скажите, что Ленин издал декрет, что нам пролетаркам носить шесть месяцев, а буржуйкам двенадцать?"

Хочется привести её собственное шутливое стихотворение, посвящённое мужу: "Любовь. Как изучить её законы? / О, чудо из чудес счастливый брак! Бывают изумительные жёны, / Бывают и бывали — это так. / Да, это непреложный факт. / Вот Пенелопа. Или Андромаха. / Покорные и мужу и судьбе, / Но я скажу без гордости и страха, / Без преувеличенья о себе. / Я строю замки на песке сыпучем / Слова любви пишу я на воде, / Но если даже улетишь ты к тучам / И там — ни на луне, ни на звезде, / Ни в мире том, что называют лучшим, / Такой жены ты не найдешь нигде."

Доброжелательность к жизни, к людям одно из главных душевных качеств Одоевцевой. Она без зависти умеет восхищаться талантом другого и радоваться его успехам. С благодар-

ностью она вспоминает, как Гумилёв и Г. Иванов на её бесчисленные вопросы о поэтах "с увлечением рассказывали о тех баснословных бродяче-собачьих годах". "Они вводили меня в тот зачарованный надзвёздно-подводный мир поэзии и поэтов, о котором я мечтала с самого детства".

Если Ирина Одоевцева в своих воспоминаниях увлекает нас живостью диалогов и описаний, знакомя с её современниками, в романах она часто приковывает внимание читателя драматичностью фабулы и глубиной психологического анализа. Бунин как-то сказал, что она умеет "схватить читателя за шиворот и не отпускать его, словно в лифте, то поднимая, то опуская, пока он не дочитает книгу..." К сожалению, её романов давно нет в продаже, да и в библиотеках их не всегда можно достать. Хочется верить, что они будут переизданы и войдут в полное собрание сочинений И. Одоевцевой.

Её первый роман "Ангел смерти", появившийся в 27-м г. в газете "Дни", выдержал два русских издания и был переведён на семь иностранных языков. Английский перевод Доньи Нэнче под названием "Out of childhood" выдержал четыре издания (Изд. "Констебл"). В Америке он был объявлен лучшим переводным романом (к сожалению, авторство было ошибочно приписано переводчице Донье Нэнче, но Ирина Одоевцева оставила это без последствий). Судьбу его героини Люки, рано созревшей для любви 15-летней девочки, Ирина Одоевцева через десять лет описала в романе "Зеркало". Здесь читатель узнает о взлёте к славе и гибели героини. Этот роман вышел накануне войны, разошёлся, но вторично не издавался. В те годы ещё не принято было останавливаться столь подробно на психологии полудетей и на болезнях роста подростков. А детская преступность получила ужасающее распространение только в наше время. Проза Ирины Одоевцевой на эти темы наряду с похвалой одних вызвала и отрицательную реакцию других. Например, редактор "Последних Новостей" Милюков в осуждающей "Изольду" статье написал: "Пора сказать талантливой молодой писательнице, что дальше — тупик..."

Роман "Изольда" о детях-убийцах сравнивают с произведениями Конан Дойля. Но это далеко не обыкновенный детективный роман. Автор помимо умелого развития сюжета даёт

убедительную характеристику персонажей и мотивов их поступков. О самом преступлении детей читатель только догадывается по мелким деталям. Например, по шуму в ванной он узнаёт, что щёткой отмывается кровь... Потом дети выходят с двумя тяжёлыми чемоданами... Ирина Одоевцева и в других романах избегает натуралистического описания ужасов, как бы следуя правилу, что искусство кончается там, где теряется чувство меры.

Последний роман Одоевцевой с дантовским названием — "Оставь надежду навсегда". Он вышел в 48-49 годах на французском и английском языках, по-русски был издан в 54 году в Нью-Йорке. По словам И. Одоевцевой, это её главная книга, и для русских читателей она стоит на особом месте. Это роман из советской жизни. В нём описаны три судьбы: писателя Андрея Луганова, его жены балерины Веры Назимовой и Волкова, друга детства и названного брата Андрея — идеалиста-революционера, впоследствии маршала Советского Союза. Каждый из них сумел достичь вершин успеха, чтобы потом лишиться всего и познать: тюрьму, унижение нищеты и страх бессилия перед произволом. Этого горя все герои книги хлебнули с избытком: писатель Луганов за эпиграмму на вождя по доносу друзей получил тюрьму, ссылку, потом пулю в затылок. Его жену шантажом и угрозами довели до отчаяния и "завербовали" шпионить за иностранцами. Волков оказался в тисках страха, возвращаясь по "вызову" из Берлина в Москву, уже обреченный, догадываясь о значении этого вызова. Он, которому никогда не удавалось бояться, теперь спрашивает себя: "...Чего боюсь? Всего боюсь. Боюсь того, что сделал, боюсь того, что сделают со мной, боюсь прошлого, боюсь будущего... Боюсь нелепости, которой отдал жизнь и которая скоро покончит с тем, что осталось от моей жизни..."

Из писем Одоевцевой ко мне я знаю, что она считает окончание и издание своих воспоминаний "На берегах Сены" теперь своим главным делом, а последние её стихи говорят о прежней любви к жизни. "... Чувствую себя счастливой, / Как Алёнушка под ивой. / И во сне, и наяву / С тем же наслаждением живу".

Элла Боброва

*

Когда бы праотец Адам
На дереве добра и зла
— Познания, черт подери! —
Повесился (и свет зари
Скользил по листьям и цветам
И даль была светла, светла...) —
То не возник бы род людской
С его борьбой, с его тоской...

А впрочем, мало дела мне
До человечества. Во сне
Я видел, что с тобой вдвоем
Нездешним садом мы идем,
Что я Адам, что я в раю
Стихи на иврите пою
И ты, не зла и не добра,
Жена из моего ребра.

Не зная о добре и зле,
Мы в райском нежились тепле
И кольчатого князя тьмы
Ко всем чертям послали мы!

Игорь Чиннов

*

Не феями и не каменами,
Не ходом звезд или луны,
А хромосомами и генами
Нам роли определены.

Долой, наследственная химия,
Моя врожденная беда!
Переменю тебя, как имя, я
И улетучусь в никуда!

Неясно, говоря по сути, нам,
Где — в царстве света или тьмы
Чьим — добрым или злым компьютером
Запрограммированы мы...

Хай, Мики Маус! Лапку Микину
Жмет вольнодумная душа:
Сейчас я на прощанье выкину
Невиданное антраша!

Из картотеки смотрит рожица,
Пищит: не разводи бобы.
Ведь точно жизнь твоя уложится
На карточке твоей судьбы.

Игорь Чиннов

МАСТЕР

ОПЫТ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Красота романа "Мастер и Маргарита" удивительна. Его архитектура и стройна и причудлива. Есть в нем что-то небывалое, как Ершалаимский храм, который никто из нас не видел, но который порождает в нас смутные, как мечты, и пронзительные, как пережитое, ощущения. В суровой и неприветной чащобе Жизни — мерцание Божества, которым проникнута наша культура. Это и есть роман о нашей культуре, хранящей прошлое, лучащей бессмертие, ибо она — Дух...

Дух не знает границ пространства и времени. Поэтому в московской квартире на Садовой 302-бис могли воздвигнуться роскошные чертоги. И нет здесь выдуманности, умышленности: это огромный и причудливый мир интеллигента, в котором может сочетаться несочетаемое.

Квартира № 50 — центр булгаковской вселенной — заставляет пережить щемящее чувство узнавания и сопереживания, чувство воскрешения заснувшей было памяти, пробуждения тоски по вечности, как это случилось с далеким от мечтательности и мистического томления Понтием Пилатом.

Здесь, в этой наиреальнейшей московской квартире, происходят события сверхъестественные, невероятные и все же поражающие своей достоверностью, эффектом присутствия. Ощущение ирреальности возникает от столкновения с обыденностью чего-то большего, чем она, кажется, способна вместить; эффект присутствия — от того, что это большее облекается в

знакомые и привычные формы, охватываемые глазом, слухом...

Мерцание реального и ирреального уже в словосочетании "Мастер и Маргарита": духовно-возвышенное, отрешенное от мирского, и душевное, человечное, земное. Здесь — и одухотворение человека и очеловечение духа. В сплаве мастерства и тепла, духа и душевности — глубокое очарование романа.

Прием романа в романе стар, но Булгаков освежает и одухотворяет старую форму. Выписанность Москвы советской и Ершалаима на грани Ветхого и Нового Завета. Их сближает эта выписанность. Их сближает и то, что в такой привычной для нас Москве происходит невероятное: является Сатана со свитой, переворачивая все вверх дном; в Ершалаиме же, представленном одним лишь могучим прозрением, событие, являющее мощь Самого Бога, описано так просто и обыденно.

Сатана дает смотр Москве — столице нового государства. Кое-что его сперва удивляет, огорошивает. Атеизм, например. Настолько, что он затевает спор с атеистом-эрудитом Берлиозом. Сам спор весьма знаменателен. Спервоначалу Воланд как будто рад, что его окружают атеисты. Что ни говори, а Сатане приятно, что кто-то (хороши кто-то — целое государство!) отрицает Бога, Иисуса Христа. Это тешит душу дьявола.

" — Вы атеисты?!

— Да, мы — атеисты, — улыбаясь, ответил Берлиоз...

— Ох, какая прелесть...

— В нашей стране атеизм никого не удивляет, — дипломатически вежливо сказал Берлиоз. — Большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить сказкам о Боге.

Тут иностранец отколол такую штуку: встал и пожал изумленному редактору руку, произнеся при этом такие слова:

— Позвольте вас поблагодарить от всей души!"

Но вот начинаются неприятности.

" — Но позвольте вас спросить, — после тревожного раздумья заговорил заграничный гость, — как же быть с доказательствами бытия Божия, коих, как известно, существует ровно пять?

— Увы! — с сожалением ответил Берлиоз. — Ни одно из этих доказательств ничего не стоит, и человечество давно сдало их в архив. Ведь согласитесь, что в области разума никакого до-

казательства существования Бога быть не может.

— Браво! — вскричал иностранец. — Браво! Вы полностью повторили мысль беспокойного старика Иммануила по этому поводу. Но вот курьез: он начисто разрушил все пять доказательств, а затем, как бы в насмешку над самим собой, соорудил собственное шестое доказательство.

— Доказательство Канта, — тонко улыбнувшись, возразил образованный редактор, — также неубедительно. И недаром Шиллер говорил, что кантовские рассуждения по этому вопросу могут удовлетворить только рабов, а Штраус просто смеялся над этим доказательством".

Как видим, Берлиоз, хотя и блестает эрудицией, но у него все выливается в чистейшую демагогию.

Дальше — хуже:

" — А дьявола тоже нет? — вдруг весело осведомился (иностранец) у Ивана Николаевича.

— И дьявола...

— Ну уж это положительно интересно, — трясясь от смеха, проговорил профессор, — что же это у вас, чего не хватишься, ничего нет!..."

Непривыкшему к необыкновенным явлениям Берлиозу было предъявлено "седьмое доказательство, и уж самое надежное!" Более того, беседа с его бедной головой была продолжена:

"— Все сбылось, не правда ли? — продолжал Воланд, глядя в глаза головы. — Голову отрезала женщина, заседание не состоялось и живу я в вашей квартире. Это — факт. А факт — самая упрямая в мире вещь. Но теперь нас интересует дальнейшее, а не этот уже совершившийся факт. Вы всегда были проповедником той теории, что по отрезании головы, жизнь в человеке прекращается, он превращается в золу и уходит в небытие. Мне приятно сообщить вам, в присутствии моих гостей, хотя они и служат доказательством совсем иной теории, о том, что ваша теория и солидна и остроумна. Впрочем все теории стоят одна другой. Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по его вере! Вы уходите в небытие, а мне радостно будет из чаши, в которую вы превращаетесь, выпить за бытие!"

Да воздастся каждому по вере его! Аминь!

Воланд встречается с москвичами, и чтобы собрать их в

одном месте, он дает им представление. — "Мне хотелось повидать москвичей в массе, а удобнее всего это было сделать в театре", — говорит он. Толпа всегда жаждет зрелищ. Самый подходящий момент выяснить, "изменились ли эти граждане внутренно?" После серии экспериментов Воланд задумчиво резюмирует:

"— Ну что же... они — люди как люди... Любят деньги, но ведь это всегда было... Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны: из кожи ли, из бронзы или золота. Ну легкомысленны... ну что же... и милосердие иногда стучится в их сердца... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних, квартирный вопрос только испортил их..."

Присмотримся к фигуре Сатаны-Воланда. Хотя приметы его трудно описать с пользой для следственных органов — "ни одна из... сводок никуда не годилась" — тем не менее портрет оказывается знакомым: — "... под мышкой он нес трость с черным набалдашником в виде головы пуделя. По виду — лет сорока с лишним. Выбрит гладко. Брюнет. Правый глаз черный, левый почему-то зеленый. Брови черные, но одна выше другой. Словом — иностранец". По этим приметам, хотя только со слов Ивана Бездомного, его безошибочно узнает Мастер. Да, Воланд оказывается знакомым многим. Не без иронии апеллирует Мастер к опере "Фауст", когда объясняет бедному полуграмотному Иванушке с кем тот имел честь встретиться.

Воланд-Мефистофель подвижен, легко вступает в контакт. Он страстно любопытен. Он любит беседовать с представителями самых различных слоев общества от философов до буфетчиков, от интеллектуалов до жуликов и мещан. Его разностороннюю натуру Булгаков воссоздает как бы аккордом или спектром — через свиту: тут и головорез Азазелло, и гаер Коровьев-Фагот, обаятельнейший шут — котище Бегемот и порочная, расторопная Гела, наконец, роковой Абадонна со взглядом-смертью. Сам Воланд — царственно великолепен, изыскан и неуловим. Взять хотя бы глаза его: один живой, полный любопытства и внимания к окружающему, другой — черный, пустой, глядящий в вечность и сущность...

Покончив с эрудированными атеистами и неэрудированной массой, Воланд обращает взор свой на излюбленное им — под

стать ему — сословие: на интеллигенцию. Ах, как мало её осталось! Ах, как одиноки и разъединены они! Интеллигенты и всегда-то не отличались общительностью, но это уж чересчур! В глубочайшем социальном вакууме творит скромный музейный работник немыслимый роман о Понтии Пилате. С ума он сошел, что-ли?! Не понимает, что это анахронизм, абсурд какой-то! На что рассчитывает, о чем мечтает этот чудак? Сам Воланд поражен: — Не могли вы найти другой темы?

Мастер — интеллигент на стыке двух миров, культуры европейской и сломанной русской. Стремительно кристаллизуясь, новая идеология рвет со старым. Новизне, как и молодости, свойственно нетерпение и нетерпимость, от которой к обскурантизму — шаг. И шаг этот совершается тем легче и безответственней, чем глубже повреждены корни. Допуская известную степень идеализации, новизна на почве европейской не несла в себе смертоносного заряда обскурантизма, но была прорывом в мир иных качеств, несоизмеримый с миром прежним. Таковы математика, физика, философия и искусство на стыке двух веков, Девятнадцатого и Двадцатого. И в этом мятеже новой мысли и нового чувства не было презрения к прошлому: экзистенциализм помнил Реформацию, логика — схоластику, наука и искусство — Ренессанс... Новизна же на русской почве обернулась шельмованием, куражом и самым черным обскурантизмом. Всякое дело стало делом идеологическим, подвластным контролю и окрику любого партийного чиновника. А так как "новая" идеология вся была ощерена на "старое" — на религию, корни, самые первоосновы жизни, то самый тяжкий удар пришелся по тем, кто их взращивал, в особенности же по сложившейся к моменту революции блистательной школе русской мысли, науки, искусства, религиозной философии...

Вот в этом-то дьявольском котле революционного обскурантизма, в это зыбкое время скоропалительных переоценок "старого" и суетливых провозглашений "нового" живут — вернее выживают — герои, предшествовавшие Мастеру. Турбин и Голубков ("Белая гвардия", "Бег") оглушены происходящим, теряют ориентацию в хаосе событий, взглядов, политических и идеологических платформ. И инстинктом интеллигента они стремятся выжить духовно, не опуститься и во что бы то ни

стало держаться за родину — растерзанную, обессмыслившуюся от страданий, но родину корневище их личности, миросозерцания, культуры.

Профессор Преображенский ("Собачье сердце") блестящий хирург, крупный характер, любящий сочную бытийственность, захватывающую работу, гурман и меломан. Он мог бы уехать за границу, где его знали, где он мог бы найти применение своим дарованиям, тем более, что здесь все претит его привычкам, взглядам, здравому смыслу и... не уезжает. Лечит москвичей, воспитывает врача-интеллигента Борменталя (не только профессионально, но и духовно, излагая ему свою ясную точку зрения на все происходящее), ездит по вечерам в Большой театр и жить не может без Москвы, без русского языка, которым сочно владеет.

Максудов ("Театральный роман") — холодно и неприютно живущий в той же Москве. Остро переживает материальную и духовную неустроенность и долговременную безвестность. В длинные одинокие вечера спасается он в реальности открытого им театра на столе, в котором разыгрываются сцены из его киевской жизни, сцены из "Дней Турбиных". Этот театр напоен очарованием семейного уюта, щемящей грусти и тепла заблудившихся, но искренних, полных достоинства людей. В то время как в реально существующем театре аристархов платоновичей и иванов васильевичей — атмосфера неискренности и двоемыслия. Каким шатким и призрачным видением оборачивается этот театр...

Но если почти все они предстают в неверном освещении пожарищ, мятущихся теней, в бесновании революционных оргий; если лица их то бросаются в глаза крупным планом, лишенные подчас всякого выражения, то проваливаются во тьму и ужас вселенской грозы; если их движения, мысли, поступки судорожны, а их тихие голоса кажутся бормотанием умалишенных в грохоте катаклизмов; если они предстают выброшенными из контекста жизни, а потому жалкими, никому не нужными, мыкающимися в поисках хлеба и смысла, то Мастер на их фоне кажется устоявшимся. Устойчивость эта — иной природы, нежели устойчивость профессора Преображенского, полного жизнелюбия и радости бытия. Устойчивость Мастера куплена

ценой отрешенности, выключения из контекста жизни. Его соприкосновение с окружающим сведено к минимуму. Его прошлое отброшено как скорлупа и мы ничего о нем не знаем, потому что для него самого оно к моменту встречи с Маргаритой несущественно, отошло в другое измерение, ничего общего не имеет с настоящим. А настоящее для него — роман о Понтии Пилате.

Трезвый, жесткий, во всеоружии римского рационализма, ум Понтия Пилата. Ясно понимает он свои задачи прокуратора. Это человек государственного ума, прекрасно ориентирующийся в самой сложной политической ситуации. Прочно, "обеими ногами", стоит на земле и ненавидит все, отдающее "идеализмом и мистикой". И если к этому добавить властный и мощный характер, врожденный дар повелевать, то перед нами предстанет отменный государственный деятель, опора сюзерена. Да он и сам при удачном стечении обстоятельств может стать императором, что не раз случалось с полководцами и прокураторами.

Но вот он оказывается в городе, который всем своим обликом и архитектурой, всем укладом жизни глубоко противен его рационалистической натуре. Ершалаим — центр библейского царства, оплот Иеговы — наяву живет в реальности фантастической. Самый дух этого беспокойного, странного народа отливается в невиданные доселе массивы причудливых храмов и дворцов, умопомрачительные композиции террас и садов. Взять хотя бы окаянный дворец Ирода, в котором расположился прокуратор Иудеи Понтий Пилат — мало того — дух этот на глазах воплощается в Библию, Священное Писание. Эта страна полна пророков, разговаривающих с Богом, не имеющим образа. Уже от одного этого можно сойти с ума: как, в самом деле, можно иметь общение с Тем, Кто не является ничем. И было бы это лишь внутренним делом управляемого им народа, но такое, казалось бы, сугубо "внутреннее дело" грозит внести сумятицу и осложненность в политику Рима... Недаром "прокуратор... сидел как каменный, и только губы его шевелились чуть-чуть при произнесении слов, потому что боялся качнуть пылающей адской болью головой". А тут еще это странное дело с бродячим философом-врачом. На первый взгляд — по

докладу — все просто и ясно: пред судом мятежник, подстрекающий народ к разрушению храма. Нарушение общественного порядка налицо, да и в свидетелях нет недостатка. Но вглядишься — так ничего не понятно. О каком-таком храме идет речь, какая-такая программа у этого бродяги. И, наконец, что за дьявольской силой обладает этот оборвыш со связанными руками мгновенно проникать в отдаленнейшие уголки души и без лекарств и какого бы то ни было физического воздействия излечивать страшнейшую из головных болей — гемикранию! Как это все понять? А ведь надо принять быстрое и верное решение, от которого во многом зависит политика и авторитет Рима — ведь в дело впутаны синедрион и сам первосвященник Каифа, умный и хитрый враг. Сперва мысль: выбросить из головы всё не относящееся к делу и судить, как судил всегда, ведь римские законы так всеобъемлющи и ясны. Но вместо этого вдруг — "Развяжите ему руки"! И это после слов арестованного: "Ты слишком замкнут и окончательно потерял веру в людей. Ведь нельзя же, согласись, поместить всю свою привязанность в собаку. Твоя жизнь скудна, игемон!"

Поговорили между собой римский прокуратор и Иешуа Га-Ноцри. И хотя странная это была беседа — не доказали они друг другу почти ничего — изменился Понтий Пилат внутренне до чрезвычайности: начинает ему с этого дня сниться, что до сего дня не снилось и присниться не могло: "он... тронулся по светящейся дороге и пошел по ней вверх, прямо к луне... Он шел в сопровождении Банги, а рядом шел бродячий философ. Они спорили о чем-то сложном и важном". И хотя их мнения ни в чем не сходились, с сего дня все действия Понтия Пилата оказываются под контролем ночного собеседника. Иешуа оборачивается совестью, совесть — Иешуа.

И еще одна судьба, перекрестившаяся с судьбой Иешуа Га-Ноцри — Левий Матвей. Судьба его была решена мгновенно: — "Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за Мной. И он встав последовал за Ним". (От Марка 2,14). "Иисус вышел, и увидел мытаря, именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за Мной. И он, оставив все, встал и последовал за ним". (От Луки 5,27-28.).

Событие в высшей степени странное: мытарь — сборщик

налогов! — бросает деньги на дорогу и идет за каким-то бродягою, разом забыв прошлую жизнь. Недаром, начав разбирать это невесть откуда свалившееся дело о мятежнике, подстрекающем народ к разрушению храма, Понтий Пилат не верит ни единому слову из этой истории с Левием. Но "факт — самая упрямая в мире вещь"! Даже если за этим фактом стоит ломка всех ценностей и жизненных навыков, даже если он противоречит всякому опыту и здравому смыслу, даже если он идет поперек твоей природы. И вот эти два неглупых, несентиментальных и поживших человека пред лицом Иисуса идут поперек своей природы, опыта и здравого смысла, становясь даже ревнивыми соперниками за право убить предателя Иуду.

Тонко разворачивает М. Булгаков тему одухотворения своих героев. Его интересуют самые "трудные случаи", самые твердые и устоявшиеся характеры, нечувствительные к прихотливым колебаниям настроений и взглядов. Левий так и сохраняет свой жестоковыйный, неповоротливый характер. Это человек действия, непривычный к размышлениям, тем более метафизическим. Вулканические процессы в его жизни оставили следы скорее на уровне ценностном. Сама же природа, склад характера, суровый и жесткий, остаются практически незатронутыми. Это натура фанатическая, всегда есть опасность, что в его руках Слово Божие может обернуться во зло, ибо Оно окрашивается черным цветом нетерпимости. Даже Понтий Пилат указывает ему на это, когда упрашивает своего пленника принять что-нибудь от него. Натолкнувшись на высокомерие и презрение Левия, Пилат напоминает ему: "Ты, я знаю, считаешь себя учеником Иешуа, но я тебе скажу, что ты не усвоил ничего из того, чему он тебя учил. Ибо, если бы было так, ты обязательно взял бы у меня что-нибудь". И через почти две тысячи лет, беседуя с Воландом "на каменной террасе одного из самых красивых зданий в Москве", Левий Матвей остается все таким же жестким и нетерпимым...

Понтий Пилат, Левий Матвей — случаи "трудные", но это все-таки люди. Не так уж трудно найти в человеке человека. Но продолжая спуск и доходя до глубокого глубока — до Сатаны, Булгаков обнаруживает свет там, где его нет и не может быть, казалось бы, по определению. Здесь и раскрывается в полной ме-

ре сокровенный смысл романа — "...Так кто ж ты наконец? — Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо".

Свет обнаруживается в самом интеллекте Воланда, в живой интонации человеческой речи, в подвижности и изменчивости его характера, в страстном любопытстве и жажде смены впечатлений. В людской гуще — источнике всяческого разнообразия — проложены его тропы. В человеке и только в человеке сеет он соблазн. Дьявол и есть олицетворение соблазна. Но соблазн не действовал бы на душу, не будь он сам духовен, одной плоти с душой. Ведь всё может стать орудием соблазна: от грубых радостей плоти и власти до тончайших духовных радостей. Соблазнить может искусство, даже философия, даже... религия.

Тема дьяволиады звучала у Булгакова давно. Вся жизнь кругом казалась ему торжеством темных сил. Ад внешний сливается с адом душевным. Распадаются ценности, распадается жизнь, распадается личность. Все силы "Дьяволиады" ополчаются на человека, отравляя его страхом. Мечется в смертельном ужасе, в кафкавском кошмаре Коротков. Атом, до которого съежился его микрокосм, раскалывается безумием.

Лютой фантасмагорией оборачивается изобретение "красного луча" в "Роковых яйцах". Чудовища, глаза которых "сверкают совершенно немыслимой злобой" — само человеконенавистничество, акселлерированное "красным лучом". Таков результат человеколюбивой, казалось бы, идеи...

Аннушка! Проклятая кикимора московская — Аннушка! Бес коммуналок, источник бедствий, пожаров, скандалов и отрезанных голов. Так и шастает она по кухням, очередям и керосиновым лавкам. Так и кочует Чума Аннушка по булгаковской жизни: — "из кухни доносится ругань Аннушки" ("Театральный роман"); "бич дома, Пыляева Аннушка, простоволосая" — виновница страшного пожара ("№ 13. Дом Эльпит Рабкоммуна"); "Аннушка! С Садовой! Это её работа..." ("Мастер и Маргарита"). Желтым апокалиптическим видением проносится "ходя" виртуоз-пулеметчик, режущий коров пулями пополам. ("Китайская история").

Вся жизнь — сплошной сон-кошмар: "Бег" — "Восемь снов": сон — всё, что происходит с героями. Сон о "Похождениях Чичикова" по Советской Руси. Сны Иванушки и Никанора

Ивановича в "Мастере и Маргарите". Сознание, измученное, затравленное, путает сон с явью, явь — со сном. Жизнь в этой дьявольской действительности такова, что теряешь ориентацию в собственном душевном мире... И вот, набирая уже полную силу, Дьяволиада, обернувшись Воландом и его свитой, устремляется на Москву. Замечательно, что первоначально роман вовсе не замышлялся как новый "Фауст". Это было продолжение "Дьяволиады". Но с романом произошла метаморфоза, в точности воспроизведшая метаморфозу самого автора. Став мастером, Булгаков поворачивает от "Дьяволиады" к "Фаусту" и во всеоружии устремляется на Дьяволиаду.

В литературе — нет, гораздо шире! — в истории культуры — произошло событие громадного масштаба: снова встретились Фауст и Мефистофель. Фауст и Мефистофель пришли из Ренессанса. За ними — сказание, легенда, миф. Быть может поэтому у Гёте они скорее персонажи, а не личности из плоти и крови. В "Фаусте" их окружает атмосфера условности: хоры ангелов, духов, архангелов, блаженных младенцев, кающихся грешников на фоне небес и поднебесий, гор и ущелий, дворцов и соборов, Вальпургиевой ночи и садов Менелая, от которых веет скорее ароматом театральных кулис, нежели простором полей и лесов. У Гёте все — аллегория, все разведено по этажам мироздания — плоскостям непересекающимся. От этого встреча Фауста с Мефистофелем воспринимается как некая грандиозная схема-игра, правила и концовка которой предопределены.

Не то — у Булгакова: ни малейших следов аллегоричности. На всем печать достоверности. Во все происходящее веришь, как можно верить лишь собственному опыту. Природа здесь — не декорация. Она напоена соками, запахами, звуками земли. От нее и через неё Маргарита обретает дар свободы. Такую свободу знаешь, понимаешь, веришь ей до глубины души. "Земля поднялась к ней, и в бесформенной до этого черной гуще её обозначились тайны и прелести земли во время лунной ночи. Земля шла к ней и Маргариту уже обдавало запахом зеленеющих лесов. Маргарита летела над самыми туманами росистого луга, потом над прудом. Под Маргаритой хором пели лягушки, а где-то вдали, почему-то очень волнуя сердце, шумел поезд."

Быть может поезд — самая завораживающая деталь.

Сколько раз мы в блаженном столбняке прислушивались к нему, выскальзывая из окружающего вон, на свободу...

Много, очень много понял и испытал за это время романтический интеллигент "Бури и натиска", пережив и ранний индивидуализм Чайлд Гарольда и печеринское презрение к миру, юношеский атеизм базаровых и открытие "подземелья" героями Достоевского, страстное Богоискательство и прозрение глубин экзистенциального. Много пережил он вплоть до сумасшествия. Пережившим такое уже ничто не страшно. Их нельзя — нечем просто — устрашить, соблазнить. Эта тема завораживает, будоражит Булгакова — Хлудов, Максудов, Мастер, Иванушка...

Изменился Фауст — изменился и Мефистофель. Усложнилось его извечное ремесло совращать, а с усложнением пришло то, чего никак нельзя было предвидеть — совратитель "совратился" сам. Что может сделать он с человеком, прошедшим апокалиптические времена революции и ад душевный? Ничего, кроме как идти с ним к Свету! И из силы враждебной, соблазняющей, сталкивающей в преисподнюю, превращается он в силу, устрояющую счастье влюбленных и наказующую зло. Так завершается диалектика, лишь намеком прозвучавшая в "Фаусте":

— Ты кто?
— Часть силы той, что без числа
Творит добро, всему желая зла.

Свита Воланда, это дьявольское отродье, пленяет неотразимым обаянием. В этом обаянии соблазн. Но сквозь дьявольское обличие прорываются сполохи человеческого огня. Они нам близки чем-то эти черти, заставляя от души хохотать над их проказами. Причем не злорадно, а светло. Да и как не быть тут свету в этой шайке, спаянной крепкой дружбой, подтрунивающей друг над другом. Так могут дружить люди общей трудной судьбы. Это в полном смысле слова — теплая компания! На поверку оказывается, что они и есть люди. Люди когда-то тяжко согрешившие. У них одна судьба — грех и наказание. Причем наказание самое тяжкое: целую вечность видеть себя и свой грех. "Рыцарь этот когда-то неудачно пошутил, его каламбур, который он сочинил, разговаривая о

свете и тьме, был не совсем хорош. И рыцарю пришлось после этого прошутить больше и дольше, нежели он предполагал", — рассказывает о Коровьеве-Фаготе Воланд.

Понтий Пилат наказан тем же наказанием: и во сне и наяву, когда "терзает бессонница", никуда не может он уйти от своего подсудимого. И то видит "черепки разбитого кувшина", как видит целую вечность "с синей каемочкой платок" Фрида. То лунную дорогу, по которой хочет пойти с арестантом Га-Ноцри прокуратор, чего-то не договоривший тогда, давно, "четырнадцатого числа весеннего месяца нисана". А под звериной шкурой котищи Бегемота оказывается скрыт "худенький юноша, лучший шут, какой существовал когда-либо в мире". Все они получили прощение в эту ночь на *воскресение*, "когда сводят счеты". Все, отбыв наказание, этим наказанием очищенные, сжегшие в его очистительном огне свой грех, были прощены и воскрешены в том качестве, которое до времени было сокрыто даже от них самих.

В преображении дьявольской шайки и самого Воланда — катарсис огромной силы. Если преображены они — есть надежда и у человека... Ничто и никого нельзя уничтожить. Всем и всему нужно вернуть их изначальный облик, как Сатане — облик Люцифера (Светоносного) — до его отпадения от Бога. Но возвращение это возможно лишь ценой страдания и покаяния.

Едва ли не самым главным камнем преткновения в извечном споре между верой и неверием является чудо. В романе М. Булгакова чудеса занимают место огромное. И это не просто литературный прием.

Просыпается, скажем, с перепою Степа Лиходеев. В голове хаос и боль страшные. Ощупывая себя, даже понять не может: в брюках он или нет. А тут еще — что за наваждение! — незнакомец в черном и в берете. И понимает незнакомец, что не получится у него со Степой контакта, пока тот в таком состоянии. И тогда он сооружает во мгновение ока прекрасно сервированный завтрак с горяченькими сосисками в кастрюльке и с графином водочки. Причем графин, заметьте, даже запотел с холода. Откуда это чудо? Тут нужно объяснение. И Воланд, шадя еще пока Степу, все ему объясняет: за завтраком послал он домработницу Груню, а лёд, от которого так аппетитно запотел

графин, из аптеки. Вот и нет чуда! А ведь чудо все-таки есть, что даже в такой, далекой от проблем научной демонстрации, Степиной голове крепко засела привычка к доказательству.

Аналогичным рвением к "разоблачениям" одержимы представители администрации и вообще ответственные лица в театре Варьете. Для них "разоблачение черной магии" — чистейший катарсис, утверждающий их научно-мировоззренческую установку. Представьте себе такого рода ситуацию с человеком глубоко верующим: для него объяснение и "разоблачение" перед лицом потусторонней силы вообще не имеет смысла. Ему нет надобности объяснять потустороннее посюсторонним. И уж ему-то Воланд мог бы без предварительных "объяснений" изложить суть дела.

Интересно, что первой "естественной реакцией" Мастера на Воланда было признание *себя* сумасшедшим. Себя самого готов он обвинить и оболгать, только бы не противоречило увиденное им, в плоть и кровь всосавшейся, атеистической установке. Для него прозрение реальности "не от мира сего" — чудо, но чудо *опосредованное* культурой, интеллектом, художественной интуицией. На деле же он сам до конца не верит тому, что открылось его духовному взору. Здесь — трагедия раздвоенности сознания современного человека вообще, а творческого — в особенности: раздвоение между тем, что *кажется* явью и тем, что *кажется* вымыслом. Внимая голосу реальности во всей её "жизненной конкретности", полноте и глубине, мы не верим ему.

Лунный свет освещает наиболее значительные места романа. Дневной,солнечный свет — свет обыденного сознания. Солнце освещает мир привычный. Кажется сама его привычность обязана солнцу. Другое дело — свет лунный. В нем проступает то, что не было видно при самых ярких лучах солнца, проступает сущность. Это особенно хорошо понимал Андерсен. У него вещи живут ночью, а днем они спят, днем привычный глаз их даже не замечает...

При луне дневное сознание погружается в сон, а навстречу ночному свету просыпается то, что днем спало. При лунном свете происходит встреча с Необычным... Булгаков это очень глубоко чувствует и поэтому выходит из мира сказки — в которой сущность лишь угадывается, но все же остается сказ-

кой, вымыслом — в мир полный действительности, в сущность, на поверхности которой лежит залитый солнечным светом "объективный мир".

Поэтому именно лунный свет в конце романа — разоблачитель всех обманов: "Когда же навстречу им из-за края леса начала выходить багровая и полная луна, все обманы исчезли, свалились в болото, утонула в туманах колдовская нестойкая одежда".

Но лунный свет у Булгакова не только разоблачает, но воскрешает и преображает. Он становится Светом, в лучах которого преображаются души, Светом, Который "во тьме светит и тьма не объяла Его".

Таинствен и чудесен конец и начало загробного пути Мастера и Маргариты. Здесь вершина, с которой виден весь пройденный путь Мастера. Здесь место суда над совестью автора. Здесь все особенно значительно и емко. Ведь речь идет о Воскресении и о воздаянии по вере и делам его. Как воздалось Михаилу Александровичу Берлиозу мы уже видели. Словно трубный глас в Судный день раздалось воландовское: "Рукописи не горят"! Что же заслужили Мастер и Маргарита? Каково их Воскресение?

Весть о решении их участи приносит Воланду Левий Матвей.

— Он прочитал сочинение мастера... и просит тебя, чтобы ты взял с собой мастера и наградил его покоем...

— А что же вы не берете его к себе, в свет?

— Он не заслужил света, он заслужил покой, — печальным голосом проговорил Левий.

В глубочайшее раздумье повергают эти строки: почему же все-таки не свет? Какова судьба нашего Богооставленного поколения? Каково воздаяние за нашу жизнь, наш дух, нашу веру?

Мастер выглядит почти безупречным. Правда, нам неизвестна его прошлая жизнь. Правда, проходит где-то смутный мотив пережитого страха, который он не сумел преодолеть, но который сам же сурово осудил: помните, упрек брошенный Понтию Пилату? — "Трусость — самый тяжкий порок"... Но эта жизнь, что описана, чиста, почти монашески строга. Нам известно, что Мастер талантлив, чуток, трудолюбив до самозабвения. Напряженная работа обострила интуицию, доходя-

щую до ясновидения. И становится очевидным — с такого спросится многое. Но все ли он сделал, все ли тайники души открыл навстречу описываемому Иешуа Га-Ноцри? И тут с беспощадной отчетливостью встает — безверие! Все наше поколение интеллигенции поражено безверием! Безверием снята наша ответственность за жизнь настоящую и "жизнь будущего века". К чему это привело мы уже видим на примере неисчислимых страданий послереволюционных поколений, на примере "коричневой чумы", поразившей землю Гёте и почти всю "страну святых чудес" — Европу, на примере... Много есть примеров, но вывод один: только вера может спасти нас и мир, только вера может научить ежеминутному стыду за свои деяния, только в вере — залог ответственности за самый драгоценный дар Божий — Жизнь.

Булгаков оценивает своих героев, оценивает себя. И кристальная его честность — честность Мастера — выносит приговор: дать любимому герою не Свет, но — покой.

Ну, вот, кажется, и закончился роман. Но что это? Идет по городу, залитому лунным светом, человек, которого каждый год в одну и ту же ночь весеннего полнолуния этот свет будит и заставляет бродить по местам, где он пережил встречу с Необыкновенным, пережил потрясение всего своего духовного космоса, сумасшествие и преображение. Да, этот человек полностью переродился. Умер скверный поэт, пишущий на потребу дня под псевдонимом Бездомный — возродился ученик Мастера, историк, философ.

Идет по городу, залитому лунным светом, по городу ирреальному в этом свете тот, кто вышел из тьмы невежества, тот, кто вступил в Свет.

Москва, 1976 — Бостон, 1981. *Александр Белозерский*

ПИСЬМА Б. ЗАЙЦЕВА И. и В. БУНИНЫМ

(ПУБЛИКАЦИЯ МИЛИЦЫ ГРИН)

27.VIII.43.

Тридцать один год назад сегодня родилась Наташа, дорогой дядечка. Вчера ходил выбирать ей что-ниб. к рождению — купил "Чашу жизни" одного начинающего писателя.[1]

Вечером прочел Вере вслух "Святые", взволновался, конечно. Местами слезы подступали, как у Арсенича, а то смех — на детей (..."тлятлит", "мечное сечение"). Ну, прелестно, разумеется. На ночь читал стихи.

А ночью вот что со мною было, около 5 ч.: я и сплю, и сквозь сон слышу твой голос — ты мне из Грасса рассказываешь о том, как смотришь на события. У меня бывают иногда такие "голоса". Покойный Нилус говорил, что у него тоже, и считал, что это признак старости. Добавлял при этом, что в большинстве слышит чепуху. Мне обычно как будто читает кто-то вслух, или — вернее — подсказывает незаметн. образом, а произношу я сам, с большим напряжением и даже утомлением умственным, точно я медиум. Просыпаешься усталый. Слышишь очень связные вещи, довольно связный бред, я бы сказал.

Но сегодня говорили очень толково и почти твоими словами, твоими интонациями. Очень ясный взгляд на современные дела, во многом с моим сходный, но более оптимистичный — такой оттенок у многих из моих знакомых здесь есть. Как бы то ни было, я проснулся с чувством, что ты со мной по

См. кн. 139, 140 "Н. Ж."

телефону говорил. Не делаю из этого никаких "таинственных" заключений, но осталось чувство большой близости. Хотел даже встать и записать, но поленился, конечно.

Утром стал Вере рассказывать — на полдороге прервала сирена и пришлось собираться вниз. Атаки нынче не устроили, но пролетели над нами — не то нем. истребители, не то американские гуманисты.

Это у нас теперь чуть не каждый день. Довольно много убивают в окрестностях. Третьего дня оторвало голову одному русскому, родственнику дамы из нашего дома. В другом месте убили шоффера (француза), знакомого Наташи по службе. Нынче, брат, больше стараются избивать обывателей.

Мы привыкли. Смерть вокруг, Вера и то стала спокойнее. Выхода нет, все равно (квартиру найти в Париже невозможно), да и вообще "конец приближается" — "душа моя, что спишь, конец приближается" — это великопостное песнопение такое, прекрасное.

"Archeveque'a" получил, очень мило. По-моему, непохож, а другие находят, что похож. Во всяк. случае, малое развлечение в однообразной жизни.

В Bussy пробыли хорошо, да и достаточно. Жить надо все-таки дома. Вера очень оправилась, прибавила 3 кило (теперь 59). Я — ничего, как было 56, так и осталось. Но вид, говорят, лучше.

Сейчас иду обедать к Наташе. (Вера ушла раньше — помогать по хозяйству). Если не завоет сирена, то просто дело, а то можно и в метро 1½ часа просидеть. "Ниц не вем."

Сейчас в Bussy новая партия дачников — Тэффи, Лоллий, Струве. (А мы были со. Киприаном.)Лоллий [Львов] все собирается в Россию, надеется (!) попасть под Петербург. Мы с ним в оч. добрых отношениях. (Пишет уйму стихов.) У него есть надежды (иллюзии).

Дядечка мой дорогой, обнимаю тебя и целую, спасибо тебе за ласковые, хоть и краткие письма, и за то, что ты такой прекрасный писатель. Верочку тоже обними и приветствуй. Моя Вера целует Вас обоих. Твой Борис.

---

1. "Чаша жизни", Ив. Бунин.

25.IX.43.
2, rue Rosa Bonheur Paris (15)

С Ангелом тебя, дорогая Верочка, охотно расцеловал бы в четверг, да расстояние не позволяет — далековато. Вера также тебя обнимает и с любовию приветствует.

Пишу с бывшей квартиры Макеевых, теперь у них собственная, уже постоянная, а эта... неизвестно чья, хозяева на юге. Сегодня власти разрешили нам пробыть тут до конца ноября. Нам оставлены две комнаты, кухня и ванная. На эти "наши" апартаменты я налепил уже ярлыки по дверям: B. Zaitseff, Schriftsteller (даже на клозет нацепил). Остальное будет запечатано. Думаю, проживем до ноября: здесь нет отопления, в ноябре трудно. И обычно бывает тише зимой от бомб. Во всяк. случае, как говорила покойная моя мать: "там посмотрим" (обычно нам детям в этой форме она отказывала). — Из письма В. ты знаешь уже, как было туго ей в послед. бомбардировку — она оказалась в доме рядом с горевшим заводом (...). Дом прочный и абри не выдало. Но особенно переволновалась за меня, выйдя оттуда: ей сказали, что разбито metro Porte St. Cloud, а по ее соображ. я должен был как раз в это время возвращаться от Наташи. Можешь себе представить, как мы с Нат. мучились, увидав столб дыма над Булонью — метро не ходит, добраться нельзя. Дым был такой даже в Париже, что закрыл совсем Эйфел. башню, хотя Н. живет от нее в двух шагах. С первым метро помчались, разумеется, туда. На rue Thiers Н. не выдержала и кинулась вперед со всех ног, как в горелки. А Вера час уже ждала меня у подъезда, волнуясь и страдая. Н. подбежала, успела только сказать "жив" — та упала на нее без чувств. Тут и я подбежал, она скоро отошла, но можешь себе представить, во что это обходится.

Квартира не пострадала. В полуверсте, рядом с огромн. домами 122 Bd. Murat пылал завод "Малое Рено", у меня в кв. было светло как днем (но мерзкий, огненный тон, пожарный).

Конечно, В. израсходовала все, что нажила в деревне. Сейчас она все-же бодра, я за нее оч. рад, что мы здесь: тут покойнее, а она хоть и оживлена, но нервна. (И все за меня больше боится). Я спокойней. У меня настроение покорности и некот. равнодушия. Взгляд на будущее настолько печален, что трудно его уже

поколебать. В общем же: "Да будет воля Твоя". Все тут очень нервны. Алерты каждый день, иногда по 2 раза. Третьего дня ночью была такая пальба, что спать нельзя — пролетали куда-то над Парижем, на дело крови и страдания. Утром я был в городе и видел сбитый авион — на магазин "Лувр" упал, представь себе! А в ту бомбард. мы с Н. из ее окна видели, как два было сбито, как они страшно вспыхивали в лазурно-безоблачном небе! И обгорелые обломки валились — тоже на Париж. Что еще предстоит видеть? Ко всему надо быть готовым. (Ребенком я не мог выносить разбитого мужицкого носа, а теперь без истерики "созерцаю", как в небе люди сгорают, а на земле десятки и сотни других погибают от их бомб: и все "не-комбатанты". Что Вера видела, пока дошла домой!)

Письмо вышло слишком мрачным, прости. Но таков воздух. — Приятно мне, что рядом лежат 6 томов Ивана, марксова собр. соч. (полный Бунин того времени) в хор. переплетах. Первое стихотв. помечено: 1886 г! Есть там и "Кондор" — мы только что с И. познакомились, в 1902 г., это того времени. И мне по-прежнему этот кондор понравился. Дорогая моя, твои слова о разн. типах людей оч. верны. Я сам принадлежу к тем, кого жизнь, сравнительно, щадит даже, но сами себя они изводят здорово. Я всегда Бога благодарю за Его милость, и все-таки тоскую. Господь Вас всех храни, милое мое "последнее каррэ". Ваш Борис.

P. S. Нашел в здешних книгах "Tikhia Zori",[1] тоже в отлич. переплете. Все былое.

P. P. S. Очень счастлив, что Вас пока не трогают.

1. "Тихие Зори", кн. Б. К. Зайцева.

2 ноября 1943.

Дорогой мой, несколько времени назад встретился я с одним издателем, F. Sorlot, он мне сказал, что расположен начать русскую серию в своих "Maitres étrangers". Хотел бы нас с тобой, очень меня просил, чтобы я осведомился у тебя, нет ли новонаписанного романа, и если и ты склонен печатать его по-французски, то чтобы ему прислал.

Исполняю его просьбу и ни за что не ручаюсь. Издательство маленькое, магазинчик на rue Servandoni, за St. Sulpice, около Плона. Человек он молодой и как будто веселый и бойкий. Думаю занести ему "Глеба" ("Анну" он купил вместе со складом Ed. St. Michel, где некогда Фохт орудовал. Сейчас я достал там последний ее экземпляр — épuisé). Итак, напиши мне несколько строк, как ты на это смотришь.

Мы здесь пробудем еще дней 10-12, а там опять на rue Thiers. Я привык к тамошнему своему углу, у меня книг много понабралось, но рукописи держу у Наташи. Последнее время тихо, не беспокоят нас. Да все равно, выбора нет. Тут квартира к концу месяца будет занята.

Читаю письма Флобера. Как чудесно! Горестно до последней степени, а временами будто и про нас. "Les ouvriers de luxe sont inutiles dans une société où la plèbe domine".

Твою открытку о студенте читал о. Киприяну, оба смеялись. Да, несчастный был студент!

Приходила Ляля с девочкой — но меня не было. Вера говорит: очень милы, обе. Вера устроила ей кое-что из одёжи.

Когда мы увидимся? Когда? Обнимаю тебя, мой старый и *настоящий*, редкость, ouvrier de luxe. Верочку также, от всего сердца. Моя Вера готовит ужин, напевает там в кухне, тоже нежно целует. Твой Бор.

P. S. Нынче есть бутылка вина. Выпью за Вас.

10.XI.43.

Дорогой друг мой Иван, вчера мы с Верой вспоминали тебя — ровно десять лет назад я вычитал в Paris Soir, сидя в кафе на площади Pte St. Cloud, что ты получил Нобелевскую премию. Мне это доставило большую радость! Я рассказывал тебе, как в тот вечер, написав в *типографии* (!) статейку о тебе, я обходил потом все бистро на Place d'Italie, в каждом выпивал по рюмке коньяку и приговаривал по-русски: "молодцы шведы!" (Блаженные времена, когда ничего не стоило выпить "une fine"... "et la même chose!") Да, редкий случай, и у нас был свой праздник. За двадцать лет бытия нашего здесь — единственная победа эмиграции (конечно, недопонятая, конечно, недооце-

ненная). Вот, сейчас, когда эмиграция кончается — если уже не кончена — еще раз приветствую тебя и обнимаю заочно. Вера просит поцеловать.

Мы еще на Rosa Bonheur. В понедельник думаем перебираться. Отопления тут нет, но уже холодно, пишу тебе сидя в пальто.

Сегодня подали письмо от твоей Верочки моей Вере. Оно очень серьезно и интересно. С одним местом его я совершенно, однако, не согласен. Верочку огорчает душевное состояние Веры и она как бы упрекает ее за "ненависть". "Я думала, что близость к о. К. подняла твою душу на известную высоту".

Близость с о. К. есть, но в вопросе о непримиримом отвержении зла и о. К., и покойный о. Георгий, не сговариваясь, утверждают, что отвержение это необходимо — иначе будет равнодушие. Одно дело мстительность: ее у Веры нет. Другое — священный гнев — гнев на зло. Думать же, что зла "уже нет", это значит закрывать глаза на жизнь — или, находясь слишком вдали от источников сообщения о родине, — просто меньше чем мы знать о происходящем там. Нет, зло не кончилось. Нет, масса палачей и существует и торжествует. Нет, прощать за себя много легче, чем за других.

Впрочем, ты, автор "Окаянных дней", вряд ли особенно станешь возражать.

Нынче обедает у нас Л. Л.[1] — Завтра он уезжает — в Псковскую губернию, будет работать по народному образованию с двумя петербургскими профессорами — один из них, молодой, ученик В. Б. Долго ли проработает? Это другой вопрос. Но считает, что все равно будет работать среди русских в Германии — их сейчас там очень много и они в "просвещении" очень нуждаются. А если, мол, придется погибать, то лучше там, чем тут. Такой его взгляд.

Писала ли Верочке М. А.[2] о том, что петелевскую церковь митр. Сергий Московский запретил? Их подвел Сергий Западного края (Литва, Латвия, Эстония) — тем, что основывал семинарии, открывал церкви и пр. с разрешения оккупационных властей. Сергий Московский этого не потерпел и теперь М. А. изъята из "патриаршей" церкви.

Племянница Веры Аня[3] приехала с детьми в Прагу к Оле[4] .

Прислала уже моей Вере прекрасное письмо. О своей жизни в России пишет, что кончился "25-ти летний страшный сон". Дядечка, это далеко от маниловщины, очень теперь, увы! распространенной.

Обнимаю тебя сердечно. Господь всех Вас храни. Ваш всегда Борис.

P. S. Петелевцы, по-видимому, свою неприятность скрывают. Целуй Верочку.

1. Лоллий Львов.
2. Вероятно, М. А. Каллаш, писавшая под псевдонимом Курдюмов.
3. А. Бруни, племянница В. А. Зайцевой.
4. О. А. Куфтина, племянница В. А. Зайцевой, сестра Бруни.

17.XI.1943.

Милый друг, вчера получил и русский текст — сердечно благодарю. Французский уже прочли оба мы, с большим удовольствием. По-русски прочел еще только первую главу — разумеется, гораздо лучше. (Думаю, что все, что касается пейзажа по-французски вообще пропадает. Гроза в пятой главе *должна* быть написана по-русски). От перевода остается такое ощущение: ты, но в тумане каком-то, несколько расплываешься, местами даже тебя теряешь.

Разумеется, одной "Натали" для книги мало. Но с добавлением других рассказов, думаю, вполне хорошо. Во всяком случае, на днях иду к Sorlot, покажу ему твои и свои товары и объясню все. Дам ему твой адрес и если дело пойдет, то об условиях материальных ты уж списывайся с ним сам. Кстати: инициатива насчет тебя была *его*, он первый заговорил, я, разумеется, горячо его поддерживал, но собственно твое имя и положение в литературе более чем достаточно сами за себя говорят.

Время твоей Нобелевской премии всегда вспоминаю с большим удовольствием — как праздник. Сам я никогда на нее не рассчитывал, соперничества с тобой никогда у меня не было, потому и отравы никакой я в сердце не носил. Вот Мережковскому приходилось туго — но и это все пустяки: подумай, осталась от него могильная плита, памятник с копией иконы

Рублева на кладб. Sn. Geneviéve des Bois — и все (ну, книги, конечно. Говорю о нем *физически.)*

Пишу уже из Булони. Говорят, до весны будет тихо. А другие говорят — и вообще тихо, т. к. разрушать больше нечего. Посмотрим. Топлю печку, сейчас у меня тепло. А откуда переехали, там уже холод, нетоплено. Думаю о тебе, как там ты будешь мерзнуть! Господь тебя храни, дорогой мой, целуй Верочку. Твой всегда Борис.

P. S. Как только что-ниб. выяснится напишу.

28.XI.43.

Дорогой мой Иван, все восемь рассказов твоих получил и, разумеется, тотчас прочитал — с известною даже жадностью. Думаю — лучшие из них "Натали" и "Руся". (Мне, по крайней мере, более всех понравились). Руся очень своеобразный облик девичий, очень остро и ярко написанный. И болото превосходно, и картуз, и ночь — ты понимаешь. В "Натали" — особенно вторая часть и общий тон, вообще по впечатлению эта самая "весящая" вещь из всех, ею справедливо было бы открыть книгу. В "Тане" прекрасна деревня, зима, да и Таня сама очень жива и мила, в "Генрихе" — путешествие и конец очень хороши. — Дядечка, скажу правду: все "межножья", штаны с разрезом, менструации, Зойкины жопы дела не укрепляют. Ты знаешь, я никак не prude и сам многогрешный человек и много на своем веку "поработавший" — все-таки говорю: литература от этих подробностей не выигрывает. Трудно писать, я ведь не критик, не Белинский, надо бы поговорить, а то ты неверно можешь меня понять. Добавлю только еще, что все сказанное относится к *эстетике*, а не к морали.

Итак, получается том рассказов. Нынче были мы у Зинаиды[1] и Злобин[2] сказал мне, что Sorlot, которого он только что видел, ждет моего посещения с товарами моими и твоими — разумея под этим *романы*. (К рассказам, ты знаешь сам, издатели иностр. всегда холоднее). Но я вполне надеюсь — объясню ему, что кроме тебя, как имени и фигуры, это читается все с *большим интересом* (что совершенно верно! Движения и занятости в этих

твоих вещах больше, чем в прежних, читаются они увлекательно).

Одним словом, посмотрим. Думаю, только, что все это будет довольно долгая канитель — сужу по "Тургеневу" моему, издание которого решено, но тянулось это более 2-х мес. и договор все еще не подписан. Все эти издатели, с одной стороны, очень любезны, но в сущн. глубоко ко всему равнодушны. Хорошо еще, что у нас есть так называемые "имена" иначе совсем бы трудно было добиться чего-нибудь.

Пишу тебе от Наташеньки, мы здесь прожили 12 дней, завтра въезжаем в квартиру Вышеславцевых, покидающих Париж minimum на 6 месяцев. Еще одна *не своя* квартира! С 4-го апр. мы тем только и занимаемся, что странствуем. "Человек с чемоданом" в метро — это я. Но что поделаешь, нашей Растеряевой улице опять грозят. Кто может, утекает оттуда. Нам многие тамошние завидуют, что есть куда перебраться.

Письмо, где ты пишешь, что сидишь днем с завешенными окнами и при электричестве, навело на меня печаль. Но хорошо понимаю, что такое холодище! Вообще, кажется, нам надо друг друга по-братски жалеть, да и не нас одних, а чуть не половину человечества — но на это сил не хватает.

Зинаида стала очень старенькая. Показывала толстую исписанную тетрадь — пишет жизнь Дм. Серг.[3] — 52 года вместе! Во всяком случае это для нее отличное занятие. Книга выйдет по-французски. Тэффи видим очень редко.

Обнимаю тебя и целую, очень рад, что ты жив и пишешь, что в тебе нет равнодушия, в твои годы это замечательно. Темперамент твой во всякой строке чувствуется. Да, ты спрашиваешь, что я пишу. Ответ: мало. Я переезжаю. Вожусь все еще с "Глебом". Осталось совсем мало дописать, но дело идет медленно. Кроме того, записываю иногда кое-что. Получаются "горестные заметки" — называются "Дни".

Господь тебя храни. Целуй Верочку.

1. Зинаида Гиппиус.
2. Вл. Злобин, писатель, поэт.
3. Дм. Серг. Мережковский.

3.XII.43.

Дорогой мой Иван, сегодня был у Sorlot со своими и твоими товарами. Он сказал, что "очень заинтересован". Если бы рукопись твоя была "роман", он, разумеется, взял бы мгновенно, не читая. К "новеллам" все они неск. холоднее, все же думаю, что возьмет.

Я передал ему (Sorlot) "Nathalie" по-французски, показал остальные новеллы, объяснил, что это — часть книги. Что кн. будет цельная в нек. смысле "роман", разбитый на главы с отдельн. названиями. Дал ему твой адрес и сказал, чтобы он сам тебе написал — на что он и ответил утвердительно. "Я могу сейчас же напечатать его новеллы, если он даст мне еще роман". На это я: "Не знаю, есть ли у него роман и может ли он — если нет — взять перо и сразу же написать. Осведомьтесь у него сами". По-моему он через минуту и забыл сам об этом — так, мне кажется, сболтнул.

Вот как будто пока и все. Будем ждать. Из своего я дал "Путешествие Глеба" и "Афон" — последний по рекомендации Шюзевилля. Тот убеждает S. выпустить серию pélérinages и вообще путешествий по малоизвестным местам. Мне S. сказал, что такую серию он действительно не прочь устроить. (И когда я эти строки написал, то подумал о "Тени птицы": если он действительно намерен издать такую "collection", то почему бы и нет? Он упоминал, между прочим, о Зинаиде Ник., у нее есть "Поездка на Светлояр" — давнишняя штука, печаталась, кажется, еще в "Новом Пути").

"Глеба" я дал первую часть. Очень мало надеюсь, чтобы это прошло — какое дело французам до какого-то русского мальчика, Людинова, пожаров, лосей? А все-таки дал. Рискую только тем, что не возьмут — и Бог с ними. Я стал вообще равнодушнее, на положение литературы и писателей смотрю безнадежно, поэтому мало что может огорчить. А выйдет, тоже плясать не буду.

Вот с "Тургеневым" как будто вышло (Ed. Balzac); во вторник подписывать договор, но пока его еще нет и аванс не в кармане, надо быть осторожным. Все равно, общее настроение жизни — против художников, искусства, поэзии. Мода на русских случайна и ничего не доказывает. Товарищ Сталин ока-

зался нам союзником! И поддержал.

Пишу с нового места — мы в маленькой, чистой, светлой и очень теплой (центр. отопление!) квартирке Б. П. Вышеславцева, уехавшего из Парижа с женой на ½ года, а может, и больше. Место неважнецкое — вблизи метро Convention. Все же гораздо лучше нашей Thiers. И менее опасный район. [...]

Господь Вас храни всех, мои дорогие. Обнимаю сердечно. Борис.

Слышал, что Зуров болен. Передай ему мой привет, сочувствие и добрые пожелания. От Веры также.

17.XII.43

Дорогой дядечка, очень сожалею, что так вышло. Причина мне не вполне ясна — м. б., ты хотя бы намеком дашь мне понять, в чем дело? — медленность у них — обычная, всюду по-видимому, так. Все они завалены работой, хлопотами. Но должен сказать, что сегодня не месяц, а ровно две недели, как я передал твою рукопись и свои книги. ("Тургенев" мой два месяца лежал у Balzac'a и только на днях мы подписали договор и я получил аванс — 7 тыс.) В том, что рассказы твои не сразу попали к издателю, виноват я, извини меня этой ерундой с переменами квартир, еще разн. мелк. обстоятельствами — но я запоздал и с собств. книгами: в общем ты знаешь мой "неторопливый" характер и обломовскую родословную.

Сегодня зашел к Sorlot. Его самого не было, передал его помощнику твое решение. Литератор с бородой, в беретике, с трубочкой во рту, как у покойного Донзеля, с умными глазами (видимо, тоже помощник по литературной части), сказал мне, что "Nathalie" он прочел, это ему понравилось. "Но думаю, что переводил русский, хорошо знающий французский язык. Это недостаточно по-французски". По правде говоря, я и не надеялся, что перевод хорош. Так как хозяина не было, то рукописи я не мог получить (пока) — но сказал, чтобы ее отложили, я потом зайду.

Вот, как будто, и все. Да, "Речной трактир" получил, большое спасибо. Если не лень, пришли еще что-нибудь, для меня всегда большое удовольствие читать твое писание.

Обнимаю сердечно. Верочку также. Твой всегда Борис.

30.XII.43.

С Новым Годом, дорогой мой Иван, дорогая Верочка! Завтра ровно 20 лет как я въехал в Париж — и в тот же день вечером был у вас на 1, rue Jacques Offenbach: вы тогда жили внизу. Да, целая полоса жизни прошла — да и жизнь, собственно, прошла. Что нам готовится для финала? Ты, Господи, веси.

Иван, ангел мой, перебирайтесь к нам сюда! Все твои друзья здесь на этом сходятся. Главное, ведь у тебя есть квартира. А тут все-таки легче. Все мы питаемся теперь более или менее прилично, в смысле отопления в Париже стало гораздо лучше, вообще, по-моему, условия несравнимые с югом. На днях я был на мал. обеде "Возрождения" — мы заплатили по 73 фр. с человека, вино с собой захвачено было, водка местная. Говорил я много о тебе с капитаном,[1] который трогательно тебя любит, корит и волнуется, и жаждет, чтобы ты сюда переехал. "Мы его здесь устроим, всё у него будет, он ни в чем не будет нуждаться". Я лично тоже в этом уверен.

Третьего дня был я у Sorlot. Он купил у меня перв. кн. "Глеба", условия неск. лучше, чем у "Balzac" с "Тургеневым". Деньги выложил сразу на бочку, аванс больший, чем там. Сговорились об условиях — "а текст договора я пришлю вам на днях". Первый раз вижу, чтобы франц. издатель давал деньги до договора.

Видимо был огорчен, что ты берешь назад рукопись. Спрашивал все — почему? Я не мог удовлетворить, объяснить. (Предположение есть — "разные психологии" — но б. м. и не так?) Выйдут эти книги нескоро — "Т." не ранее как через год, да и "Глеб" вряд ли раньше, т.е. — надо думать — по окончании войны. Сейчас выпуск книг здесь связан с известными затруднениями (бумага, разрешение и т. п.), но издатели все этим не смущаются, ибо не вечно же люди будут драться.

Завтра встречаем Новый Год с Верой вдвоем, есть водка, немного рому, чокнемся за вас, мои дорогие, и всей душой пожелаем, чтобы Пасху встречать вместе здесь. Господь вас храни! Вера целует. Б.

---

1. Н. Рощин.

22.I.44.

Дорогой мой Иван, да, Балтрушайтис[1] скончался, от воспаления легких (а там как-то открылся "склероз легких" — все это малопонятно, но подействовало быстро). Что ты узнал о его смерти поздно, не удивительно, Грасс далеко. Но что я услыхал об этом через неск. недель после похорон — это меня несколько ранило. Никто не дал знать! А ведь мы москвичи, знакомы сорок лет, всегда были в добрых отношениях.

Видимо, ты не получил одного моего письма — оно было отправлено дня через три после письма Веры и приблизительно такого же характера (если отбросить только разницу темпераментов). Так же, как и Вера, буду рад, если переберетесь сюда. И так же, как она, тебя люблю.

На днях пришло письмо от Галины. Они обе[2] у Ф. А.[3], живут, по-видимому, неплохо. Марга "готовится к весеннему концерту", недавно работала по устройству художественной выставки. Галина ведет хозяйство престарелой профессорской четы.

Завтра читаю у Ставровых главу из "Глеба". В то воскресенье читал на собрании в память о. Георгия[4] (10 лет со дня смерти) на Токио, знаешь, где устраивались разные вечера. Но в общем всё тихо, конечно, никакой литературы нет. Есть несколько милых и приятных людей — вот в четверг обедали с о. Киприаном (твоим большим почитателем), Мочульским и Таганцевым у Вас. Борисыча[5] Потребляли мар из Бюсси. В. Б. постарел и довольно печален. Мочульский оправился, слава Богу, от тяжелого плеврита, сильно его измучившего в начале осени.

Рассказы последние из полученных: "Антигона", "Визитн. карт." и "Гость"[6]. По просьбе Нат. Ив.[7] дал ей читать (все). Они сейчас у нее.

Обнимаю тебя, дорогой друг, которого (если б даже и захотел) не мог бы разлюбить. Твой всегда Б.

1. Поэт Ю. Балтрушайтис.
2. Г. Н. Кузнецова и М. А. Степун.
3. Ф. А. Степун.
4. О. Георгий Спасский, ум. в 1934. Духовник семьи Зайцевых.
5. В. Б. Ельяшевич.
6. Рассказы Бунина.
7. Н. И. Кульман, жена профессора Н. К. Кульмана.

12.11.44.

Дорогой Иван, стихи твои имеют большой успех. Прочел вслух Марье Александровне[1] — влажные глаза. Потом Наташа пришла, опять прочел, опять затуманенные слезой глаза. Такая же картина с Наталией Ивановной, вчера, в день моего рождения (Жуковскому минуло ровно 161 год, а мне 63, вот ты и считай, насколько он меня старше).

Милый дядечка, стихи прекрасные и без всяких женских слез.

Насчет Нат. Ив.: она сама просила меня дать твои рассказы. Разве я мог отказать? Да ведь ты же сам одно время не возражал, чтобы они были напечатаны по-французски. Конечно, она *против содержания* некоторых из них, но она тебя любит так же прочно и верно, как и мы с Верой. Впрочем (она сказала) — сама будет тебе писать. При всем том, если я сделал неприятное нечто, то прости великодушно.

Квартирой новой мы довольны — светло, тепло и довольно приятное выражение лица у неё. Алерты надоели: чуть не каждый день. Но теперь это уже общая участь. У Веры за последнее время ослабело сердце. Давление 10. Принимает строфант, камфору. Органического ничего ни в сердце, ни в аорте, но "большая утомленность". Надо бы много лежать. Но по теперешней жизни это трудно, сам понимаешь. (Да и характер не тот, тоже понимаешь. Все бы куда-нибудь побежать, с кем-нибудь поговорить).

С М. А. живем очень дружественно (тьфу, не сглазить!), она часто заходит. В алерты спускаемся к ней в первый этаж — у нас седьмой и над нами *прямо* небо. В общем же жизнь, как и у всех, под знаком *полной неизвестности*. Но я на 64-м году жизни своей ни о чем таком и не думаю. "Птички божия", говорил иронически Марко Богатый. Может быть. Ну, какие есть. Обнимаю, целую тебя и Верочку. Борис.

1. М. А. Каллаш.

16.11.44.

Дорогая Верочка, спасибо тебе, милый друг, за память. Одиннадцатого числа у нас была Нат. Ив. [Кульман, — М. Г.), принесла мне винца, галстук, носки. Еще одни москвичи — Зубаловы — рому. Вечером обедали Наташа с Андреем. Очень было

мило — и перед этим за день было "предпразднество" — в другой комбинации, немноголюдной, но с возлиянием бардзо смачным (вплоть до бутылки шампанского, к которому, впрочем, я равнодушен).

Одним словом, сколь возможно развлекаемся. (Но в общем живем тихо, вечерами все больше дома. Да теперь в темноте так грабят и раздевают на улицах, что просто прелесть).

Рад, что для Лоло собрали. Венгеров обещал мне, что пошлет тоже. Я, впрочем, нахожу, что в подобных случаях деньги всегда находятся, да и у "подсудимых" большой опыт и неослабная энергия. Обломовщины в них никогда не было.

Сегодня хоронят Елену Бальмонт. Она на год. значит, пережила мужа. Умерла тоже от воспаления легких. А сейчас подали пневматичку — скончался Жак[1] Освобождение! Его жизнь последн. время стала совсем ужасной: вот уж "живой труп". Вера везет ему сейчас смертную рубашку, еще что-то.

Довольно давно уже сижу в Достоевском. Все подряд перечитываю. Наряду с нек. нелепыми ранними вещами открывается все тот же гигант, единственный соперник Толстому, писавший почти все *вопреки* основным правилам художества и давший великие произведения — вершина, разумеется, "Карамазовы". Вся жизнь его, вся мука и мучит. писание, падение, рост — все, чтобы написать "Карамазовых". Нет другого русск. писателя, который бы так "рос" и укреплялся с годами, как Достоевский. "Чужая жена и муж под кроватью" — а за 3 мес. до смерти последняя строчка "К-вых"? Читаю (в рукописи) огромный труд Мочульского (900 страниц) "Достоевский"[2]. Выходит по-французски у Пайе. Очень интересно. Много для меня нового. Но и философии много. Я предпочитаю литературу. Обнимаю тебя, Ивана. Твой Бор. Зайцев.

1. Брат М. А. Алданова.
2. См. К. Мочульский. Достоевский, жизнь и творчество. Париж. 1947.

25.II.44.

Дорогой Иван, стихи твои получил и читал с волнением. Да, Торонэ! Чуть не двадцать лет тому назад, Пюжет, скромное красное вино, цикады, совы вечером — "виргилианское лето". Стихи отличные. По-моему, в новом для тебя роде. Странно

сказать, Жуковский, твой родственник[1] и меня опередивший на 161 год смутно (на горизонте) вспомнился. Вот тебя куда потянуло.

Как я хочу увидеть тебя! Приедете ли вы все сюда? Напиши мне, пожалуйста, потолковее. Я ничего не понимаю. Ждать вас тут или нет?

Вчера был у о. Киприана с Мочульским. Очень хороший вечер, на Сергиевском Подворье, в келье о. К. — он угостил нас ужином, говорили все о литературе. Он вполне "наш" (для тебя сказать даже: не любит Достоевского, за что я его крою).

Я же на старости лет перечитал почти всё этого писателя, который писал *все наоборот* тому, как надо писать и что я люблю, и все же он *великий* писатель. Это удивительно. Если бы ты понимал что-нибудь в шахматах, я бы сказал, что этот человек начинал партию белых ходом h2 — h4 (абсурд) и выиграл ее, все же. Но — с возраста 44-45 лет, после каторги. А до того в большинстве писал чушь. (Иногда и позже). Вот и подумай: "Полоумный" Достоевский и *восходил* удивительно медленно и закономерно. Написал величайшее из данного ему ("Братья Карамазовы") и через 2-3 месяца умер.

Ты его терпеть не можешь, я знаю. Но я тоже не могу уступить никому, даже тебе, того, что считаю огромным (хотя бы мне лично совсем чуждым. Вот я у Тургенева, у Чехова, у тебя бессознательно чему то учился. У него ничему. Но это не значит, что он мал или плох).

Теперь дела домашние: в субботу выхожу из дому — и в 150 шагах на снегу лежит Вера — поскользнулась только-то. Подбежал, поднял. Слава Богу, не сломала ни ноги, ни руки. Но ушиблась, и ты поймешь это чувство острой, мучительной жалости. Да еще хорошо, что так обошлось. В этот же день был в нашем доме (у М. А.) Серов[2], посмотрел ее. Температура поднялась. Неделю она не выходила, ушибла все же "пердячью косточку", а могла бы и сломать. Вот М. А. Маклакова как раз в этот день сломала себе бедренную кость. Я всегда считал, что автомобили, камионы и гололедица гораздо опаснее алертов.

Завтра собирается в первый раз выйти. Обнимаю тебя. Верочку целую. Твой Борис.

1. Вас. Жуковский был сын помещика Аф. Бунина и пленной турчанки.
2. Доктор С. М. Серов.

9.III.44.

Дорогой Иван, только что вернулся из Управл. Дел. Русск. эмигр. Принял меня Жеребков, заведующий учреждением. Завтра тебе высылается бумага от Управления на нем. языке, для представления местным нем. властям, которые, по мнению Ж-а, ходатайство твое о въезде в Париж *удовлетворят* — принимая во внимание твою славу, возраст, а также то, что в Париже у тебя собств. квартира.

Жеребков уже ходатайствовал за эвакуируемых с юга и добился отсрочек, а для ниццких инвалидов — и полной отмены эвакуации. Все это я предпринял на свой страх, посоветовавшись только с Верой. Жеребков принял меня оч. любезно и содействие его в дальнейшем, если понадобится, для меня несомненно. Мне кажется, что это правильный путь. Холод у нас в квартире ужасный, с 1-го марта не топят, 8½°. Потому кончаю, руки мерзнут. Обнимаю дружески. Надеюсь скоро увидеться. Твой Борис.

Да еще: это касается тебя и Веры. Говорил и о Зурове, но он сказал, что о нем должен уже ты хлопотать.

27.III.44.

Дорогой дядя Ваня, сегодня Вере попалась твоя открытка, где ты просишь меня передать твои рассказы Тэффи — я и вспомнил, что хотя они давно переданы, а тебе я об этом в свое время не написал. Извини, что сообщаю с запозданием. Впрочем, она наверно написала уже тебе что-нибудь о них[1]. Нынче первый день сижу в комнате без пальто. Весь март мерзли — до 1-го числа отопление было отличное, а потом ничего.

Очень жалею, что не придется встретиться, но, конечно, если там позволяют жить, то трогаться не хочется (в теперешних условиях).

Третьего дня вспомнил о тебе на Quais. У букиниста попалась твоя книга в переводе Шлецера, в отличном сафьяновом переплете, цена 250 фр.! То, что раньше видел из наших с тобой писаний, стоило много дешевле. А на следующем лотке: "Onanisme, seul et à deux, et ses consequences" — целый трактат — 35 фр. — Да, там чего-чего не встретишь! В хорошую погоду

это меня несколько развлекает. Сейчас ищу 3-ий т. писем Флобера, свой собств. "Guirlande dorée" и "Сергия" (французского) — пока ничего не нашел. Когда ищешь что-нибудь определенное, очень трудно! Читаю "Эгерию" Муратова. Очень милая вещь, больше нравится, чем 20 лет назад, в ней частица благородной культуры, ныне разоряемой. Хотя книжка отчасти игрушечная. Что-то от забавы, от маленького театра марионеток. "Натуры", жизненности маловато. Но ведь он особенный какой-то литератор, очень уж книжный. Говорят, в Англии сидит в концентрационном лагере. Все теперь возможно. Когда Парчевский (находящийся в Алжире) посадит меня в конц. лагерь, то самое для меня будет плохое — как ставить клизму? В тамошних условиях, это трудновато. Значит, надо учиться жить без клизмы, а для таких застарелых констипаторов, как мы с тобой, это нелегко.

С "Глебом" продолжаю возиться. Кажется, в этом году кончу — и ведь будет десять лет, как я над ним сижу. Три книжки, но небольших. И потом, знаешь, по-тургеневски: "кладу перо!" "Довольно, довольно..." по твоему другу Достоевскому: "Merçi, merçi!"

Вот и сейчас так же поступаю: ровно полночь.

Обнимаю тебя и Верочку. Твой Борис.

Вера, слава Богу, от "падения" своего совсем оправилась. Целует Вас обоих.

1. В письме от 15.5.44 Тэффи писала Бунину: "...впечатление от книги: она серьезная, значительная, мрачная вся от первого до последнего слова, трагически безысходная".

4.V.44

Дорогой дядя Ваня, давно тебе не писал, а над твоим последним письмом помирал со смеху. Давно уж я заметил, что один ты способен — никак не будучи "юмористом" — доводить меня до гимназического смеха. А как бы я хотел, чтобы ты что-нибудь рассказал, изобразил бы какого-нибудь болвана-мужика (сразу становящегося милым сердцу) — так, чтобы я прыснул со смеху, как во времена Калуги.

Ну, где теперь скоро встретиться! Если бы ты и хотел сюда

заявиться, я не очень бы тебя уж звал. 1-го мая было пять возд. тревог. А в полночь каждый день бомбардировка — если не самого Парижа, то ближ. окрестностей. Д. С. А. грохочет, спать нельзя, сидим всем домом в погребе (чаще всего). Нынешней ночью не спускались. Я отворил окно, издали, как тяжелый горох слышны были разрывы "связок" (chapelets) бомб. Мерзко. Тишина, луна, и в 10 верстах убивают беззащитных людей. Да теперь еще демократы так придумали, что нек. бомбы разрываются с запозданием. Напр. люди засыпаны в подвале, но живы. Их начинают откапывать, в это время рядом взрывается бомба и убивает откапывающих. Следующий "экип" не очень то хочет идти работать в этих условиях. И откапываемые погибают.

Вот. Ну, а если начнется высадка, можешь себе представить, что за музыка получится.

Запасов, конечно, никаких у нас нет — кроме, разве, воды, которую Вера с вечера напускает в ванну. Газ открыт только в опред. часы, т. ч. утром надо кофе варить до 8 ч., и т. п. Зиму в денежном отношении прожили свободно, благодаря "Тургеневу" и "Глебу". К июню проедим последнее и опять начнем худеть. "Глеб" переведен, рукопись была у меня. Переводчик изо всех сил старался, но, конечно, трудновато было передать по-французски, как изъясняется столяр Семиошка "кол ему в хрен", "кол ему в шишку" и т. п. Завтра рукопись должна проходить через комитет, дающий разрешение на выпуск. Издатель сказал, что это первая книга русская, какую они предлагают "цензуре". Вряд ли пропустят, по-моему. И правильно сделают. Лучше подождать конца войны — когда-нибудь он будет же. Вера бодра, хлопочет. На днях, бедная, опять упала, на этот раз вперед, ушибла грудь и бок — поскользнулась на стершейся деревянной подошве. Знакома уже со всем околотком, имеет большой успех. Только недолго им пользоваться — к июню возвращаются Вышеславцевы и мы должны будем отступить в Булонь. Но Булонь сейчас считается более безопасн. местом, т. к. нет вблизи жел. дорог и вокзалов, здесь же мы на границе "опасной зоны" (rue Vaugirard и все за ней к вокз. и путям Монпарнасса). Начинаю перетаскивать книги обратно.

Наташенька тревожится за Андрея, да и мы, конечно: его

могут забрать в Германию, или вообще на работу здесь! Вот еще удовольствие! Вчера более успокоит. известие — будто бы начнут с совсем юных, не так скоро дойдет черед... дай Бог.

Сейчас подали открытку от Галины. Марга два месяца лежит пластом, сильн. ревматизм, от сырого дрезденского "клеймата", будто. Сама же Г. здорова и много работает. Вера из кухни кричит, чтобы я передал ее объятия и поцелуи тебе и Верочке. Я сам так же совершенно поступаю. Когда-то обниму вас обоих как следует!

Господь тебя храни, дорогой мой Иван, будь здоров и бодр, сколько можно.

Твой Борис.

P. S. Вера получила от Верочки письмо, ответит сама.

20.V.44.

Дорогой друг, все четыре рассказа прочтены. Очень был рад. "Чистый понедельник" просто прелесть. По началу чуть вспомнилась Женя Устинова, дальше идет Dichtung, Москва, старина и неумирающая в ней красота — написано с такой живостью и душевной свежестью, что просто удивляешься. Точно тебе тридцать лет! Да, никакой вялости или апатии. Молодец. "Мадрид" и "Второй кофейник" очень милы, девчонки изображены с нежностью. Вообще, это "человеколюбивые" рассказы. Иван, ты оказался гуманистом на старости лет, а раньше любил иногда разоблачать (Алданов выше всего ставит "Петлистые уши". Но уж это типичный взгляд не-арийца на твое писание. Они никогда не понимали в тебе поэта, восхищающегося творением Божиим).

Над нами некоторые тучи — забирают Андрея в Германию. Банк за него хлопочет, чтобы оставили. Но, кажется, это нелегко сделать. Пока дана ему и еще четверым (из 80-ти назначенных) отсрочка до 1-го июня. Банк считает, что эти 5 ему необходимы (состоят при Дирекции), но... Одним словом, ищем всяких ходов, чтоб если и работать ему на войну, то хоть во Франции — ты понимаешь, как Наташа подавлена. Если он в Германию, то и она хочет с ним ехать, а в то же время не уверена, что их отправят на один завод.

Как это все осточертело! Кажется, никогда и не кончится. Вот и сейчас провыла сирена, на улице безмолвие, мальчишки из школы прошли к нам в подвал.

21.V.

Не дали вчера кончить. Под грохот выстрелов и бомб (но не близких) спустились в подвал. Холодно, сыро.

Опять сирена и выстрелы. Допишу ли на этот раз?

Вчера Вера была в Булони: надо туда возвращаться, иначе квартиру реквизируют и мы останемся совсем на бобах. От Вышеславцевых ни звука. Но если они не вернутся, то и эту кв. заберут. Одним словом, все темно и неясно.

Захворала Зинаида (З. Гиппиус, М. Г.). Вроде удара. Плохо двигается рука и, кажется, нога. Видеть ее нельзя. Злобин при ней всегдашним стражем. Думаю на днях зайти к нему, порасспросить. Знаю обо всем от Берберовой, бывшей у него — он принимал ее в кухне.

Кончаю, мой друг. Невесело писать невеселые вещи, да и читать их, наверно. Вера велела нежно тебя поцеловать, и Верочку. Я вас тоже обоих обнимаю, целую. (Не хочется впадать в чувствительность, а тянет к этому).

Твой Борис.

P. S. Успел. Отбой. Значит, пролетели только.

P. P. S. Пиши пока по этому адр. — St. Lambert.

19.VI.44.

Дорогой мой Иван, несмотря на всякие исторические события (осточертевшие вполне), начинаю с мирного и близкого сердцу: как же быть с твоими рассказами? Ты хочешь, чтобы твой "архив" был у меня — очень этому рад и постараюсь всячески все сберечь. "Чистый понедельник" находится у Тэффи и остальные второй группы тоже у ней — я передал по твоему распоряжению. "Во́рона" она мне дала. Условлено так, что эти расск. она возвратит мне. Но первая группа *вся* — у Михайлова, Тэффи отдала ему, так ты ей написал. Так вот: взять ли мне те рассказы у Михайлова, или хранить лишь последние шесть? Напиши. И если все должны быть у меня, то пусть уж Михайлов доставит их мне.

Мы по-прежнему на St. Lambert. В. написал, что пока не собирается возвращаться — да сейчас ехать сюда было бы и нелепостью. Наднях отправились мы в Булонь на прежнюю квартиру. На дверях дома объявление: так как это une Zone trés dangereuse, то предлагают женщинам, старикам и детям по возможности отсюда выкатываться — распоряжение мэрии. Оказывается, анг. сообщили, что будут громить мосты через Сену, от нас есть там недалеко захолустный мост (через него никто почти не ездит) — вот мы и попали в "зону". М. б., и брехня; в сентябре грозились разбить и Quai de Javel, и Булонь, и Курбевуа, и ничего не разбили за целый почти год. Многое делается нарочно, чтобы вызвать волнение и анархию — а там кто их знает, м. б. и бабахнут.

Для нас это сейчас значения не имеет. Зимой же (если доживем) придется туда перебираться. Здесь нет угля вовсе, а там у нас хоть на 2-3 самых холодных месяца хватит. Впрочем, до зимы столько произойдет, видимо, событий, что загадывать рано.

Последние дни стало тише (тьфу, не сглазить!), а то по 5-6 алертов в день уж непременно. И ночью бывало. В большинстве — далекое дело. Все же видали разрывы шрапнелей в небе, сбитые аэропланы и пр. прелести. Все это охотно я отправляю в сердце своем к маме — какой, ты догадываешься.

С едой становится совсем скверно. Молока нет, овощей нет, мяса нет, масло стало пропадать с началом высадки, вина почти нет. Есть хлеб. Газ сократили донельзя, грозят закрыть его вовсе и выдавать soupe populaire. Мы начали опять худеть. Притом: 7-й этаж, при подъемнике это было отлично, а сейчас мерзко.

Была у нас Ляля (Е. Жирова, — М. Г.) — оч. мила. Служит у немцев, но мало получает и мечтает о невозможном. Вера слабовата. Принимает строфант. Дядечка, против меня, через улицу, живет франц. писатель — вот этот строчит! Мне видно, с утра до вечера надраивает на машинке. В роговых очках, здоровенный, рубашка с короткими рукавами — шестеро детей, а фамилия для многосемейного неподходящая: Ив Гандон. Вера говорит, что с таким именем даже неприлично наплодить столько народу.

Андрей в Париже. Видимо, не уедет — вышел какой-то

циркуляр, чтобы банковских служащих не брать. Да за него и Банк, и немецкий офицер при Банке хлопотали.

Дождь, холодно! Дождя — "подай, Господи!" и для хлебушка, и при дожде всегда меньше летают.

Обнимаю тебя, дорогой друг, и Верочку с нежностью. Вера целует. Твой Борис.

15.VII.44.

Милый друг Иван, на днях был у меня Капитан (Рощин — М. Г.) и принес твои рассказы. Теперь все у меня (только "Чистый понедельник" у Тэффи. Я его тоже возьму). Письма твои тоже сохраняю. Жаль, что живем тесно, нет хорошего шкафа, хранить приходится кое-как.

На днях Вере сделали небольшую операцию — на груди у нее был жировик и загноился. Образовался нарыв — огромный, жуткий по виду. Оперировал Дюфур в госп. Неккер, под общим наркозом. Тягостно все это было! Особенно первые часы после наркоза. Дюфур-то сказал, что операция такая у них — пустяк, но ведь они все равнодушны предельно, хорошо им говорить, а для близкого человека все это совсем не пустяк. Наркоз, слава Богу, был какой-то новый, на сердце мало действующий. Все-таки потрясение организма, наверно, порядочное.

Сутки пролежала в госпитале, а потом привез домой. Сейчас оправилась совсем, ходит на перевязки, да и то, видимо, пойдет в последний раз. Но слаба. (Как и ты, я тоже не герой — именно по силам).

Сегодня был в Сергиевск. Подворье, отпевали скончавшегося о. Сергия Булгакова. На Daru в эти же часы отпевали писателя Корсака. Тэффи тоже продала (как и я) книжку рассказов издательству Сорло. Мои обе переведены, но когда выйдут неизвестно, разумеется. Сейчас не до них. Тэффи почти никогда теперь не вижу — так вышло, что не встречаемся. Зинаида неск. оправилась, но видеть ее все же нельзя.

Вот, в заключение — более веселое: Яблоновский женится. Я почему-то всегда называю его Чиркин (так, в своем сердце: он для меня Чиркин). А вот он и размахнулся своим "аргументом". (Сестра Веры, Надя, называла почему-то член аргументом).

Впрочем, брак этот более хозяйственный, чем эротический: невесте 57 лет, она хоть и девушка, но видимо будет при нем более как сестра милосердия — да и по кухонной части. Он, разумеется, здоровьем не крепок. Как бы то ни было, первая реакция на известие это у всех — улыбка. Но он в таком восторге от себя самого и всего, что делает, что этой улыбки не чувствует. Вера знает немного невесту. Говорит отличная, жертвенная девушка. И тоже очень одинокая. Вот и будут две одиночки вместе.

В Бюсси нынче не едем, хотя званы. Невозможно, по-моему. Жить осталось, конечно, немного, и хорошего ничего впереди не вижу, все-таки сразу подставлять себя под бомбы, аэропланы, пулеметы и пр. — невесело. Не можешь себе представить, что творится на дорогах вокруг Парижа! В. Б. (Ельяшевич, М. Г.) все-же собирается. Не знаю, удастся ли ему.

Обнимаю тебя, дорогой мой Иван. Господь тебя храни, целуй Верочку. Твой всегда Борис.

P. S. Рад, что у Вас (пока) спокойно.

25.VII.44.

Дорогой мой дядечка, вчера — твое письмо, очень нас расстроившее. Ну, что это за жизнь! Прямо беда. Неужели же нельзя никак освободиться? Просто неслыханно. Тебе нужен покой, любовь, ласка, и вдруг... нет, писать дальше не хочется, впадаю в раздражение — и чувствую бессилие: что я могу сделать?

Мое предыдущее письмо ты, наверно, теперь получил и об операции Веры знаешь. Все благополучно прошло и она давно уже дома. Но, конечно, сил мало. Насчет стрельбы не тревожься — пока ничего особенного. К алертам привыкли, даже Вера теперь к ним равнодушна (вот сейчас как раз гудит отбой, а за неск. минут до того шла сильная трескотня, истребители носились, "как с цепи сорвавшись"). В воскресенье впервые не было вовсе метро — по воскр. теперь оно не ходит. Электричество зажигают в 11 ч. веч., т. ч. последн. час сидим (второй день уже так) в темноте. Но чем дальше пойдет осень, тем эта пещерная жизнь будет все сильней чувствоваться. Главное опасение: могут

вовсе закрыть газ. Тогда, знаешь, как в тюрьме: хлеб да вода. Общественные эти супы такая гадость, что и в рот не возьмешь! О чем говорить, когда в госп. Неккер Веру кормили так, что она почти ничего есть не могла. Вообще о зиме лучше не думать. Да мы мало и думаем, по правде сказать. Я теперь вообще ко всему готов: болеть так болеть, умирать так умирать. Меньше всего хотел бы попасть в лапы к сволочам — но там все равно скоро помрешь.

А пока что лечусь. Раз в неделю мне делают впрыскивания. Это, чтобы предстательная железа не росла. Чтобы операции избежать. Может быть, и избегну. Но представь себе условность жизни: приходит интеллигентная дама, мы разговариваем об о. Сергии Булгакове (скажем), она в это время промывает шприц, набирает в него нужную кляповину (вытяжку из яиц каких-нибудь кроликов или крыс), я же покорно расстегиваю штаны и, обнажая зад, ложусь ничком. И она с великим хладнокровием вонзает мне булавку прямо в жопу! Вообрази, если бы я в гостиной спустил брюки и показал бы ей зад? А тут все хорошо спокойно... с внешней стороны (Остается все же чувство маленького унижения!) Что делать! При операции еще хуже. Вышеславцев рассказывал, как равнодушно молоденькие энфирмьерки[1] переворачивали ему, при промываниях, самые непричинные места — не то, что общий пейзаж моего зада, которым ограничен кругозор Доры Павловны.

Милый друг, у меня твоих рассказов 15 №№, а ты прислал список — там 50. Но я остальные не получал.

Обнимаем оба, целуем нежно, тебя и Верочку. Борис.

P. S. Насчет "живительной влаги" могу только завидовать. И по-моему надо не "немножко", а как следует. У нас с этим очень плохо.

1. Сестры милосердия (infirmieres).

28.X.44.

Дорогой друг, вот наконец можно написать тебе по-человечески! Понемногу жизнь тут вообще налаживается (говорю о поверхности ее, быте): дали электричество, газ, на улицах

вечером стало неск. светлее — вот такие штуки, которые уже радуют. Вообще Париж сейчас живей. Появляются новые люди, получаем новые письма. Вчера обедал у нас лейтенант Gabriel Mouratov, из Марокко. Приехали Аминадо, Долгополов, Михельсон. Из Лондона письма от Элькина, Яльмара (это внучат. племянник Веры, сын Машеньки Полиевктовой — норвежец, сбежавший от немцев в Англию).

Подумываем о дне, когда с тобой, с Верочкой можно будет в Париже чокнуться — к тому времени вино уже будет (сейчас его нет: в бистро стаканчик маленький дернешь — 12-14 франков. А дома вина не видали с июля).

Имей только в виду, что с топливом плохо. Угля в Париже совсем нет. Зимы все боятся. Газеты пишут, что на выдачу частн. лицам зимой нельзя рассчитывать. А проезд? Долгополов ехал четверо суток встоячку. Где же это тебе проделывать! Очень грустно, и кажется, спешить не приходится.

Мы находимся в "маневрировании". На днях переезжаем в Булонь, там осталось немного угля, можно будет ноябрь и часть дек. держаться. С половины дек. опять сюда — тут консьержка ухитрилась с весны запастись углем на 2 мес. топки. Значит, до половины февраля здесь центр. отопление. А там опять на rue Thiers — и уже окончательно.

Я теперь больше люблю Булонь, чем эти места. Тут много пришлось видеть тяжелого, дядечка, когда встретимся, то поговорим вволю! А писать трудно.

Письма твои получены все, разных времен. Одно из них очень, очень нас взволновало, ну, да об этом тоже при свидании... Во всяком случае ты знаешь, как мы тебя оба любим. Этим главное сказано.

А ведь от Марко Богатого (Алданова, М. Г.) слушок — он и Федотов собираются возвращаться (из Америки, М. Г.). Вот мы с тобой и с ним, однажды в весенний парижский вечер и хлопнем чего-нибудь на террасе кафэ! К тому времени, уж надеюсь, подвезут нам reconfortant из южных краев. И пусть Марко говорит свои любезные вещи под коньячок ("Иван Алексеевич, ваше гениальное произведение". "Борис Константинович, в Америке очень интересуются вашим "Глебом"...).

Знаем мы, как в Америке интересуются, а все же "Глеба"

этого я кончил. Дописывал под треск пулеметов, ружей, всякой дряни. (Вернее сказать: переписывал конец — вчерне было уже сделано). Значит

"Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний".

А сейчас занялся родственничком твоим, Жуковским. Мне приятно, что он вовсе не Жуковский, а Бунин, и о Белеве этом я с детства знаю — одним словом, все свое. Собираюсь о нем писать, вроде как о Тургеневе — но, кажется, более панегирически (особенно как о человеке): поживем, увидим. Книг здесь маловато, для этого надо бы отправиться в *Пе-тер-бург*. Не так то легко.

Теперь семейный отчет: Вера, слава Богу, бодра. После операции вполне оправилась. Разумеется, нервный был конец августа (вернее — весь август), все мы похудели тогда, теперь понемногу отходим. Наташа работает 2 раза в нед. в Маклаковском ком. по отправке посылок в Дранси, арестованным русским. Начала давать уроки русского языка. Андрея — слава Богу! — тогда не услали в Германию, а на волоске дело было, и перед самым шапочным разбором. Вообрази, какая радость была б для Н. и для нас и для него, если б он обтачивал сейчас какие-нибудь кольца к снарядам в Дюссельдорфе или другом подобнокляповском месте! За него тогда много молились Николаю Чудотворцу, и молебен у нас служил о. Киприан — в последнюю минуту спас, уже день отъезда был назначен и четверо банковских уехали, а ему пришла отсрочка. (Две недели он с Нат. жил у нас в Булони, вроде как в maquis, потому что и отсрочка кончилась, его могли опять взять, но тут уж подошли "события" и стало не до того немцам).

От Верочки письмо к именинам моим дошло только теперь, очень целую ее и благодарю, прекрасно она написала о Преображении, мудро и живо. О. Киприан кончает огромный труд о св. Григории Паламе, это был богослов византийский 14-го века, писал именно об этом, о преображении человека, свете Фаворском. О. Киприан тоже оч. любит праздник Преображения.

Итак, довольно. Старик заболтался. Да, еще: Муратов Павел жив, в Лондоне, пишет на разн. языках и о разном (диапазон: от описаний частных коллекций до войны немцев с

советами). Но *болен*. Болезнь сердца. Это, я считаю, дело серьезное и грустное.

Обнимаю вас обоих, дорогие мои, надеюсь обнять (более или менее скоро) и в действительности. Вера целует нежно. Ваш Борис.

P. S. Пиши, пожалуйста. Рассказы твои все теперь у меня.

МЕМУАРЫ ДВАДЦАТИЛЕТНЕГО МУЗЫКАНТА

Хайтарма

Не всегда случалось получать гонорар за мои концертные выступления. Бывали и такие случаи, когда не полагалось отказываться от бесплатного труда. В моем архиве уцелела любопытная бумажка: "Малолетнему скрипачу Гольдштейну. Уважаемый тов. ... Комиссия БИП'а по устройству вечера 6/III с. г. в помещении клуба милиции (Театральный пер., 12), посвященного Международному женскому рабочему дню, просит не отказать в любезности принять безвозмездное участие в устройстве концерта. В надежде на Ваше согласие, заранее выражаем нашу благодарность. Председатель комиссии (Ал. Светлов), секретарь (Винокуров)". На бумажке — печать, но она уж выцвела. Можно только разобрать, что документ относится к 1927 г. Что такое БИП не могу догадаться. Какие только сокращения не придумывали в то время. Хорошо помню, что моя мамаша, увидев эту бумажку и подписи Ал. Светлова и Винокурова, сказала: "придется играть безвозмездно, я этих людей хорошо знаю, они нас спасали". Словом, встал лишь вопрос об аккомпаниаторе. Но работники клуба милиции быстро нашли аккомпаниатора и привезли его ко мне на квартиру. Это был старый педагог одесской консерватории. Он тоже был вынужден выступать безвоз-

---

См. кн. 145 "Н. Ж."

мездно. Репетиция прошла молниеносно. Аккомпаниатора увезли. И на следующий день мы успешно музицировали в роскошном помещении, которое оказалось в распоряжении органов милиции.

Помню, сперва была официальная часть и распухшие от переедания дамы произносили речи во славу партии. В зале были уставшие от неправедных трудов сотрудники милиции и ЧК. У некоторых звериный оскал лица, словно у хищников. Даже испугаться можно. Трудно сказать скольких людей пустили они в расход. Помню, я испуганно сказал матери, что не хочу играть. Но мать сказала: "я тебя понимаю, сама их ненавижу, но ты не думай о них, играй для меня". С таким настроением и вышел я на сцену. В этом концерте безвозмездно выступали лучшие артистические силы города и длился он бесконечно. Так и не дождался я конца концерта. Придя домой, мать рассказывала отцу, что убийцы любят классическую музыку. На вопрос что такое БИП, мамаша спокойно ответила: бандиты и палачи! Но отец предложил более мягкое толкование: бездельники и паразиты. Мать возражала: "какие же они бездельники, если днем и ночью людей пытают и убивают, да еще их надо бесплатно развлекать. Разве у них нет денег? Отделываются какими-то справками и бумажками, а на них ни кусочка хлеба не купишь".

На следующий день снова пришлось бесплатно играть и снова в клубе милиции. Мое выступление понравилось. Не могу сказать, чтоб в Одессе в то время не было малолетних скрипачей, но я был самый юный и самый темпераментный. По каким-то причинам мне отдавали предпочтение. В клубе милиции затеяли праздничный концерт в честь 8-го марта и женщин. Отказать "милой милиции" нельзя. А время было трудное. Мои родители не имели торговых способностей и не смогли стать нэпманами. Жалованье было недостаточное. Жили на два дома, помогали сестре в Москве.

В это время к нам заявился один пианист по имени Иоганн Бах. Он происходил из немецких колонистов. Близ Одессы были богатые немецкие колонии Кляйн-Либенталь, Гросс-Либенталь, Люстдорф и др. В Одессе долгое время сохранялись наименования — Немецкая улица, Лютеранский переулок. Да еще напротив консерватории была немецкая кирха, где играл на

органе Теофил Рихтер, отец известного пианиста Святослава Рихтера. Многие обрусевшие немцы меняли свои имена и фамилии. Так, известный в прошлом столетии певец Готфрид Готфридович Геринг стал Богомир Богомирович Корсов. А в наше время певец Ганс Краузе превратился в Ивана Петрова. Такая кличка показалась удобнее для солиста Большого театра. Был в Московской консерватории виолончелист Александр Пятигорский, родной брат Григория Пятигорского, а Григорий Пятигорский эмигрант. И стал Александр Пятигорский Стогорским. Был он хорошим виолончелистом, но до своего брата не дотянул. Вот и в наше время появилась новая балерина Павлова. Правда, зовут ее не Анна, а Надежда. По национальности она, кажется, чувашка. Или еще есть в Москве композитор Борис Чайковский. Хороший композитор, ничего не скажешь. Но когда по радио или в открытых концертах объявляют исполнение его произведений, приходится непременно указывать имя Борис, а то еще его произведения припишут великому Петру Ильичу Чайковскому.

Но Иоганн Бах, с которым я познакомился в 1927 г., вовсе не желал менять имя и фамилию. Правда, как он признавался, композитор из него не получился, но это не беда, Иоганн Себастьян Бах достаточно много хорошей музыки сочинил и лишил возможности дальнейших композиторов воспользоваться удачными мелодическими комбинациями. Современный же Иоганн Бах оказался ловким устроителем концертов и умел зарабатывать большие деньги. Он заинтересовался мною, много слышал. А теперь решил меня пригласить на один домашний концерт, где платят хорошие деньги. Этот концерт должен был состояться в одной крестьянской немецкой семье. Там затеяна свадьба и гостей хотят угостить хорошей классической музыкой. Так мы направились в одну немецкую деревню близ Одессы. А в этой деревне чистенькие и аккуратные дома, много фруктовых деревьев. Как раз они цвели и наполняли воздух ароматом. Мы вошли в двухэтажный дом. Никак не скажешь, что он в деревне. Здесь самые настоящие городские удобства. В огромной комнате висят картины, множество книг. В центре комнаты рояль. Вот, недавно, пригласили меня в Гамбурге на один домашний концерт. Многое здесь мне напомнило домашний

концерт в немецкой деревне близ Одессы. Даже не заметил разницы в обстановке. Но в 1927 г. мне все здесь показалось необычным. Прежде всего, угощение обильной едой. Гости были прекрасно одеты. Говорили, преимущественно, на немецком языке. Я играл им ми-мажорную сонату Иоганна Себастьяна Баха для скрипки и фортепиано в сопровождении Иоганна Баха. А потом сыграл сонаты Моцарта и Бетховена. Обстановка была самая радушная, музицирование доставляло большое удовольствие. И хозяева щедро расплатились деньгами. Это не клуб милиции, где дамы увешаны тяжелыми золотыми изделиями, а мужчины вынимают папиросы из чужих золотых портсигаров, а артисты должны их бесплатно развлекать.

Вскоре Иоганн Бах предложил мне концертное турне в Крым. Родители дали согласие. Но мне предстояло разучить несколько произведений, которые были необходимы для крымской публики. Прежде всего — Хайтарма. Это народный танец крымских татар. Армянский композитор Александр Афанасьевич Спендиаров, живший в Крыму, глубоко интересовался фольклором крымских татар. Он делал записи народных песен, много сил отдал развитию музыкальной жизни в Крыму. Большой интерес представляют две сюиты Спендиарова для симфонического оркестра — "Крымские эскизы" (созданы в 1903 и 1912). Спендиаров также обработал для скрипки и фортепиано народный танец крымских татар "Хайтарма". Иоганн Бах дал мне ноты "Хайтармы" и я быстро разучил этот танец. Как сейчас его помню. Сперва на фоне тремолирующей ноты на фортепиано звучит грустный напев. Потом следует виртуозная каденция. Затем самый танец. (Когда написал эти строки, взял в руки скрипку и до единой ноты припомнил "Хайтарму"). Еще помню, что в 1948 г., из какого-то особого чувства, я осмелился несколько раз сыграть в своих концертах "Хайтарму" Спендиарова. Правда, объявлял ее публике, как восточный танец. Но стоило бы мне сказать, что это танец крымских татар и можно было ожидать наказания. Ведь крымских татар выселили с родной земли и отправили в такие места, где им было уготовано вымирание. Дикая расправа над неповинным населением, над детьми и женщинами, является истинным лицом советской власти. Но в 1927 г. крымские татары имели

свою автономную республику, города и поселки сохраняли национальные названия, издавались газеты и журналы на родном языке и процветало народное искусство.

Иоганн Бах имел импозантную внешность. Вероятно, ему было не менее 70 лет. Его седая голова была покрыта серебристыми локонами. Что-то в облике напоминало великого Баха. Иоганна Баха величали профессором, либо товарищем. Не знаю, где ему присвоили звание профессора, но внешний его вид вполне соответствовал этому званию. Но когда произносили "товариш Бах", мне это казалось незаслуженной обидой. Не годился он в товарищи. Да и никаких революционных заслуг не имел. Наоборот, он иногда рассказывал о своих дружеских отношениях с бароном Врангелем. Интересно было послушать его воспоминания. Кого он только не знал! С Глазуновым и Рахманиновым был на "ты", дружил с Короленко и Чеховым, Айвазовским и Репиным. А еще во время своего пребывания в Австрии, был приглашен в гости к самому Брамсу. Иоганн Бах заключил специальный договор с моими родителями, по которому обязался платить за каждый концерт солидную сумму. Даже дал денежный аванс. В назначенный день мы отправились в одесский порт. Здесь нас ожидал красавец-пароход. Конечно доставшийся от царского времени. Пароход был переполнен, но я с "товарищем Бахом" устроился в удобной кабине. Быстро добрались в Ялту. "Товариш Бах" здесь не раз бывал и имел большой круг знакомых. В городе висели плакаты извещавшие о гастролях малолетнего скрипача. Да еще было приписано: "спешите видеть". Действительно надо было спешить, ведь я был уже на пороге своего десятилетия. Не так долго мне оставалось считаться малолетним. Но на плакатах меня величали 7-летним виртуозом. Не очень мне это нравилось, но "товарищу Баху" было виднее. Билеты быстро раскупались. Концерт открылся мимажорной сонатой Баха. Глубоко убежден, что часть публики была уверена в том, что мне аккомпанирует автор этой сонаты. Правда, в какой-то газетной заметке, конечно, не в Ялте, "товариша Баха" назвали одним из сыновей великого Баха. Со стороны "товариша Баха" не последовало опровержения. В Ялте я познакомился с Марией Павловной Чеховой, родной сестрой писателя. Она хранила в неприкосновенности дом ее знаменито-

го брата. Мария Павловна с удовольствием рассказывала о музыкальности своей семьи, один из ее братьев хорошо играл на виолончели. Еще она вспоминала, что студенты московской консерватории были частыми гостями ее любимого брата Антона Павловича. Рассказала, что Антон Павлович любил говорить, "ожидаются в гости консерватóры, подарят хорошую музыку". Много рассказывала Мария Павловна и о Рахманинове.

Кроме Ялты наши концерты были в Симферополе, Севастополе, Евпатории, Феодосии, Ливадии, Алупке, Бахчисарае и в других местах. Много играли в санаториях. А это были особые санатории, для здоровых людей. Скажем, если кто занимал высокий пост в армии или в милиции, или в разных советских учреждениях, ему и полагалась путевка в санаторий, чтобы пожить на всем готовом. А сколько было в Крыму больных туберкулезом! Для них не полагалась путевка в санаторий. Еще могут заразить здоровых и упитанных людей. Вот и приходилось им скитаться по частным квартирам и беспомощно ожидать приема у врачей, которые лечили лишь здоровых людей.

Неизменно в своих программах я играл "Хайтарму" Спендиарова. Помню однажды во время моей игры группа пожилых татар вскочила с места и, подойдя к сцене, стала приплясывать. Успех был невероятный. Кричали "бис" и требовали повторения. Публика не унималась и снова я сыграл "Хайтарму" и ее приплясывали лихие старички. "Товарищ Бах" включил в свою программу "Турецкое рондо" Моцарта и под него также плясали. Да еще прихлопывали в такт музыки. Мне говорили, что язык крымских татар очень близок к турецкому. А однажды меня познакомили с одним крымско-татарским писателем и он мне говорил о разнице между турецким и крымско-татарским языком. Практически получалась не очень большая разница. Он читал мне свои мелодичные стихи. Я не понимал ни одного слова, но стихи казались мне музыкой. Запомнил из его стихов слова "кара дениз". Это означает Черное море. Он показал мне коран, который был написан от руки и украшен золотом и серебром. Это был подлинный шедевр искусства, удивительная красота шрифта и рисунка. Этот коран, как сказал мне писа-

тель, был нарисован в XIII веке. Потом этот писатель показал мне мечеть, рассказал об ее истории. С ним же я поехал осматривать Бахчисарайский фонтан. А еще мы зашли в один ресторан и там подали чудесные чебуреки. С того вечера я хотел есть только чебуреки и не признавал никакой другой еды. Однажды в каком-то ресторане я вынул скрипку и стал играть "Хайтарму". Мне аккомпанировали крымско-татарские музыканты из ресторана. Успех был огромный. Впрочем, я не постеснялся здесь в ресторане сыграть и "Прелюд" Баха из его ми-мажорной партиты для скрипки соло. И снова успех. Правда один из музыкантов сперва собирался мне аккомпанировать на бубне, но вскоре понял, что можно обойтись без такого сопровождения. На следующий день в этом городке был объявлен мой концерт. Говорят, что музыканты из ресторана попросили отпуск, чтобы присутствовать на концерте. Я их увидел, когда играл на "бис" Хайтарму. Они поднялись на сцену и мне подыгрывали. Более трех недель я пробыл в Крыму. Насмотрелся всего вдоволь. Вот только крымских вин не пробовал. "Товарищ Бах" не допустил такого совращения. В моих чемоданах было множество подарков: изделия из ракушек, расписные камни, старинные монеты, фотоальбом. Но всего дороже было для меня чувство радости, которое я испытал от встреч с гостеприимными крымчаками. Это невозможно забыть.

Концерт в тюрьме

Обычно в 6 часов утра я покидал мою постель. Еще до завтрака успевал взять в руки скрипку и полчасика поиграть. Потом отправлялся в школу. Но там, как правило, не досиживал до конца последнего урока. Рядом со мной на парте лежит скрипка. Это означает, что я должен торопиться на урок к Столярскому или на репетицию в консерваторию. Несмотря на мой малолетний возраст меня приняли полноправным студентом консерватории. Уж раз в Москве разрешили, то и в Одессе не стали возражать. Лишь освобождали от посещения политических предметов. Но иногда мне приходилось присутствовать на студенческих собраниях и даже однажды заставили выступить. Нашлась высокопартийная студентка, которая обвинила

руководство консерватории в чрезмерном внимании ко мне. Эта студентка кричала: "Кого вы воспитываете? Хотите из него сделать буржуазного сынка? Он совершенно оторван от общественности, не интересуется политическим образованием, плюет на общественность!" Я попросил слова и прямо сказал: "Зачем вы обманываете других и себя? Много времени у меня отнимает школа, да еще надо несколько часов заниматься на скрипке. Но это не значит, что я не интересуюсь политикой и отказываюсь от общественной нагрузки. Я много и бесплатно выступаю в концертах, делаю то, что могу по своим силам и по возрасту. А что делаете вы? Только языком чешете. Я слушал недавно ваше выступление в студенческом концерте. Пели вы плохо, орали как недорезанная курица. Не понимаю, зачем вас держат в консерватории и еще тратят на вас деньги". Мое выступление вызвало всеобщий смех и аплодисменты. Студентка была посрамлена. Вскоре был приказ об ее увольнении из консерватории. После этого случая меня постоянно звали на студенческие собрания, даже на партийные приглашали. Говорили, что я говорю по существу и умею "разворачивать критику и самокритику".

Была у меня склонность сочинять стихи. Иной раз получалась ерунда и стыдно было кому-нибудь показать. А бывало, что выходило не так уж плохо. Сюжеты для моих стихов подбирались случайно. Помню, однажды проходил по улице и увидел слепого певца. Возле него собака. Вокруг певца толпа людей. Он пел арию Ленского из оперы "Евгений Онегин". Да как пел! С таким голосом можно было большую карьеру сделать, стать знаменитым оперным певцом. Но он был слепой и никто не помог ему найти свое место в жизни. Вот и пошел он на улицу просить милостыню. Я слушал его с волнением. Слезы покатились по моим щекам. Неожиданно раздался свисток милиционера и пение было прервано. Толпа людей разбежалась, а певец беспомощно стоял и не знал, как найти спасенье. Его собака бросилась на милиционера, но раздался выстрел и собака была убита. Подбежали несколько милиционеров, скрутили слепого и стали беспощадно бить. Потом увели, вероятно, в тюрьму. Это происшествие глубоко меня взволновало. Я рассказывал об этом моим знакомым, но они пожимали плечами и говорили, что при советской власти это в порядке вещей, таким образом ведут

борьбу с нищими. Меня возмущало хладнокровное отношение к судьбе человека, особенно слепого. Разве нельзя было ему помочь? Конечно можно было. Но почему его не спасли? Почему он должен был выйти на улицу петь? Всю ночь я думал об этом несчастном певце, ни на минуту не сомкнул своих глаз. А на рассвете решил рассказать об этом происшествии в стихотворной форме. Свои стихи я назвал "Балладой о слепом певце". Эти стихи случайно сохранились, их сберегла моя мамаша. Потом она мне их вернула. Вот текст этой баллады. Сохраняю стихи в неприкосновенности:

Стоит средь улицы певец
И песню грустную поет.
И от отзывчивых сердец
Наивно благодарность ждет.
Не видит никого вокруг —
Глаза не знают белый свет.
Пред ним собака, верный друг,
И больше никого на свете нет.
А слезы по щекам катились,
Орбиты глаз для них тесны.
Куда, куда вы удалились,
Златые дни его весны!
Из оперы явился Ленский
С предсмертной арией своей.
Не знал он счастья, ласки женской,
Не видел он счастливых дней.
Какой прекрасный, чистый голос
Ему природа создала!
Заткнул бы всех певцов за пояс
И слава б по свету пошла!
Он хочет петь! Он хочет жить!
И голосом своим волшебным
Он жаждет музыку творить,
Дарить напев свой задушевный!
Но вдруг свисток прервал мотив.
Прервал на полуслове пенье.
Певец не видит путь спасенья,

Не может никуда уйти.
Исчезло стадо человечье
Никто певца не отстоял.
Лишь верный пёс, грозя увечьем,
Бесстрашно на врага напал.
Раздался выстрел. Пса убили.
И на певца курок взвели.
Безжалостно слепого били
И в ад кромешный увели.

Эта баллада очень понравилась моему отцу. Но мать не очень разделяла восторги отца и считала стихи политически опасными. Помню ее слова: "такие стихи надо было писать 20 лет назад и они могли бы иметь успех. А сейчас совсем другое время, еще припишут контрреволюцию". Но брат моей матери, дядя Гриша был иного мнения, он считал, что стихи надо показать одесскому поэту Эдуарду Багрицкому. Как раз в то время Эдуард Григорьевич Багрицкий привлек всеобщее внимание своей поэмой "Дума про Опанаса". Дядя Гриша взялся устроить свидание с Багрицким. О моем "умении" сочинять стихи узнали в консерватории. А там готовили очередную стенную газету (стенгазету), посвященную проводившейся в Одессе "неделе обороны". Мне предложили что-то сочинить. Не долго думая, я написал:

Стран Запада вороны
Над СССР витают.
Неделю обороны
Одесса отмечает.
Но нас не запугаешь,
Прицел наведен точный...

Дальше что-то в этом роде. Стихи висели на стене и под ними была моя подпись. Кто-то, желая мне сделать комплимент, заявил, что эти стихи совсем в духе Демьяна Бедного. С такой оценкой вполне можно было согласиться.

Известно, что в Одессе выработалась своя специфическая речь, не всегда соответствующая правилам русской грамматики. Да и одесское произношение, с неверными слоговыми акцен-

тами, давало повод для насмешек. В одесском жаргоне бытовали какие-то непонятные слова, заимствованные из неизвестного языка или придуманные. Вспоминается одесская поэтическая шутка, которая по-своему копировала рекламные стихи Маяковского:

Если хочешь сил моральных
И физических сберечь.
Пейте соков натуральных
Укрепляет грудь и плеч!

Мое композиторское творчество в основном касалось инструментальной и бестекстовой музыки. Но у меня были попытки написать песни и романсы. Меня увлекали стихи Ахматовой, Есенина, Мандельштама, Гумилева. К агиткам, которые печатались в газетах, я относился с явным подозрением, считая, что им никакой музыки не нужно. Достаточно их читать под удары барабана. Такие мысли я высказывал не раз и не всегда встречал сочувствие. А некоторые ругали моих родителей за недостаточное внимание к моему политическому воспитанию. Но о каком политическом воспитании могла быть речь, если я уже научился многое понимать. Никогда не забуду, как явился к нам один организатор праздничного концерта и стал меня расспрашивать о моем репертуаре. Он прямо поставил вопрос: "А кто автор сонаты, которую ты играешь? Не является ли он белым офицером?" Не сразу мне удалось убедить его, что Шуберт никогда не был белым офицером. Другое дело с "Восточной мелодией" Цезаря Кюи. Известно, что он царский генерал. Никакого значения не имеет, что он был выдающимся специалистом в области фортификации. Кличка "царский генерал" преграждала путь для исполнения его "Восточной мелодии". И еще я должен был рассказывать, что выражает эта музыка? Нет ли в ней какой-либо шифровки? Был в Одессе ужасный скандал с исполнением симфоническим оркестром торжественной увертюры Чайковского "1812 год". Там проходит в качестве одной из тем музыка гимна "Боже, царя храни". Кто-то это заметил и подняли страшный шум. Не хотели верить, что сам Чайковский включил эту тему в свою увертюру. Обвиняли дирижера в фальсификации и ему пришлось понюхать одесскую

тюрьму. Теперь мне надо было объяснять, что тема исполняемых мною произведений вполне соответствует духу революции и там даже нет намека на гимн "Боже, царя храни". На всякий случай составитель программы взял у меня ноты и с видом знатока стал их внимательно просматривать. Остановившись на каком-то месте, он просил спеть ему мелодию. Сам он вовсе не знал нот. Меня это забавляло и я напевал неверные мелодии. Некоторые сам придумывал. Политическое испытание моего репертуара прошло с успехом. Мне разрешили исполнять мою программу, но за исключением "Восточной мелодии" Кюи.

Дядя Гриша не унимался в своем желании устроить мне встречу с Багрицким и сумел ее организовать. На всякий случай мне было предложено взять с собой скрипку, чтоб убедить поэта в моих музыкальных способностях. Как сейчас помню тесную комнату Багрицкого, переполненную книгами. Даже на стульях они лежали целыми стопками. Пришлось одну из стопок положить на пол, чтобы освободить стул. Но стул, повидимому, не был предназначен для своей прямой цели. Только уселся на него дядя Гриша, он сразу же развалился. По этому поводу я сказал экспромт:

Ревнивый стул обиды не простил
и за измену он жестоко отомстил.

Багрицкий рассмеялся и в шутливой форме мне сказал: "я вижу твой талант, ты далеко пойдешь, если милиция тебя не задержит". Но я не остался в долгу и отпарировал: "Не раз я сам задерживал милицию своими концертами в клубе милиции". Эдуард Григорьевич нахмурил брови, посмотрел на меня злыми глазами, а потом засмеялся. Дядя Гриша посоветовал для начала что-нибудь сыграть на скрипке. Я набрался храбрости и сказал:

Всегда готов водить по струнам
Хвостом послушного коня.

После этих слов была минутная пауза. Затем я стал играть. Багрицкий сел в угол и закрыл глаза ладонью. Я сыграл "Адажио" Баха из его первой сонаты для скрипки соло. Потом сыграл оттуда же фугу. Багрицкий просил еще играть. Мне

оставалось сыграть из той же сонаты "Сицилиану" и "Престо". Потом Багрицкий встал со своего кресла и, обняв меня, сказал: "Спасибо за музыку Баха, она вторгается в душу без страха". Что-то еще он придумал. Но я не запомнил. Багрицкий припомнил, что читал обо мне заметку в газете, которая называлась "Мальчик с улицы Троцкого". Была такая заметка, я ее помню, но не сохранил. Писали там всякие глупости. Мне стыдно было кому-нибудь ее показывать. А Багрицкий ее почему-то запомнил. Мне лишь оставалось признать, что я жил на улице Троцкого. Зашел разговор о Троцком. Багрицкий его лично знал, не раз с ним встречался. Он высоко его ценил и почитал. Но теперь, как выразился Багрицкий, "намордником прикрыли Льва, стальными прутьями избили". Это уже был явный намек на победу Сталина над Троцким. Багрицкий показал несколько писем, которые он получил от Троцкого и его родной сестры. Падение Троцкого уже стало очевидным и необратимым. Только думали, сколько времени он еще продержится на свободе. Троцкого лишили правительственных постов, но, по сути говоря, никто не знал в чем его вина. Не могу утверждать, что Троцкий пользовался "всенародной любовью". Его считали кровавым палачом и деспотом. Ему не могли простить убийства невинных людей. Но что можно было ожидать от Сталина, если сам Ленин предупреждал об опасном характере новоявленного вождя. Беседа затягивалась, а Багрицкий еще не прочитал мои стихи. Да как-то было не совсем удобно прервать беседу и попросить прочесть мои стихи.

Но раздался звонок. Явилась милая, моложавая женщина в огромной шляпе. Ее шляпа была насквозь промокшей, а платье совсем сухим. Это не ускользнуло от Багрицкого и он заметил, что нынешние дамские шляпы успешно заменяют зонтики. Говорили, что Багрицкий: вроде бы, нелюдим, не любит разгульную жизнь в компаниях, предпочитает уединяться... с хорошенькими женщинами. Теперь было не совсем ясно, как долго можно оставаться у него. Не пора ли уйти? Но Багрицкий неожиданно предложил мне снова поиграть на скрипке. Что же сыграть? Решил исполнить "Хайтарму" Спендиарова. Мне очень она нравилась. Багрицкий неистово хлопал в ладоши и кричал "браво"! В выражениях восторга не отставала и его гостья. Еще заставили

сыграть что-то из Баха. Потом дядя Гриша предложил Багрицкому посмотреть мои стихи. "Ах так, значит малыш заболел рифмами", — заключил Багрицкий, — "сейчас мы его вылечим". Багрицкий нарочито плохо читал мои стихи. А в одном месте даже сделал вид, что "утирает слезы". Дочитав до конца, Багрицкий вдруг, подчеркнуто злым тоном, спросил,"кто помогал мне в составлении этих стихов?" Он не верил, что я сам все сочинил. "Так в наше время писать нельзя", — заметил Багрицкий, — "давно миновало время мещанских размышлений! Нельзя нападать на нашу милицию. Она верно служит народу и партии и честно выполняет свои обязанности". Дядя Гриша немедленно взял стихи из рук Багрицкого. Дама со своей стороны начала ругать стихи, называя их пошлыми и буржуазными. Вскоре мы попрощались с Багрицким, предоставив ему уединиться с дамой в шляпе. Идя по улице дядя Гриша признался, что обратившись к Багрицкому, он попал по неправильному адресу. Я перенес свое поражение довольно легко, попросту почувствовал необходимость прекратить свои поэтические упражнения.

Заработки моих родителей были ничтожны. Отец вынужден был стать бухгалтером, а мать стала делать массажи. Да еще надо было помогать старым бабушкам. Благо профессор Столярский понимал наше семейное положение, он отказался от оплаты уроков у него и не возражал против моих частых выступлений в концертах. В консерватории мне дали смехотворно низкую стипендию. Согласно учебному плану я должен был посещать занятия у Столярского лишь раз в неделю. А фактически я приходил на урок через день. На следующий день, после визита моего к Багрицкому, к нам явились двое в милицейской форме. Что они хотели? Оказывается, они приглашали меня в тюрьму... для участия в концерте. Мать наивно поинтересовалась: "неужели вы надумали развлекать заключенных музыкой?" Но "рыцари" в милицейской форме вежливо ответили: "концерт исключительно для сотрудников тюрьмы". "Значит, надо играть для тех, кто сторожит заключенных?" — спросила мамаша. "Конечно для них, они вполне заслужили культурный отдых", — последовал ответ. Мамаша напомнила, что все служащие тюрьмы получают заработную плату, да еще прекрасные продо-

вольственные пайки, поэтому следовало бы уплатить деньги и за мое концертное выступление. "Это невозможно", — ответила фигура в милицейской форме, — "мы не платим за концерты деньгами, вы должны знать, что лучшие артисты считают для себя честью приглашение дать концерт для славных чекистов". Но мать не унималась: "мой сын еще не является лучшим артистом, он еще мальчик и ему надо много учиться. А наша семья живет бедно, работаем до седьмого пота, а есть почти нечего". Трудно было остановить красноречие моей мамаши. Наконец "славные чекисты" сдались и обещали выделить хороший продовольственный паек. "А что должен Миша играть? Наверно хотите услышать революционные песни?" — спросила мамаша. Но последовал ответ: "Революционные песни играть не надо, они нам уже надоели, можно играть все, что угодно, даже произведения белогвардейских композиторов. Нам нужен отдых и мы не хотим слушать классическую музыку или какие-то агитки. Только развлекательная музыка..." Мамаша обещала посоветоваться с профессором Столярским. Теперь предстояло условиться каким образом я попаду на этот концерт. "А очень просто", — заявило чучело в милицейской форме, — "мы сами заедем за Мишей и заберем его в тюрьму, а потом привезем домой в полном порядке. Беспокоиться нечего". В качестве пианиста пригласили "товарища Баха", он знает хорошо мой репертуар. Но родителям было строго запрещено сопровождать меня на концерт в тюрьму.

Когда они ушли, мать с видом победительницы говорила, что ей удалось от них добиться получения продовольственного пайка и прибавила: "с паршивой овцы хоть шерсти клок". В тот же день мамаша рассказала Столярскому о предстоящем концерте в тюрьме. Помню он покачал головой и сказал, что "с этими людьми надо быть осторожней и если с ними ладить, они могут пригодиться и выручить из беды". Эти слова я воспринял с чувством глубокой боли. Тут же я назвал "славных чекистов" самыми настоящими бандитами. Столярский немного испугался и не знал что мне ответить. После минутной паузы пришел в себя и тихо произнес: "устами младенца глаголет истина".

В назначенное время, поздно вечером, раздался стук в дверь и явились двое "славных чекистов". Что должны были подумать

наши соседи, когда увидели этих защитников советской власти? Прежде всего, соседи защелкнули замки своих комнат, погасили свет и спрятались в свои норы. Меня в это время выволакивали со скрипкой на улицу, где ожидали дрожки запряженные лошадью. Была плохая погода и я быстро промок. Город спал, на улицах не было освещения. Мы ехали в кромешной тьме. Мне становилось жутко. Наконец прибыли в тюрьму. Сопровождавшие лица быстро провели меня через соответствующие заслоны и доставили в какую-то комнату. Здесь собралось множество артистов, пользовавшихся широкой известностью в Одессе. Для артистов устроили предварительное угощение. С невероятной быстротой они уничтожали горы бутербродов, проглатывали сосиски, закусывали горячими бубликами. Я не притронулся к еде и испытывал чувство страха. Отошел в сторону и, взяв в руки скрипку, старательно разыгрывал свои холодные пальцы. Ко мне подошел "товарищ Бах". Он удивился бледности моего лица и высказал предположение, что я болен. Но сейчас некогда было об этом рассуждать. Лишь после одиннадцати вечера начался концерт. Хорошо, что меня выпустили первым. Я начал с "Хайтармы", потом сыграл "Цыганские напевы" Сарасате и "Гавот" французского композитора Госсека. Меня не отпускали со сцены, но не было больше сил не только играть, но и стоять на ногах. "Товарищ Бах" предложил, чтобы меня скорее отправили домой. Но это был глас вопиющего в пустыне. Все хотели слушать концерт, а я забрался в какой-то уголок и быстро заснул.

Концерт длился до 2 часов ночи. Многих артистов угощали водкой и у них не было желания быстро покинуть комнаты, где стояли горы продуктов питания, да еще выпивка. Наконец артистов стали развозить по домам. Тут приметили и меня. Разбудили, погрузили на какую-то грязную подводу. Прибыл я домой после 3 часов ночи. Родители не спали, с волнением ожидая меня. Ночь была темная, дождливая. Не совсем понятно как находили дорогу. Освещали карманными фонарями и кое-как доехали. Никаких продуктов мне с собой не дали. Увидев меня мать сразу поняла, что я болен. Термометр подтвердил это температурой свыше 39 градусов. Сразу принял аспирин, который был тогда главным лекарством от всех болезней.

Утром позвали врача. Он сделал укол и обещал, что я скоро буду здоров. Днем явились те самые чекисты, которые приглашали меня на концерт. Да еще двое с тяжело нагруженными мешками. Увидев, что я в постели, да еще с высокой температурой, они обещали найти самого лучшего врача в Одессе.

Когда гости ушли, мамаша решила вскрыть мешки. Там оказалось удивительное богатство: головка сахара, масло, буханки хлеба, колбаса, фрукты, множество плиток шоколада. Где только могли они раздобыть такое богатство? В магазинах давно эти продукты не появлялись. Разве только на рынке можно было кое-что приобрести, да у матросов. Вечером пришел известный врач. Он быстро определил мою болезнь и выписал рецепт на лекарства. Врач позаботился, чтобы эти продукты доставлялись мне регулярно. Спустя две недели я поднялся с постели. Так закончился мой первый концерт в тюрьме. Но он был не последним. Отказаться от участия в этих концертах не было никакой возможности. Да еще подрос мой младший брат и мы стали выступать вдвоем, исполняя разные дуэты. Это очень нравилось публике. Да еще мы были на учете в так называемом "Посредрабисе" — специальном посредническом учреждении, которое заботилось о работниках искусства. Эта забота выражалась в организации концертных выступлений в рабочих клубах, на фабриках, в красноармейских частях, в театрах.

Второе путешествие в Москву

Жизнь в Одессе становилась монотонной. А изменения лишь были в худшую сторону. Сталин взял страну в свои руки. С улицы Троцкого сняли надписи о ее названии. Теперь она стала именоваться улицей Десятилетия Красной армии. Для желающих посылать телеграммы на эту улицу появились финансовые затруднения, вместо одного слова, надо платить за три. Тогда стали в телеграммах писать "Преображенская улица". Упоминать имя Троцкого было опасно: начались преследования троцкистов. Обильно плодились троцкистские анекдоты. Помню один. Троцкий послал телеграмму Сталину следующего содержания: "Ты вождь, а я не вождь. Ты прав, а я не прав. Извиняюсь". Сталин страшно обрадовался и готов был простить

Троцкого. Стал показывать своим подчиненным эту телеграмму. Даже показал ее какому-то раввину. Но раввин разочаровал Сталина, сказав, что надо читать телеграмму по-другому, со знаками вопроса и восклицания. Правильно читать так: "Ты вождь, а я не вождь? Ты прав, а я не прав? Извиняюсь!" Теперь все стало на свое место.

В это время началась и борьба с кулачеством, она приняла на Украине размеры катастрофы. Начался страшный голод. Миллионы людей были обречены на голодную смерть. Но этого, вроде, никто не замечал. А ведь голод был создан искусственно. Сталин решил наказать украинское население. То самое население, которое своим тяжким трудом кормило всю Россию и многие другие страны. Не могу забыть живые скелеты людей. Эти скелеты еле передвигались, беззвучно лепетали мольбу о помощи и засыпали вечным сном прямо на улицах. Страшное зрелище. Нет, это не то слово! Это страшная *реальность советской власти*. И забыть это невозможно.

Культурная жизнь Одессы становилась бесцветной. Известные певцы и музыканты покидали Одессу и устраивались в Москве. Писатели не отставали в бегстве. Мы тоже решили переехать в Москву. Помню, отец шутя сказал, что мы собираемся "за границу одесской области". И в один из весенних дней 1930 г. это намерение было осуществлено. Но сперва в Москву отправились мамаша и я с моим младшим братом. Профессор Столярский с явным одобрением отнесся к этой идее, хотя ему было жаль расставаться сразу с двумя учениками, двумя братьями. Он хорошо понимал, что культурная жизнь Одессы хиреет, превращая город в провинцию. По мнению Столярского, я уже был достаточно зрелым скрипачом и мог себя показать перед московской публикой без стеснения. Да еще он сказал в своем напутственном слове, что "пусть в Москве знают, что и в Одессе можно хорошо научиться играть на скрипке". Собственно говоря, в Москве уж об этом знали. Ведь жил в Москве Давид Ойстрах. Правда, он только начинал свою концертную карьеру и боролся за признание. А было у него немало сильных конкурентов. Прежде всего знаменитый скрипач Мирон Полякин. Но с каждым концертным выступлением у Ойстраха становилось большее число поклонников. Наш отъезд из Одессы не оставлял

у Столярского пустого места. У него было много учеников. Как говорили в Одессе: "У Столярского есть целый склад талантов". Среди учеников Столярского теперь были лидерами Лиза Гилельс и Миша Фихтенгольц. Лиза Гилельс, как и ее брат пианист Миля (Эмиль), привлекали внимание одесситов. Лиза начинала учиться на скрипке у одесского педагога Портнова. Делала большие успехи. Но чего-то недоставало в ее игре. Встал вопрос о переходе к Столярскому и это было сделано. Портнов не мог смириться с этой потерей и подал в суд на Столярского. Но что мог поделать суд, если родители приняли решение. Суд не мог заставить Столярского из "коллегиальных соображений" отказаться от занятий с Лизой. Миша Фихтенгольц был сыном оркестрового музыканта, кажется, кларнетиста. Отец исключительно строго следил за его занятиями. И мальчик делал большие успехи. Впоследствии Миша Фихтенгольц переехал в Москву и поступил в консерваторию. Принимал участие в 1937 г. на международном конкурсе скрипачей в Брюсселе и получил 6-ю премию. Но его музыкальная карьера не сложилась, даже несмотря на то, что он женился на племяннице Л. М. Кагановича (а может и дочери?). Некоторое время его вовсе не слыхали на концертной эстраде. Был у него какой-то творческий кризис. Но, говорят, что в 70-х годах Фихтенгольц снова нашел свое место и стал часто давать концерты в Москве и они встречали положительные отзывы критики. Но за границей его не знают. Да и способен ли он конкурировать со знаменитыми скрипачами?

Судьба Лизы Гилельс сложилась более удачно. Но здесь сыграло свое значение триумфальное шествие ее родного брата, завоевавшего мировое признание. Лиза Гилельс часто выступала в концертах, получила 3-ю премию в Брюсселе, опередила моего брата. Первую премию на этом конкурсе имени Эжена Изаи (1937 г., Брюссель) получил Давид Ойстрах. Вторую — Генри Темянка. 3-ю дали Лизе. А это уже было настоящим триумфом для юной скрипачки. Активная концертная деятельность Лизы ограничивалась советской территорией. За границу пускали очень редко. Потом Лиза вышла замуж за скрипача Леонида Когана, младшего ее по возрасту. Соревнование со своим супругом не имело должного успеха. К тому же появились дети, надо было о них

заботиться. А дети оказались впоследствии прекрасными музыкантами. Нина же Коган стала пианисткой и выступает в дуэте со своим отцом, а Павел стал скрипачом и дирижером. Так в симфонических концертах, которыми дирижирует Павел Коган, в качестве солиста подвизается его отец. Как сейчас помню первые шаги Лизы Гилельс и Миши Фихтенгольца на сложном и большом пути овладения скрипичной игрой. Они шли, как бы, наперегонки друг с другом. Собственно говоря, в классе профессора Столярского это было обычное явление. Ученики соревновались между собой, стремились как можно скорее двигаться к заветной цели. Энтузиазм был всеобщий, он зажигал сердца маленьких учеников.

Нелегко мне было расставаться с профессором Столярским, с привычной обстановкой его квартиры, с его добродушной улыбкой, его заразительной энергией. Но так сложилась судьба. Был устроен прощальный вечер в квартире Столярского. Я много играл, слушал игру других учеников. Столярский много шутил, давал смешные советы, говорил напутственные слова. А потом мы совершили вечернюю прогулку по улицам Одессы. Повсюду непринужденное веселье, которое длится до поздней ночи. Ну, как же тут расстаться с жизнерадостной Одессой!

Профессор Феликс Блуменфельд

Сестра мне сообщила, что ее педагог профессор Феликс Михайлович Блуменфельд желает со мной познакомиться. Да еще желает посмотреть мои композиции. Такое приглашение было очень кстати, ибо появилась возможность получить добрый совет и поддержку. Среди знаменитых профессоров Московской консерватории Феликс Блуменфельд особенно колоритная фигура. А его биография поистине завидная. Родственными узами он связан с видными музыкантами. Его братья Сигизмунд и Станислав также отличились на музыкальном поприще. Сигизмунд был в свое время известен и как композитор. Станислав преподавал игру на фортепиано в Киеве. Родная сестра Феликса была замужем за известным педагогом Густавом Нейгаузом и родила знаменитого пианиста Генриха Густавовича Нейгауза, у которого учились Святослав Рихтер и Эмиль Гилельс, да еще Яков Зак и многие

знаменитые виртуозы. И еще был Феликс Блуменфельд в родстве с польским композитором Каролем Шимановским. Феликс Блуменфельд родился в 1863 г. в селе Ковалевка Херсонской губернии. С детских лет учился игре на рояле. Сперва в Елизаветграде, а потом переехал в Петербург. Обучался он в Петербурге композиции у Н. А. Римского-Корсакова. В 1885 г. пригласили Блуменфельда преподавать игру на фортепиано в Петербургской консерватории. А было ему тогда лишь 22 года. Но он уже имел высокую репутацию и его поддерживали Антон Рубинштейн и Н. А. Римский-Корсаков. Блуменфельд проявил себя и в качестве талантливого дирижера. Удостоился лестного отзыва от самого Эдуарда Францевича Направника, главного дирижера Императорского Мариинского театра и, как говорили, "всея России". В 1895 г. Блуменфельд занял пост дирижера Мариинского театра и проявил себя с наилучшей стороны. В 1898 г. Блуменфельд взял в свои руки оперу А. Рубинштейна "Фераморс" ("Лалла Рук"), которая впервые была поставлена в 1863 г. в Дрездене. Потом ее поставили в Вене (в придворном театре), в Милане, в Берлине, в Данциге. Но на русскую сцену эта опера попала лишь в 1884 г., да еще в исполнении любительского кружка. Автор оперы так и не дожил до постановки ее на сцене Мариинского театра. Лишь спустя четыре года после смерти А. Рубинштейна Блуменфельд провел "Фераморс" на сцену Мариинского театра. Аналогичная судьба была и с другой оперой А. Рубинштейна "Нерон". Она впервые появилась на сцене 1 ноября 1879 г. в Гамбурге. Дирижировал автор. Опера имела успех. В следующем году ее уже поставили в Берлине. в 1902 г. Блуменфельд добился включения "Нерона" в репертуар Мариинского театра и сам подготовил ее постановку. В том же 1902 г. Блуменфельд добился постановки на сцене Мариинского театра оперы Римского-Корсакова "Сервилия". Сам композитор высоко оценил дирижерское мастерство Блуменфельда. Так началось тесное сотрудничество между композитором и дирижером. Вернее, оно началось год назад, когда Блуменфельд совместно с Э. Ф. Направником "протащили" оперу Римского-Корсакова "Царскую невесту" на сцену Мариинского театра. Опера была написана в 1898 г. и осенью 1899 г. она впервые увидела свет рампы в Москве. Потом ее показали в Харькове, в Саратове и в Казани. Внимание Римского-Корсакова было обращено на интерпрета-

цию Блуменфельда и это способствовало сближению между ними. Так был найден общий творческий язык. Да еще между ними встал Федор Иванович Шаляпин. Интересна судьба оперы "Борис Годунов" Мусоргского. Римский-Корсаков переинструментовал эту оперу, да еще ее перередактировал. Это способствовало наибольшему сценическому успеху оперы. 28 ноября 1896 г. в Большом зале консерватории в Петербурге показали "Бориса Годунова" в редакции Римского-Корсакова. Заглавную партию Бориса пел воспитанник педагога-чародея Камилла-Франсуа Эвераради Михаил Васильевич Луначарский, брат будущего советского комиссара по просвещению Анатолия Васильевича Луначарского. Дирижировал сам Н. А. Римский-Корсаков. Хоть и имел спектакль успех, но все-же чувствовалось, что его надо взять в надежные руки. Но кому можно было доверить? В 1898 г. в московской постановке наметился талантливый исполнитель роли Бориса. Это был Ф. И. Шаляпин. Правда, к этому времени еще полностью не раскрылась шаляпинская трактовка этого сложнейшего образа. 9 ноября 1904 г. в Мариинском театре показали "Бориса Годунова" в редакции Римского-Корсакова. Приняли во внимание пожелание Римского-Корсакова в выборе исполнителей. За дирижерский пульт встал Блуменфельд. Бориса пел Шаляпин. Партию Ксении доверили Н. И. Забелле-Врубель. Роль Шуйского представил И. А. Алчевский. Постановка имела огромный успех. Это было настоящее событие в истории русской оперы. Особенно первенствовал в успехе Ф. И. Шаляпин. Спустя два с половиной месяца показали "Бориса Годунова" в Москве. Дирижировал Сергей Васильевич Рахманинов. Роль Бориса пел Шаляпин. Тут и заспорили, где лучше поставили "Бориса Годунова" — в Петербурге или в Москве? Спор предстояло решить Римскому-Корсакову. А тут появилась на свет Божий очередная новая опера Римского-Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии". Приняли ее для первой постановки в Мариинский театр, минуя путешествия по провинциям, да еще по заграницам. Римский-Корсаков решил вручить эту оперу в руки Блуменфельда. Премьера состоялась в Мариинке 7-го февраля 1907 г. Блуменфельд оправдал надежды автора оперы. Спустя два месяца отправляется Римский-Корсаков в Париж. С. П. Дягилев пригласил его дирижировать историческими концертами русской

музыки. В Париже давно знали Римского-Корсакова, исполняли его произведения. Но личное присутствие композитора взбудоражило парижан. Это в значительной мере оказало моральную поддержку Римскому-Корсакову после событий 1905 года, когда Римского-Корсакова уволили из консерватории, да еще запретили исполнять его произведения в России. Полицейские власти в своем произволе зашли слишком далеко.

В знак протеста против увольнения Римского-Корсакова целый ряд профессоров консерватории подали в отставку, в том числе и Блуменфельд. Не оказался "в долгу" французский композитор Камилл Сен-Санс, отказавшийся в знак протеста от звания почетного члена Русского Музыкального Общества. Опального композитора Римского-Корсакова в 1906 г. избрали почетным членом королевской музыкальной академии в Стокгольме, в 1907 г. он стал членом Парижской академии наук, да еще в том же году издали во Франции "Учебник гармонии" Римского-Корсакова. Тяжелый удар был нанесен Римскому-Корсакову в апреле 1908 г., когда цензура запретила постановку его оперы "Золотой петушок". Резко ухудшилось состояние здоровья композитора. А в мае дошли в Петербург радостные вести из Парижа, в театре "Опера комик" имела огромный успех опера Римского-Корсакова "Снегурочка". С. П. Дягилев же готовил для парижан новую сенсацию — оперу "Борис Годунов" Мусоргского в редакции Римского-Корсакова, с участием Шаляпина. По желанию Римского-Корсакова дирижировать пригласили Блуменфельда. В ночь с 20-го на 21-е июня (нов. ст.) 1908 г. Римский-Корсаков скончался от паралича сердца. Но незадолго перед смертью он получил радостное известие из Парижа — 19 мая 1908 г. в Париже, в помещении Гранд-опера, впервые показали оперу "Борис Годунов". Успех был ошеломляющий. Этот день стал историческим в судьбе "Бориса Годунова". Блуменфельд в полную силу своего творческого вдохновения раскрыл партитуру оперы. Шаляпин потряс публику своим гениальным исполнением. Еще пели в этом историческом спектакле Алчевский, Смирнов и Касторский. Внесли свою лепту художники Головин, Бенуа и Билибин. Вдохновитель спектакля С. П. Дягилев торжествовал невиданную победу.

О дирижерской деятельности Блуменфельда можно еще многое рассказать. Но он еще был ведь талантливым композитором и

гениальным педагогом. Впрочем, хочу предложить познакомиться с воспоминаниями о Блуменфельде, который написал швейцарский музыковед Роберт Алоиз Моозер, автор замечательного трехтомника "Летопись музыки и музыкантов в России в XVIII столетии", изданного в 1948-51 гг. в Женеве на французском языке. Одно время жил Моозер в Петербурге и брал уроки у Римского-Корсакова и Балакирева. Еще он служил органистом во французской реформатской церкви в Петербурге и сотрудничал в Дирекции императорских театров. Моозеру удалось собрать более 2000 книг по русской музыке и множество ценнейших архивных документов из истории музыкальной России. Его публикации в этой области отличаются исключительной достоверностью и ценностью. Жаль, что русскоязычному читателю они неизвестны и об этом не позаботились советские музыкальные издательства, считая, что советские музыковеды, которым с большими трудностями удается достать иностранные книги, сами смогут разобраться в них. Но воспоминания Моозера о Блуменфельде все же переизданы в Москве в 1970 г. на русском языке. А ведь в СССР есть множество учеников Блуменфельда, которые могли бы довольно внятно рассказать о прекрасной деятельности своего педагога. В этом направлении кое-что предпринял его ученик Лев Баренбойм, но это слишком мало. А ведь как много можно рассказать о Блуменфельде!

Он был прекрасным пианистом и впервые исполнил фортепианные произведения видных русских композиторов. В том числе Глазунова и Аренского. В 1918 году он пытался покинуть Россию. Было приглашение в Германию и в Швейцарию. Кажется еще Дягилев его звал к себе. Но не так просто было эмигрировать. Прежде всего он двинулся на юг. В 1918 г. Блуменфельд застрял в Киеве. "Самостийная Украина" открыла двери для многих известных русских музыкантов. Здесь началось возрождение и расцвет музыкальной жизни. Украинское правительство предложило Блуменфельду пост директора Музыкально-драматического института имени композитора Н. В. Лысенко. Здесь Блуменфельд проявил исключительную активность и развил свою деятельность с широким размахом. В этот период он создал прекрасный класс своих учеников, среди них выделялись Владимир Горовиц и Саша Дубянский. Также плодотворно развернулась педагогическая

деятельность его племянника Генриха Нейгауза, который был приглашен в Киев, чтобы заменить сбежавшего в Польшу пианиста профессора Юзефа Турчинского — родившегося в Житомире, ученика Анны Есиповой по Петербургской консерватории. Продержался Блуменфельд в Киеве до 1922 г. С утверждением в Киеве советской власти, начался террор против интеллигенции, захирела музыкальная жизнь. Желание эмигрировать и снова встретиться с Дягилевым не смогло быть осуществлено. Не пустили за границу. Но также не могло быть речи и о продолжении деятельности в Киеве. К тому времени значительнейшая часть русских музыкантов эмигрировала и испытывался острый голод в педагогах. Глазунов звал Блуменфельда в Петроград в консерваторию, которую он возглавлял в качестве директора. Звали в бывший Мариинский театр на пост дирижера. Но Блуменфельд ни за что не соглашался вернуться в Петроград. Вероятно, еще живы были воспоминания о красном терроре. Да еще, как мне говорили, большевики поступили с профессором Блуменфельдом "недостаточно корректно", отобрав его дом, разграбив его имущество и выгнав на улицу. Как с "контрой" обращались с Блуменфельдом. Чего доброго, могли еще и пулю в затылок всадить. Словом, Блуменфельд категорически отказался вернуться в свою альма матер.

Но нарком по просвещению А. В. Луначарский был заинтересован "сберечь" Блуменфельда и стал уговаривать о переезде в Москву. Немало стараний приложил М. М. Ипполитов-Иванов, возглавлявший московскую консерваторию. Да еще старался композитор Артур Лурье, возглавлявший в Наркомпросе руководство музыкальными учреждениями. Были обещаны "златые горы". Блуменфельд и Нейгауз отправились в 1922 г. в чуждую им Московскую консерваторию, с которой до того никак не были связаны. А когда поселились в Москве, то выяснилось, что Артур Лурье эмигрировал из России уже в 1922 г. А Ипполитов-Иванов отказался от директорского поста в консерватории. Первый же народный артист советской власти Федор Шаляпин предпочел эмигрировать. Ректором консерватории стал проф. А. Б. Гольденвейзер, имевший тесные контакты с Луначарским и с многими видными большевиками. Хорошие отношения сложились у Блуменфельда с проф. К. Н. Игумновым. Собственно, Игумнов первый заговорил о приглашении Блуменфельда в Москву. А ког-

да в 1924 г. Игумнов занял пост ректора консерватории Блуменфельд мог явственно почувствовать его дружеское расположение. До 1929 г. продержался Игумнов на посту директора и привел Московскую консерваторию в образцовый порядок. За это время Игумнов мог похвалиться и успехами своих учеников. Так в 1927 г. его воспитанник Лев Оборин получил первую премию на международном конкурсе имени Шопена в Варшаве, что было в то время настоящей сенсацией. Но, как говорили тогда, в 1929 г. Луначарскому ударила "моча в голову" и он отстранил Игумнова от поста директора Московской консерватории и назначил "проверенного большевика" Болеслава Станиславовича Пшибышевского, близкого друга Дзержинского и Менжинского, да еще авантюриста Подвойского. Игумнов не очень доверял экспериментам "проколловцев" и ассоциации пролетарских музыкантов, не симпатизировал обвинениям Чайковского в мещанстве и противился преследованиям своего личного друга С. В. Рахманинова. У Пшибышевского были твердые установки от правительственных органов и он начал перестройку московской консерватории на левацкий лад. В 1929 г. Блуменфельд был сражен известием о кончине Дягилева. К тому времени у Блуменфельда прогрессировала болезнь правой руки, которая привела к параличу. Но оставалась в активном действии левая рука и он одной рукой творил подлинные чудеса фортепианной техники.

Когда я впервые переступил порог квартиры Феликса Блуменфельда, я уже многое знал о нем. Многое мне рассказывали еще в Одессе. Особенно просвещал меня в этом, живший в Одессе, историк русского театра профессор Борис Васильевич Варнеке, с которым у меня установились дружеские отношения. Я с упоением слушал рассказы Варнеке о знаменитых русских музыкантах с которыми он был дружен. А с Блуменфельдом у него были приятельские отношения. И еще много о Блуменфельде мне рассказывала пианистка Мария Гринберг, учившаяся у Блуменфельда и ставшая впоследствии замечательным интерпретатором произведений Бетховена. Она записала на пластинки все 32 сонаты Бетховена для фортепиано и эти пластинки получили высочайшее одобрение знатоков. Жаль, что имя Марии Гринберг неизвестно за пределами СССР. Впрочем в СССР постарались похоронить славу многих замечательных музыкантов.

Приветливая улыбка Блуменфельда, с которой он меня встретил, сразу же меня окрылила. Блуменфельд уже слыхал обо мне. Помнил мое первое появление в Москве в 1926 г. В моих руках скрипка и тяжелый портфель с нотами, главным образом, моими композициями. Я был приглашен на обед к Блуменфельду, а это уже была великая честь. Пока шли приготовления к обеду мне было предложено вынуть скрипку и кое-что сыграть. Не имея собственного аккомпаниатора (не явилась со мной и моя сестра), я решил сыграть произведения Баха для скрипки соло. Сыграл знаменитую "Чаккону", которую недавно разучил в Одессе. После заключительной протяжной ноты "ре" наступило долгое молчание. Я не знал как его расценить. Уже подумал о самом неприятном. Но потом заговорил Блуменфельд. Он сказал буквально следующее: "У меня нет слов, мне сказать нечего, да и что можно сказать после прослушивания этого сверхгениального произведения". Потом, после паузы Блуменфельд мне заявил:: "играешь ты очень хорошо, а главное понимаешь музыку Баха и это делает тебе честь". А спустя некоторое время добавил: "когда я слушал тебя, совсем забыл о твоем возрасте, забыл, что тебе лишь 12 лет". Говорил Блуменфельд медленно, словно что-то вспоминал. Потом сделал мне ряд замечаний и при этом добавил: "позволь мне с тобой разговаривать как со взрослым музыкантом. Тебе скоро исполнится 13 лет. Много ли это или мало? Бетховен к этому возрасту уже был автором значительных композиций. А Моцарт уже написал ряд опер, которые успешно исполнялись в Зальцбурге. Хорошо помню маленького Яшу Хейфеца. Да что Хейфец, вот Венявский в одиннадцатилетнем возрасте уже окончил Парижскую консерваторию, как скрипач, и годом позже, как композитор. Музыкальная зрелость может наступить и в раннем возрасте, как например, у Мендельсона. А вообще то я не люблю делать скидок на возраст. Правда, чтобы стать настоящим музыкантом, надо хорошо к этому подготовиться. Должно пройти немало времени, да и много надо потрудиться. А много ли ты занимаешься ежедневно? Наверно не менее пяти часов?" Я подтвердил это, да еще добавил, что случалось мне и по 6-7 часов в день заниматься. "Наверное и школу еще посещал", — спросил Блуменфельд. "Без общего образования нельзя обойтись", — ответил я. "А разве можно обойтись без посещения концертов,

без слушания музыки, которая создана для других инструментов?" — спросил Блуменфельд. Я подтвердил, что посещал концерты, да еще занимался изучением музыкально-теоретических предметов. "Вот я тебя и проэкзаменую", — неожиданно сказал Блуменфельд. Он сел к роялю и стал левой рукой наигрывать разные произведения. Но я безошибочно их узнавал. Особенно удивился Блуменфельд, когда я узнал "Прелюдии" Скрябина для левой руки. Не знаю, как долго продолжался бы этот экзамен, но нас позвали к обеду. Подана была холодная окрошка. С окрошкой я познакомился впервые в моей жизни. Она была приготовлена прекрасно. После окрошки уже ничего другого я не хотел есть. А на столе были разные мясные блюда. Да еще и сладости. После обеда Блуменфельд предложил мне сыграть еще что-нибудь. "Посмотрим, что подойдет для твоего экзамена в консерваторию", — решил Блуменфельд. А потом стал просматривать мои сочинения. Тут он был беспощаден. Уж если хвалил, то сдержанно. А когда ругал, то и вовсе не признавал никакой сдержанности. "Талант и фантазия к сочинению музыки у тебя есть, это вне сомнения, но все надо привести в полный порядок", — заключил Блуменфельд. А потом добавил: "советую позаниматься у Николая Мясковского, да еще и у другого Николая-чудотворца, то есть у Николая Сергеевича Жиляева". Потом он улыбнулся и добавил: "Знавал я многих Николаев-чудотворцев, прежде всего Николая Римского-Корсакова, потом Николая Николаевича Черепнина, Николая Малько, пианиста Николая Дубасова, певца Николая Николаевича Фигнера... Только не удалось лично познакомиться с Николаем Рубинштейном, жили мы в разных городах, он в Москве, я в Питере".

Вдруг раздался звонок. Неожиданно явился известный дирижер Голованов. Блуменфельд заразительно рассмеялся и сказал: "Вот сейчас мы перечисляли знаменитых музыкантов с именем Николай, а тебя позабыли. А ты сам о себе напомнил... Прошу любить и жаловать, мой друг, дирижер Николай Семенович Голованов". Блуменфельд стал рассказывать обо мне. "Вот он все играл мне произведения для скрипки соло и некому было его выручить с аккомпанементом. А ты теперь окажешь подмогу", — сказал Блуменфельд. Я нашел в своем портфеле "Фантазию на русские темы" Римского-Корсакова. "Вот и чудесно", — заявил

Блуменфельд, — "познакомимся с фантазией Римского-Корсакова, нашего любимого Николая. Интересно, что он придумал для скрипки". Ноты стали на свое место и Голованов "сходу" сел за рояль и стал играть. Читал он с листа великолепно. Да и мне доставило большое удовольствие совместное музицирование с этим знаменитым музыкантом. А когда кончили играть Блуменфельд сказал: "Это не из лучших произведений Римского-Корсакова, но если его хорошо играть оно оставляет хорошее впечатление. Помню, эту Фантазию играл скрипач Петр Артемьевич Краснокутский. Да кажется мне, что Римский-Корсаков для него ее и сочинил. Только немного напоминает эта Фантазия, по своей конструкции, "Цыганские напевы" Сарасате. Но Сарасате был более лаконичен и очень темпераментен... Вот если бы добавил Римский-Корсаков больше огня в эту Фантазию, стало бы слушателям жарко... Помню, Леопольд Ауэр просил Римского-Корсакова переделать эту Фантазию... Вроде бы дал обещание, но не исполнил... Где теперь Ауэр? Ему должно быть за 80, а слыхал, что еще сам играет. Вот был педагог. Антон Рубинштейн его верно угадал, когда тот еще молодым был в Гамбурге. И правильно сделал, что увез его из Гамбурга, там бы он не нашел свое место. Да и сам Брамс, который родился в Гамбурге, был очень зол на свой родной город. Да еще Мендельсон тоже поспешил подальше от Гамбурга, хотя там родился. Баху не повезло в Гамбурге". Так настроил меня Блуменфельд против Гамбурга, в котором впоследствии я оказался на постоянном жительстве. Но все же Блуменфельд "снисходительно" добавил: "очень бы мне хотелось уплыть в Гамбург, нравится мне этот город, что-то в нем напоминает Питер, да еще друзья у меня там".

Но не мог мечтать Блуменфельд, что ему разрешат поездку за границу. Блуменфельду было известно, что в Гамбурге с триумфальным успехом выступал Владимир Горовиц. Зашел разговор о Горовице, который уже ряд лет числился в эмигрантах. Его бегство приучило Луначарского к осторожности и отразилось на нежелании выпускать за границу многих замечательных музыкантов. Я вспомнил концерт Горовица в Одессе, где он потряс публику не только виртуозностью, но и феноменальной музыкальностью. Голованов расхваливал Горовица на все лады.

А Блуменфельд, вдруг заявил: "что это вы так Володю превозносите? А знали вы Сашу Дубянского? Вот был пианист. Учился у меня сперва в Питере, потом в Киеве. На целую голову был выше Горовица. Сделал бы головокружительную карьеру. Да вот, в 20-летнем возрасте покончил жизнь самоубийством. Не знаю точную причину. Было это в 1920-м году в Киеве. Неспокойное время было. Его смерть глубоко меня потрясла, до сих пор его оплакиваю. Уже 15-летним мальчиком он окончил петроградскую консерваторию по роялю и по композиции. Я взял его к себе после смерти Есиповой. Она мне с восторгом о нем отзывалась. Да и было чему восторгаться. Вот он играл произведения Скрябина как никто другой. Ему подражали. А все не так получалось. А какой репертуар у него был огромный! Давал циклы исторических концертов по примеру Антона Рубинштейна. Второго Дубянского не будет. Рано, очень рано он сошел в могилу... А мог бы..." Блуменфельд прервал свои воспоминания. На глазах показались слезы. Несколько минут длилось красноречивое молчание. Не было возможности его нарушить. Впрочем, сам Блуменфельд нарушил молчание и, обратившись к Голованову, сказал: "Ну, с чем явился сегодня, Николай Семенович?"

Голованов стал доставать из опухшего портфеля клавиры разных опер. Я скромно отошел в угол комнаты и решил не мешать деловому разговору. Меня никто не прогонял, но мне не хотелось отвлекать внимание своим присутствием. Блуменфельд пригласил меня к себе на целый день и вовсе не собирался предлагать покинуть его квартиру. Мое местожительство в Москве еще не определилось, но я собирался переночевать у своего дяди на улице Грановского. Мог добраться туда самостоятельно.

Голованов сел к роялю и стал наигрывать отрывки из "Садко" Римского-Корсакова. В ноты он не заглядывал. Советовался о темпах и о характере интерпретации. В то время Голованова вернули в Большой театр и он деятельно изучал свой репертуар. Как мне рассказывали, года два назад его уволили из Большого театра. Точная причина не была известна. Одни говорили, что Голованов был груб в обращении с артистами, другие утверждали, что две балерины покончили жизнь самоубийством из-за Голованова. Еще ходил по Москве термин "головановши-

на". Трудно сказать за что так взъелись на Голованова. Кое-кто поговаривал о его пренебрежительном отношении к советской опере. Словом, разные слухи ходили. Теперь же Голованов снова за пультом Большого театра. Он рассказывает о своих планах. С восторгом говорит о певце Дмитрии Даниловиче Головине, который недавно вернулся в Москву после пребывания в Италии, где он совершенствовался и в полном совершенстве своего голоса покорил публику Монте-Карло, Милана и Парижа. Действительно Д. Д. Головин занял лидирующее место в труппе Большого театра. Его выступления проходили с триумфом, ему не было равных в Москве, среди баритонов. А труппа Большого театра в ту пору была на высоком уровне. Блистали Александр Степанович Пирогов (брат легендарного Григория Пирогова), Надежда Андреевна Обухова, Валерия Владимировна Барсова, Иван Семенович Козловский, Держинская, Жадан, Катульская, Батурин, Мигай, Савранский, Озеров, Сливинский... Нет возможности подробно рассказать о каждом. И рядом с ними блистательно разворачивалась деятельность Голованова. Главное внимание в своей репертуарной политике Голованов уделял русским операм. Безмерно любил Римского-Корсакова. Тут и искал Голованов живого сотрудника авторских замыслов Римского-Корсакова. Им был Блуменфельд. До чего интересны были беседы Голованова с Блуменфельдом! Многое я запомнил. Многое когда-то записал в своем первом варианте Мемуаров. Но непростительно, что невозможно было тогда поставить между этими двумя замечательными музыкантами портативный магнитофон! Как много ценного удалось бы сохранить для истории! Блуменфельд высказывал исключительно интересные замечания. Голованов, словно ученик, благоговейно к ним прислушивался. А я настороженно подслушивал.

Часов в девять вечера последовало настойчивое приглашение к ужину. Голованов пытался съесть маринованную селедку, но не решался это сделать сразу. Он много говорил сам, чутко прислушивался к сказанному Блуменфельдом. Ужин затянулся до половины одиннадцатого вечера. Настало время прощаться. Голованов предложил довезти меня домой на дрожках. Блуменфельд просил меня снова прийти к нему на следующий день. Он хотел прослушать мою репетицию с сестрой. Мы готовились к

экзамену. Сестра вызвалась мне аккомпанировать. А Блуменфельду хотелось оказать нам всяческую помощь.

Вместе с Головановым я покинул гостеприимную квартиру Блуменфельда. Это был один из счастливейших дней моей жизни. Невозможно забыть испытанную радость.

Я вышел вместе с Головановым на улицу. Мы поджидали дрожки. Николай Семенович Голованов пригласил меня посетить его квартиру и обещал познакомить с его супругой Антониной Васильевной Неждановой. Да еще рассказывал, что выступает с ней в концертах и намерен меня пригласить в качестве "антуража", т. е. участника концерта. Он имел в виду исполнение партии скрипки в романсе Глинки "Сомнение" и в романсе Рахманинова "Не пой красавица при мне". Я выразил свое согласие. А еще Голованов приглашал меня посещать спектакли Большого театра. Счастью моему не было границ. "Мне нравится твой певучий звук", неожиданно проговорил Голованов, — "надеюсь и Антонина Васильевна будет довольна". А потом благосклонно добавил: "надо бы немного нам помузицировать. Вот Феликс Михайлович в восторге от тебя". Немного помолчав, добавил: "Надо особенно ценить Феликса Михайловича, не знаю как долго он еще проживет... Здоровье у него неважное. Ценить его надо. Боготворить надо! Он великий музыкант русской земли. Римский-Корсаков его предпочитал другим. И не зря это было. Вполне заслужил. Жаль, что обрезали ему крылья. А ведь мог бы он многое еще сделать. Как-нибудь в другой раз побольше о нем расскажу".

Дрожки повернули на улицу Грановского. Мне лишь оставалось попрощаться с Голованом. Мы условились о предстоящей встрече. Надо было мне к нему позвонить по телефону и он предложил это сделать запросто, без всяких стеснений. Благодарности моей не было границ.

Михаил Гольдштейн

ТРИ ИСТОРИОСОФСКИХ ВАРИАНТА ВЛ. СОЛОВЬЕВА

Среди русских мессианистов выделяется Соловьев и по калибру своего писательского таланта и по своим философским дарованиям. Если искать параллелей между русскими и польскими мессианистами, то именно у Вронского, основоположника мессианизма, можно было бы найти темы, волновавшие Соловьева. Это отметил уже в начале этого столетия литовский богослов, б. профессор Католической Духовной Академии в С. Петербурге А. Домбровский.

Общая историософская установка Соловьева была своеобразной интерпретацией того, что мы можем найти в этой области у Лейбница, а затем у Лессинга и Гердера. Она легко входила в рамки учения о всеединстве и основные тезисы ее можно свести к следующим.

История человечества — это естественное продолжение эволюции природы, целью которой является постепенное преображение хаоса в космос, т. е. в абсолют. Соловьев пользуется гегелевским понятием "становящегося абсолюта". Сюда, конечно, можно подставить понятия "абсолюта в потенции" и "абсолюта актуального". Процесс этот совершается постепенно и *неуклонно*, хочет этого человечество или нет — но оно вовлечено в эту величественную драму становления. Человечество актуальное должно возрасти до нормы человечества идеального (или софийного), в котором оно совпадет с миром божественным. Это завершит историю вселенной и создаст *новую*, богочеловеческую реальность, т. е. Царство Божие. В детерминисти-

ческие тона окрашенный эволюционизм Соловьева в какой-то степени является предтечей шарденизма, а оба эти учения представляют собой современный вариант оригеновского учения о "восстановлении всяческих". Отметим сразу, что Соловьев, под конец жизни, переменил свою установку. Во все время изменяющейся схеме Соловьева можно выделить три наиболее характерные ориентации.

1. Планомерное развитие истории было нарушено вторым "грехопадением" — разделением Церкви на западную и восточную. В результате его восточная церковь поставила себя в оппозицию культуре, а западная — отделила культуру духовную от культуры светской, которая, по этой причине, все больше и больше секуляризируется и обезбоживается. А так как человеку свойственно преклоняться перед кем-то или чем-то, то, при отсутствии веры в Бога, он начал верить в самого себя. Это была апория: либо вера в Бога за счет человека, либо вера в человека за счет Бога. Западный соблазн — "безбожный человек", а восточный — "бесчеловечное Божество". Соловьев, конечно, сознавал, что такая формулировка несколько утрирована, но она правильно отражала *дух* Востока и Запада. Примирение этих двух гетерогенных (или антиномических) направлений возможно только посредством третьего, как бы нейтрального, начала, которое Соловьев усматривал в России. Он представлял себе, в отличие от славянофилов и Достоевского, роль России не в виде *активного начала,* а в виде *среды* (нечто вроде элемента - нейтрального у Вронского). В одной из своих речей он выразил свои мысли так:

"Такой народ (русский, и. Г.) не нуждается ни в каких специальных делах и внешних дарованиях, ибо он действует не от себя, осуществляет не свое. От народа, носителя третьей силы, требуется только свобода от всякой ограниченности и односторонности, требуется, чтобы он не утверждал себя с исключительной энергией в какой-нибудь частной, низшей сфере деятельности, требуется равнодушие ко всей этой жизни с ее мелкими интересами, всецелая вера в положительную действительность высшего мира и покорное к нему отношение. А эти свойства, несомненно, принадлежат племенному характеру славянства, в особенности же национальному характеру русского

народа. Внешний образ раба, в котором находится наш народ в экономическом и других отношениях, не только не может служить возражением против его призвания, но скорее подтверждает его. Ибо та высшая сила, которую русский народ призван провести в человечество, есть сила не от мира сего, и внешнее богатство и порядок в отношении ее не имеют никакого значения. Великое историческое призвание России... есть призвание религиозное в высшем смысле этого слова". ("Три силы").

Эта концепция была *новой*, в духе Христова смирения и уничижения, *кенотической* концепцией. Нам, живущим около столетия спустя, ясно, что она таила в себе огромную опасность для народа. На наших глазах совершаются явления, начисто опровергающие какую либо роль "молчаливого большинства". Инертная масса может, разве что, исполнить роль бульонной культуры для развития бактерий.

2. Второй мессианистский вариант Соловьева, церковно-экуменический, является как бы развитием или точкой применения первого. У Соловьева были, как известно, сильные прокатолические симпатии, проистекающие, несомненно, из его общей "всеединственной" ориентации. Вселенский авторитет римского папы, стройная организация римско-католической церкви, трансцендирующая государственные и национальные границы и основанная на дисциплине, историческая преемственность и последовательность — все это указывало на Рим, как на центр вселенской теократии. Какова же была бы роль России в этом? Соловьев не исключал ее из этого процесса, но указывал ей роль очень мессианическую по духу: Россия и русская православная Церковь имели бы оказию проявить высшую христианскую добродетель добровольного, ничем не вынужденного отказа от активной роли, в мысль слов Иисуса Христа: "...а кто хочет между вами быть бóльшим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом" (Матф. 20: 26-27). Историческое же призвание России, *как государства*, выразится в том, чтобы доставить "Вселенской Церкви политическое могущество, которое ей необходимо, чтобы спасти и возродить Европу".

Отказ от активной роли в истории во благо человечества, добровольное самооскопление, был опасным искушением на

пути теократических построений Соловьева и неизвестно, *каким духом* он был ему навеян. В какие же аргументы он укладывал свою защиту этой концепции? Он это делал довольно парадоксально, надо признать, ибо возводил в историософскую норму поведения мысль, что "сила Божия в немощи совершается". Он считал, что божественный Промысел вознаградит Россию за "самоотречение русского народа", как это бывало уже раньше: впервые — когда разрозненные междоусобицей русские племена призвали чужих варягов на княжение, что объединило их зато под стягом киевского великого князя; затем, когда Русь добровольно отказалась от своего национального язычества и приняла христианскую веру от чуждой Византии, в результате чего обрела призвание стать оплотом православия во всем мире; и затем, в третий раз, когда Петр I отказался от русского быта и принял западную цивилизацию, чем включил Россию в семью западно-европейских народов.

Теперь России предстоит возможность новой жертвы — отказа от национального вероисповедания во благо Церкви Вселенской, в результате чего она сможет стать новой христианской и вселенской Империей, — утверждал Соловьев. Со всем пылом и красноречием Соловьев пытался убедить современников, что эти захватывающие дух, как над бездной, перспективы могут быть осуществлены. Он даже разработал целую программу, некоторого рода проект, и переслал его через хорватского епископа Штроссмаера в Ватикан.

Но несостоятельность этого мечтательства была слишком очевидной не только для русских, но и для Ватикана. К тому же личное знакомство Соловьева с католическим Западом разочаровало его и он сам признал свое увлечение этой идеей несостоятельным.

3. Соловьев, поначалу веровавший в то, что в конце концов добро восторжествует на земле, и в своих ранних философских построениях проглядевший проблему *иррациональности зла*, под конец своей недолгой жизни начал угнетаться мыслью, что зло имеет онтологические корни и является действенным и могущественным началом в мире. В результате этой пессимистической ориентации он создал еще одну мессианическую концепцию, апокалиптическую и эсхатологическую, в основу которой

можно было бы положить слова Иисуса Христа: "Сын Человеческий, пришед, найдет ли веру на земле?" (Ин. 18:8).

Эта третья историософская концепция выразилась в "Повести об Антихристе", представляющей собой вариант Легенды о Великом Инквизиторе Достоевского.

"Есть ли *зло* только естественный *недостаток*, несовершенство, само исчезающее с ростом добра, или оно есть действительная *сила*, посредством соблазнов *владеющая* нашим миром, так что для успешной борьбы с нею нужно иметь точку опоры в ином порядке бытия?" — спрашивает Соловьев в введении к "Трем разговорам". Содержание этого замечательного сочинения свидетельствует о том, что Соловьев преодолел понятие зла, как только "привативного" явления (как это он был склонен думать в молодости). Он принял иную точку зрения: зло есть самостоятельная реальность, укорененная в метафизическом плане и проявляющаяся через сознательных людей в этом мире.

Дальше в том же самом введении Соловьев пишет, что он задался целью "представить вопрос о борьбе против зла и о смысле истории — с трех различных точек зрения, из которых одна религиозно-бытовая, принадлежащая прошедшему, выступает особенно в первом разговоре, в речах *генерала*; другая, культурно-прогрессивная, господствующая в настоящее время (на переломе XIX/XX вв., и. Г.), защищается *политиком* особенно во втором разговоре, и третья, безусловно религиозная, которой еще предстоит проявить свое решающее значение в будущем, указана в третьем разговоре в рассуждениях господина Зэт". Свою личную точку зрения Соловьев отождествляет с тем, что говорит г. Зэт, хотя и признает *частичную* правду первых двух собеседников. Оппонентом всех трех является *князь*, под личностью которого Соловьев вывел гр. Л. Н. Толстого, опровержению миросозерцания которого и посвящена, частично, вся книга. Все "три разговора" органически с собой связаны и поэтому, перед тем как перейти к "Повести об Антихристе" — ключевой теме сочинения, мы вкратце изложим то, что говорят собеседники в первых двух разговорах.

Тематической завязкой всего спора является вопрос, дозволено ли сопротивление злу насилием и может ли в некоторых случаях быть оправдано убийство. Следует иметь в виду, что

тема эта была весьма злободневной в конце прошлого столетия и в начале этого в связи с возникновением "толстовства".

Гр. Л. Н. Толстой (здесь — *князь*) был великим художником и психологом, но неважным философом и еще худшим богословом. Как это ни парадоксально, но в области философии и аксиологии, Толстой был типичным "интеллигентом" — *идейным и беспочвенным*. Возлюбив *идею* о непротивлении злу силой, он с маниакальным упорством, достойным самого закаленного сектанта, вопреки очевидности и здравому смыслу, держался за нее и в ее свете строил свою "нравственную систему". Его любовь к добру была преимущественно "головной", а не сердечной, и поэтому он просто ненавидел все то, что не вмещалось в узкие рамки *его* понимания добра. Эта установка этического рационалиста, из-за идеи не видевшего всей сложности жизненной реальности и во чтобы то ни стало стремившегося к ее осуществлению, по существу была свойственна и твердолобым догматикам коммунизма "старой гвардии". Полемизируя с ним на страницах "Трех разговоров", Соловьев сводит мнение оппонента к положению, которое называется доказательством "ад абсурдум": требования, ставимые Толстым перед рядовым христианином таковы, что в свете их оказывается, что и Сам Христос не был совершенным христианином. И действительно, в жизни у Толстого хватило дурного вкуса переделывать Евангелие "по-своему".

В доказательство того, что со злом надо бороться силою, приводится рассказ генерала, принимавшего участие в турецкой кампании. Так как убедительность его слов — не в силе диалектических сплетений, а в эмоциональной непосредственности, приведем соответственный отрывок его рассказа целиком.

Проникнув на территорию Турции, генерал со своими солдатами оказался свидетелем страшного погрома.

"Огромный обоз с беглыми армянами не успел спастись, тут они (башибузуки, и. Г.) его и захватили и хозяйничали. Под телегами огонь развели, а армян, того головой, того ногами, того спиной или животом, привязавши к телеге, на огонь свесили и потихоньку поджаривали. Женщины с отрезанными грудями, животы вспороты. Уже всех подробностей рассказывать не стану. Только одно вот и теперь у меня в глазах стоит. Женщи-

на навзничь на земле за шею и плечи к тележной оси привязана, чтобы не могла головы повернуть, — лежит не обожженная и не ободранная, а только с искривленным лицом — явно от ужаса померла, а перед нею высокий шест в землю вбит, и на нем младенец голый привязан — ее сын наверное — весь почерневший и с выкатившимися глазами, а подле и решетка с потухшими углями валяется".

Узнав от чудом спасшегося армянина (в колодец спрятался), что весь отряд башибузуков ушел по направлению к следующему армянскому селению, генерал со своими отрядами пошел им наперерез, через горы, и ему удалось вовремя настигнуть и уничтожить противника.

"Кончилось дело. А у меня на душе светлое Христово воскресение. Собрали мы своих убитых — тридцать семь человек Богу душу отдали. Положили их на ровном месте в несколько рядов, глаза закрыли". Затем генерал велел позвать старого урядника, начетчика. "Ну, говорю, Одарченко, дело походное, где нам тут в аллилуях разбираться, будь у нас за попа, — отпевай наших покойников. (...) Певчие тоже нашлись. Отпели чин-чином. Только священнического разрешения нельзя было дать, да тут его и не нужно было: разрешило их заранее слово Христово про тех, кто душу свою за други своя полагают".

На возражение князя, что все-таки это убийство и грех, генерал ответил: "А я вам вот что скажу. Так чиста моя совесть в этом деле, что я и теперь иногда от всей души жалею, что не умер я после того, как скомандовал последний залп. И ни малейшего у меня нет сомнения, что умри я тогда, — прямо предстал бы перед Всевышним со своими тридцатью семью убитыми казаками, и заняли бы мы свое место в раю рядом с добрым евангельским разбойником (...) И осталось это доброе дело до сих пор, да, конечно, и навеки останется самым лучшим, самым чистым моим воспоминанием. Ну-с, и было это мое единственное доброе дело — убийством, и убийством немалым...".

Но и этот пример не убедил князя, возразившего, что и башибузуки люди и, мол-де, их надо тоже жалеть и видеть в них братьев.

"Ну, разбери вас тут! — отвечал генерал. — То вы говорили, что злой человек есть то же, что зверь безответственный,

то теперь, по-вашему, башибузук, поджаривающий младенцев, может оказаться добрым евангельским разбойником! А по-моему, важно не то, что во всяком человеке есть зачатки и добра, и зла, а то, *что* из двух пересилило. Не то интересно, что из всякого виноградного сока можно и вино, и уксус сделать, а важно, что именно в этой-то бутылке заключается — вино или уксус. Потому что, если это уксус, а я стану его пить стаканами и других угощать, под тем же предлогом, что это из того же материала, что и вино, то ведь, кроме порчи желудка, я этой мудростью никакой услуги никому не окажу. Все люди братья. Прекрасно. Очень рад. Ну, а дальше-то что? Ведь братья-то бывают разные. И почему же не поинтересоваться, кто из моих братьев Каин и кто Авель? И если на моих глазах брат мой Каин дерет шкуру с брата моего Авеля, и я именно по неравнодушию к братьям дам брату Каину такую затрещину, чтобы ему больше не до озорства было, — вы вдруг меня укоряете, что я про братство забыл. Отлично помню, — поэтому и вмешался, а если бы не помнил, то мог бы спокойно мимо пройти".[1]

Итак, из того что говорил генерал, следует сделать вывод, что злу надо сопротивляться *и* силой. Каждый здравомыслящий человек признает, что генерал поступил правильно. Но дело это не обстоит *так просто*, как это понимает генерал, несколько наивный в своей прямолинейности. Убийство *есть* один из главных грехов и совершивший его грешник. У него, правда, могут быть смягчающие вину обстоятельства. Иногда, как это ни звучит парадоксально, приходится сознательно совершать грех до избежание греха большего. Об этом хорошо пишет С. Л. Франк в своей книге "Свет во тьме". В этом мире относительности нельзя абсолютизировать даже норму нравственного закона. Мир этот несовершенен и греховен, и мы, погруженные в эту греховную стихию, не можем пройти через жизнь, не запятнавши своих риз. *Ради любви к ближнему*, но не ради любви к самому себе,

1. *Владимир Соловьев*, "Три разговора", Нью Йорк, 1954. В предисловии автор рассказывает, что слышал эту историю из уст очевидца, Н. А. Вельяминова, участника русско-турецкой войны в 1887 г. Добавим, что в период первой мировой войны от турецкого геноцида погибло около 2.000.000 (двух миллионов) армян.

приходится иногда грешить, избирая из двух зол меньшее. Но даже совершая зло (грех) по необходимости, совершающий его не может возводить своего поступка, вернее — его мотив, в *норму* поведения, снимать с себя нравственную ответственность за совершенное: каждое зло должно *изживаться* как грех — в духовном сокрушении... И если со злом приходится бороться силой даже в личной жизни, то тем более — в общественной. Человек, поставленный или избранный для общественного служения, напр. — судья, полицейский, правитель, не может в общественных делах руководиться всегда теми принципами, которые оправданы в его личной жизни. Каков был бы судья, если бы он стал прощать преступников в силу максимы: "не судите, и да не судимы будете". ...Невольно приходит на мысль А. Керенский, которому вручена была огромная власть и ответственность за благо всего народа, не пожелавший силой бороться со злом, ибо не хотел "осквернять бонапартистскими методами". Это — "прелесть" этического либерализма.

Разоблачив *соблазн* непротивления злу силой в индивидуальном, так сказать, порядке, Соловьев переходит к проблеме взаимного истребления людей в государственных масштабах, т.е. к проблеме *войны*. Эту проблему освещает он с прогрессистских позиций *политика* и трудно сказать, разделяет ли Соловьев точку зрения последнего, или только *иронически* соглашается с ней. Второе предположение кажется более вероятным потому, что в завершающей "Три разговора" "Повести об Антихристе" говорится снова о войнах. Соловьеву, конечно, не дано было знать, что действительность XX века опровергнет все оптимистические прогнозы политика. Красной нитью через все его рассуждения проходит мысль, что люди перестанут убивать друг друга не в силу веры в единого Бога, у Которого все они — дети, а в силу *рационалистических соображений*, сводящихся к эгоизму. Жизнь, как нам известно, изобличила ложь и этого гедонистического лже-мессианизма.

Уже в первом разговоре г-н Зэт затронул эту тему, сказав, что войны несогласуемы с разумом человеческим. "Я всегда был уверен, что после введения общей воинской повинности упразднение войск, а затем и отдельных государств, есть только вопрос времени, и времени не слишком уж отдаленного при теперешн-

нем ускоренном ходе истории... Что милитаризм в Европе и в России съедает самого себя — это несомненно".

Основная ориентация *политика*, представителя *культурного европейского сословия*, гуманиста и немного скептического циника, выражена словами его собеседницы — *дамы:* " — Вы, ведь, хотели сказать, что времена переменились, что прежде был Бог и война, а теперь вместо Бога культура и мир. Так ведь?" Политик: "— Пожалуй, приблизительно так".

Здесь мысли политика перекликаются с мыслями князя. Последний тоже придерживался мнения, что историческое христианство не отвечает уже современным этическим требованиям и нуждам; политику же кажется, что христианство стало "отвратительным и смертельно-скучным".

Христианство без Христа и Евангелие без благой вести, *без веры в таинство и чудо,* — это есть известная из Евангелия "соль, потерявшая свою соленость". А представителю европейской интеллигенции, политику, кажется, что вообще говорить на религиозные темы — *неприлично.* Его легко можно было бы представить себе в греческом ареопаге, среди афинян, которые, услышав слова ап. Павла о воскресении мертвых, скептически заметили: "Об этом послушаем тебя в другое время" (Деян. 17:32). В его устах хорошо бы прозвучал и Пилатов вопрос — "Что есть истина?".

Единственная добродетель, которую политик признает, это *вежливость*, хороший тон и вкус. Вежливость, по его словам, это наименьший общий знаменатель межчеловеческих отношений, гарантирующий максимум общего *удобства* жизни. Культурная умеренность и размеренность жизни не должна нарушаться "дикими идеями". Всякая идейность — дурной тон. Уровень, который ему дорог, это уровень политической, социальной и культурной энтропии. "Я думаю, — говорит он, — что можно отлично существовать в таком обществе, где нет ни одного целомудренного, ни одного бескорыстного, ни одного самоотверженного человека. Я, по крайней мере, всегда недурно устраивался в таких компаниях". Для культурного общества "никаких высших добродетелей и никакого так называемого христианства не нужно".

Как закон энтропии велит различным температурам

выравниваться на самом низком общем уровне, так и между людьми должен безотказно действовать закон *взаимной выгоды*... Если человеческому "рацио" дано будет достаточно времени, то межчеловеческие отношения оптимально уравновесятся, т. е. займут такое положение, при котором индивидуальные блага будут находиться в наиболее гармонических отношениях друг к другу, все же вместе — по отношению к универсальному благу. А вежливость — это естественный симптом такой эвдемонической реальности. Войны, по мнению политика, имели смысл в период организации государств, в настоящее же время они стали не выгодными. Война "слишком дорогое, да и рискованное средство для таких целей, которые могут быть достигнуты дешевле и верней иным путем — (поэтому) *военный период истории кончился*".

Европейские народы, по мнению политика, суть члены одной и той же семьи, а "европеец" означает не только жителя Европы, но и определенный культурный тип, "хомо эуропеикус". Прогресс обеспечит "распространение Европы", как культурного явления, на весь земной шар. "Даже после наступления того желанного и, надеюсь, близкого часа, когда Европа или культурный мир действительно совпадут по объему со всем населением земного шара, — в объединенном и умиротворенном человечестве останутся все те натуральные и закрепленные историей градации и нюансы культурной ценности, которыми должны определяться наши различные отношения к различным народам. И в торжествующем, всеобъемлющем царстве высшей культуры, все равно как и в царстве небесном, — ина слава солнцу, ина слава луне, ина слава звездам, — звезда бо от звезды разнствует во славе...". "Мирная политика есть мерило и симптом культурного прогресса". "Мирное, т. е. вежливое, т. е. для всех выгодное улажение всех международных отношений и столкновений — вот незыблемая норма здравой политики в культурном человечестве".

А ведь так, как политик, думали многие передовые люди в России и в Западной Европе, пока вскоре взорвавшиеся две мировые войны, гитлеризм и сталинизм, уничтожившие более ста миллионов человек, не разбили в пух и прах надежды таких оптимистически-прекраснодушных культуртрегеров.

Тему третьего разговора, самого значительного в историософском смысле, определяет Соловьев устами г-на Зэт:

"...несомненно, что антихристианство, которое по библейскому воззрению — и ветхозаветному, и новозаветному — обозначает собою последний акт исторической трагедии, — что оно будет не простое неверие, или отрицание христианства, или материализм и тому подобное, а что это будет религиозное *самозванство*, когда имя Христово присвоят себе такие силы в человечестве, которые на деле и по существу чужды и прямо враждебны Христу и Духу Его".

Действительно в Ев. от Матфея приводятся слова Иисуса Христа: "Тогда, если кто скажет вам: 'вот, здесь Христос', или 'там', — не верьте; ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, я наперед сказал вам" (24:23-25).

Итак, тема третьего разговора — это прельщение *ложным добром*, безблагодатность которого следует из того, *кто* дает это добро. Очень интересно то, что Соловьев уже тогда обличил так называемый *профессиональный экуменизм*: "А уж, во всяком случае, — говорит политик, — к 'антихристам' следует отнести тех людей (...) что особенно хлопочут о христианстве, делают из него свое специальное занятие и из христианского имени какую-то монополию или привилегию". Как не вспомнить эти слова в связи с лицемерной политикой современных нам вождей Всемирного Совета Церквей, занимающихся лжехристианскими задачами в угоду антихристианским силам!

Психоз *мира любой ценой* несогласуем со словами Иисуса Христа: "Думаете ли вы, что Я мир пришел принести на землю? Нет, говорю вам, — но разделение" (Лук. 12:51). Христов мир (в обоих значениях этого слова) иной, чем тот, о котором помышляют земные идеологи и политики: "Мир оставляю вам, мир *Мой* даю вам; не так, как мір дает, Я даю вам" (Ин. 14:27).

Меч, принесенный Христом в этот мир, есть разделение добра и зла, истины и лжи, которые были в состоянии *смешения* до Него. Политик высказывает ложную мысль, что в результате прогресса зло в различных своих видах будет *атрофироваться* и различные виды добра "по самой природе вещей возникнут и разовьются". Ему правильно отвечает г-н Зэт, что "несомненные

успехи в положительную сторону" уравновешиваются столь же несомненным ростом отрицательных явлений; "растет плюс, растет и минус, а в результате получается что-то близкое к нулю".

Подводя итоги сказанному, г-н Зэт обращается к князю: "Я не сомневаюсь, князь, что вы по искреннему заблуждению принимаете ловкого самозванца за настоящего Бога. *Ловкость* самозванца есть для вас большое смягчающее обстоятельство; я и сам не сразу разобрал, в чем тут дело; но теперь уже для меня нет никаких сомнений, и вы поймете, с каким чувством я должен смотреть на то, что я считаю обманчивой и соблазнительной *личиной добра*..."

Эти слова вводят нас в проблематику "Повести об Антихристе", завершающей историософские построения Соловьева.

Впечатление, произведенное "Повестью об Антихристе" на современников Вл. Соловьева, в большинстве настроенных прогрессистско-оптимистически (вспомним, что это был канун нашего столетия), было похоже, как если бы в ясный день с безоблачного неба грянул гром. На читателя нашего времени, испытавшего на себе историю прошедшего полустолетия, повесть уже не производит такого сильного впечатления, ибо способность наша удивляться и поражаться — несколько притуплена. Слишком уж невероятное пришлось нам пережить на своем веку. Однако описание того, *как* "герой" повести становился постепенно антихристом — сохранило свою свежесть и по сей день. Процитируем наиболее существенные, с нашей точки зрения, тексты.

Вот биография героя повести.

"Был в это время между немногими верующими спиритуалистами один замечательный человек, — многие называли его сверхчеловеком, — который был одинаково далек как от умственного, так и от сердечного младенчества". "Он был еще юн, но благодаря своей высокой гениальности к тридцати трем годам широко прославился, как великий мыслитель, писатель и общественный деятель. Сознавая в самом себе великую силу духа, он был всегда убежденным спиритуалистом, и ясный ум всегда указывал ему истину того, во что должно верить: добро,

Бога, Мессию. В это он *верил*, но любил он только *одного себя*. Он верил в Бога, но в глубине души невольно и безотчетно предпочитал Ему себя. Он верил в Добро, но всевидящее око Вечности знало, что этот человек преклонится перед злою силою, лишь только она подкупит его — не обманом чувств и низких страстей и даже не высокой приманкой власти, а чрез одно безмерное самолюбие. Впрочем, это самолюбие не было ни безотчетным инстинктом, ни безумным притязанием. Помимо исключительной гениальности, красоты и благородства, высочайшее проявление воздержания, бескорыстия и деятельной благотворительности, казалось, достаточно оправдывали огромное самолюбие великого спиритуалиста, аскета и филантропа. И обвинят ли его за то, что столь обильно снабженный дарами Божьими, он увидел в них особые знаки исключительного благоволения к нему свыше и счел себя вторым по Боге; единственным в своем роде сыном Божиим. Одним словом, он признал себя тем, чем в действительности был Христос. Но это сознание своего высшего достоинства на деле определилось в нем не как его нравственная обязанность к Богу и миру, а как его право и преимущество перед другими и прежде всего перед Христом. У него не было первоначально вражды и к Иисусу. Он признавал Его мессианское значение и достоинство, но он искренно видел в Нем лишь своего величайшего предшественника, — нравственный подвиг Христа и Его абсолютная единственность были непонятны для этого омраченного самолюбием ума".

Он размышлял так: "Христос, проповедуя и в жизни Своей проявляя нравственное добро, был *исправителем* человечества, я же призван быть *благодетелем* этого отчасти исправленного, отчасти неисправимого человечества и дам всем людям все, что нужно. Христос, как моралист, разделял людей добром и злом, я соединю их благами, которые одинаково нужны и добрым и злым. Я буду настоящим представителем того Бога, который возводит солнце свое над добрыми и злыми, дождит на праведных и неправедных. Христос принес меч, я принесу мир. Он грозил земле страшным последним судом. Но ведь последним судьей буду я, и суд мой будет не судом правды только, а судом милости. Будет и правда в моем суде, но не правда воздаятельная, а правда распределительная. Я всех различу и каждому дам,

что ему нужно".

Когда кандидату в антихристы начало казаться, что время идет, а он все-таки не достигает чего-то главного, и что, может быть, все-таки Христос — первый, а не он, то в его сердце закрадывается *зависть*, а затем и *ненависть* к Нему. Но вот наступает момент, когда "сверхчеловек" *становится* антихристом, приняв назначение на миссию от Злого Духа: "Прими дух мой...". Вместе с принятием этого духа, антихрист обретает необыкновенную силу над людьми и событиями. Чем же прельщает он людей? Приведем текст программы в проспекте той книги, которую он собирается подарить человечеству, как новый вид Писания.

"Это будет что-то всеобъемлющее и примиряющее все противоречия. Здесь соединятся благородная почтительность к древним преданиям и символам с широким и смелым радикализмом общественно-политических требований и указаний, неограниченная свобода мысли с глубочайшим пониманием всего мистического, безусловный индивидуализм с горячей преданностью обшему благу, самый возвышенный идеализм руководяших начал с полной определенностью и жизненностью практических решений. И всё это будет соединено и связано с таким гениальным художеством, что всякому одностороннему мыслителю или деятелю легко будет видеть и принять целое лишь под своим частным наличным углом зрения, ничем не жертвуя для *самой истины*, не возвышаясь для нее действительно над своим *Я*, нисколько не отказываясь *на деле* от своей односторонности, ни в чем не исправляя ошибочности своих взглядов и стремлений, ничем не восполняя их недостаточность. (...) Никто не будет возражать на эту книгу, она покажется каждому откровением всецелой правды. Всему прошедшему будет воздана в ней такая полная справедливость, всё текушее оценено так беспристрастно и всесторонне, что всякий скажет: "— Вот оно, то самое, что нам нужно; вот идеал, который не есть утопия, вот замысел, который не есть химера". И чудный писатель не только увлечет всех, но он будет **всякому** *приятен*, так, что исполнится слово Христово "Я пришел во имя Отца, и не принимаете меня, придет *другой* во имя *свое*, того *примете*". Одного не найдут читатели в этой книге — имени Христа".

В области политики и прагматики антихрист произведет объединение государств, с одной законодательной и исполнительной властью, сосредоточенной в его руках. Он даст долгожданный мир людям. Он произведет социальные реформы и обеспечит человечество *равенством всеобщей сытости*. А так как сытое население начнет, как это свойственно человеку, *скучать*, то он обеспечит людей сверху запрограммированной системой развлечений.

Останется одна область, доселе остающаяся частным делом людей — религиозная. И к ней, наконец, подберется антихрист, нареченный "императором". Он пожелает стать верховным жрецом всех религий, "понтифекс максимус". Для этого он созовет вселенский собор каждому вероисповеданию то, чего оно только себе пожелает, под одним условием — признания его "единственным заступником и покровителем", "истинным вождем и владыкой" и "державным вождем и новым доктором теологии". В своем лице он захочет объединить разделенные церкви. Ему удастся прельстить большинство людей, по его антихристову природу разоблачит православный старец Иоанн и присоединившиеся к нему главы католической и протестантской церквей — Петр II и проф. Паули. В эсхатологическом свершении верные Христу остатки христиан, в лице своих первоиерархов, совершат соединение Церквей, а антихрист, после определенного периода торжества и господства, погибнет от руки Господней.

"Повесть об Антихристе" — это историософский трактат в литературной форме и поэтому в соловьевской концепции антихриста следует усмотреть нечто большее, чем фабула и литературная обработка библейского сюжета позволяют.

Мы уже отметили, что это произведение было написано незадолго до безвременной смерти автора, смерти, приближение которой он чувствовал и о которой он написал в предисловии к этой книге.

Предгрозовое настроение ощущалось им и в личном, и в объективном порядке. Перед чтением рукописи в "третьем разговоре" это предгрозовое настроение ощущают все, кроме князя. Не важно, в чьи уста вложил Соловьев эти мысли, но они — его мысли. "Не знаю, что это такое: зрение ли у меня туманится от старости, или в природе что-нибудь делается? Только я замечаю,

что ни в какой сезон и ни в какой местности нет уже теперь больше тех ярких, а то совсем прозрачных дней, какие бывали прежде во всех климатах" (...). "...и не только в воздухе, но и в душе: и здесь нет 'полной ясности', как вы говорите. Всё какая-то тревога и как будто предчувствие какое-то зловещее". И действительно, вскоре после написания "Трех разговоров" умер великий русский философ, а еще короткое время спустя — разразилась над миром буря первой мировой войны со всеми ее антихристовыми последствиями.

Вл. Соловьев, один из наиболее одаренных мыслителей дореволюционной России, нелегко укладывается в привычные классификационные рамки. Слишком динамична была его личность, слишком резкие грани проходят между отдельными этапами его творчества. Всегда следует уточнять, о *каком* Соловьеве идет речь. О Соловьеве — мессианисте нельзя судить по его последним писаниям. Но и то, что он написал в "Трех разговорах", имеет косвенную связь с мессианизмом, ибо это можно расценивать как попытку *разоблачить мессианизм*. Постараемся обосновать это суждение.

Г. Федотов прямо утверждает, что в "Трех разговорах" Соловьев отрекся "от того, чему служил всю жизнь: от идеала христианской культуры".

Судьба самого антихриста, да и его личность, никаких возражений не вызывает. Судьба "малого стада", оставшегося верным Христу, тоже ясна и согласна с тем, что сказано о ней в Св. Писании. Сложная проблематика возникает в связи с поведением и судьбой большинства иерархии и населения, которое по первому зову пошло за антихристом, не зная, по существу, что он — антихрист. В этой группе легко мог очутиться и пишущий эти строки, и читающий их — не по злой воле, а по понятному недомыслию. Ведь все те "блага", которые "император" предложил людям, сами по себе (или сами-в-себе) суть действительные блага, о ниспослании нам которых мы молимся в церквах: пришествие Царства Божия, дарование хлеба насущного, мирного жития, благоденствия, изобилия плодов земных, дарование победы над супостатами и т. п. Добродетели, описываемые в книге антихриста "Открытый путь к вселенскому миру и благоденствию", суть подлинные добродетели, развитию которых

посвящает себя педагогика.

Соловьев не указывает, *что* злого во всем этом, *как таковом,* и какие субституты он сам бы предложил людям взамен за эти "блага". Зло самого антихриста, каким его изобразил Соловьев, понятно: он пользуется добром, как *средством* достижения личной цели, и поэтому все то, что бы он ни делал, автоматически получает знак минус. Только то добро, которое совершается во имя любви, пользует и доброделателя. Но даже и здесь имеются соблазны. В каждом акте доброделания можно различить три момента: совершителя акта, содержание акта и объект акта, или, иными словами, того, *кто* делает добро, *какое* добро он делает и того, *кому* это добро делается. В зависимости от ударения бывает и различная аксиологическая оценка.

Если добро делается для того, чтобы пощекотать свое тщеславие, то оно является добром для пациента (кому оно делается) и злом для того, кто развивает в себе порок спеси, гордости и самолюбия.

Если добро совершается *по любви к благотворительности*, то для совершителя — этот акт скорее нейтрален, совершается по умонастроению, а не сердцерасположению. Пример: человек жертвует на благотворительные цели, но *проходит мимо* живого нищего. И только в том случае, когда целью доброделяния является *любовь к ближнему*, забота *о нем* и сострадательная помощь *ему*, там добро обоюдное. Нам кажется, что этот аспект добра недостаточно выражен у Соловьева. Ибо, если отказаться от такой точки зрения, то можно впасть в манихейство и гнушаться всякой культурной ценностью.

Кроме того, комплексом культурных ценностей (длительный мир, надлежащее распределение труда и средств потребления, социальное обеспечение, литература, науки и т. п.), созданных антихристом, пользовались раньше и те христиане, которые лишь впоследствии последовали за "тремя патриархами" в пустыню: значит, пользованием благами цивилизации они себя не осквернили и из-за него в грех не впали. Отказаться от этого, от *всякого* достижения человеческого разума, это значит либо совершить массовое самоубийство, либо вернуться в дикое состояние.

Кажется нам, что и выражение "ложное добро", заключает в

себе внутреннее противоречие, во всяком случае пользоваться им надо с оговоркой. "Личина добра", "кажущееся добро" или "мнимое добро", как будто более подходящие выражения.

В этой же связи Федотов отмечает, что при манихейской установке возникает грех "подозрительности к добру", т. е. заподазривание злого во всем, встречающемся в жизни, панический страх перед *новым*, априори осуждаемым в качестве происходящего "от лукавого". Такое отношение, возведенное в принцип, квалифицируется как согрешение против Духа Св. Шарахаясь от антихриста кажущегося можно попасть в объятия дьявола настоящего, говорит Федотов. В этой крайности имеются свои "прелести", тонкие искушения, как, напр.: "эстетическое обаяние культа, мистика таинств, соблазны тонкой гордыни, ложного смирения, тонкой эротики ложного аскетизма", а также идеология "насильственного добра".

"Повесть об Антихристе" местами кажется недостаточно разработанной, некоторые ситуации представлены почти конспективно, но этому нельзя удивляться, ибо писал же Соловьев в предисловии в этой книге: "Разнообразные недостатки и в этом исправленном изложении достаточно мне чувствительны, но *ощутителен и не так уж далекий образ бледной смерти,* тихо советующий не откладывание печатания этой книжки на неопределенные и необеспеченные сроки". Как известно, книга эта была написана в 1898-1900 гг., а в июне 1900 г. пророчество Соловьева о самом себе трагически исполнилось.

Игумен Геннадий (Эйкалович)

НЕИСПОЛЬЗОВАННОЕ И ГИБНУЩЕЕ НАСЛЕДСТВО

Недавно я был случайным слушателем разговора двух очень пожилых джентльменов, участников борьбы между белыми и красными в период 1917-1920 гг. Оба были офицерами армии Деникина. Это был даже не просто разговор, а горячий спор о действиях командира офицерской роты, в которой оба они состояли. Рота защищала переправу на маленькой степной речке и вынуждена была отступить под натиском отряда красной кавалерии. Оба ветерана гражданской войны очевидно были совершенно убеждены, что именно в этот памятный для них день решился весь исход борьбы между наступающим большевизмом и теряющим почву под ногами Белым Движением на просторах гибнувшей Российской Империи. Несколько слушателей этого диспута, позёвывая и посмеиваясь, ушли, внутренне улыбаясь, отошёл и я. И в самом деле, кого может сейчас интересовать стычка сотни юных офицеров деникинской армии с сотней будёновских кавалеристов, происшедшая 63 года тому назад где-то в степях у Каховки?

Отошёл я и вдруг понял, что нет в этом споре двух стариков ничего смешного. Каждый из нас, попавших в вихри событий революции 1917-го или в водоворот войны 1941 года, так или иначе в своём прошлом пережил какой-то момент, кульминационную точку в своей "маленькой истории", оставившей неисчезающий с годами след. Вот почему эти бывшие офицеры так горячо спорили о маленьком событии с точки зрения "большой истории".

Через несколько дней я снова оказался невольным свиде-

телем встречи двух ещё не "совсем старых" джентльменов, у которых оказалось сходное прошлое и общие переживания. Оба были офицерами Красной Армии, попали в плен к немцам в конце 1941-го года, оказались в числе счастливцев, переживших зиму в лагерях военнопленных в Польше, и оба в 1944 году добровольно пошли в Русскую Освободительную Армию генерала Власова. У них конечно нашлось сразу много тем для разговора и, как полагается, для спора. Сперва, окружающие их гости слушали с вежливым интересом, потом без него, а когда разговор между двумя ветеранами войны 41-45 гг. стал затягиваться, один за другим с улыбками отошли от них... Это понятно, кого сейчас могут интересовать переживания гибнувших от голода, холода, тифа и дизентерии советских военнопленных в лагерях Замостья, Бялой Подляски и Кенигсберга или причины, оправдывающие их решение пойти в РОА? Ведь всё это было 38 лет тому назад... "раздражающая и скучная история". Прошло, ну и слава Богу, забудем, есть много более интересных тем для разговора в кругу хороших знакомых.

Но на этот раз, я остался слушать и, слушая их внимательно, стал вспоминать свои "маленькие переживания" в годы, когда делалась "большая история". По истине "Большая история"! В результате этой истории Советский Союз — товарищ по оружию западных демократий в борьбе против Третьего Рейха, — захватил под свой контроль чуть ли не половину земного шара и вот уже в продолжение тридцати пяти лет ведёт часто успешную, дипломатическую большую войну против своих же бывших союзников, спасших его от полного разгрома.

Фактически западные страны, выиграв войну против гитлеровской Германии, проиграли мир. Политические ошибки и недооценка сил и намерений Советского Союза привели мир к состоянию перманентной, то затухающей то разгорающейся, холодной войны с СССР и к всё возрастающей возможности взрыва 3-й мировой войны при малейшей неосторожности.

Две волны эмиграции выплеснутые на берега свободного мира и разделённые четвертью столетия по времени, имеют много сходства, но и много различия между собой. Их объединяют чувства ненависти к политической системе в СССР, к тому что называется большевизмом, советским коммунизмом, ко всем

тем античеловеческим и антиморальным устоям, на которых зиждится советская власть.

Вторая волна российской эмиграции на все сто процентов состояла из людей, имевших 25-летний опыт жизни в условиях Советского Союза, а многих и родившихся уже после революции, советских граждан, солдат и офицеров Красной Армии, интеллигенции, рабочих и крестьян, воспользовавшихся впервые широко открывшимися дверьми и бросившими свою Родину (а часто и своих близких), предпочтя свободу в чужом и неизвестном мире хорошо им известной тюремной жизни в СССР. Исход этой массы людей из Страны Советов, так или иначе был связан с нацистской Германией, единственной силой, которая в то время могла им помочь. Весь остальной мир был союзником их смертельного врага, и они оказались в лагере гибнувшей, под ударами демократий Америки, Англии и Франции с запада и советского тоталитаризма с востока, гитлеровской Германии. И когда война кончилась, то их и приняли как союзников разбитого врага: с подозрением и недоброжелательством! Для Советского Союза вторая волна была массой изменников, нарушивших присягу своей стране, коллаборантами, предателями и преступниками, перешедшими на сторону врага, а потому подлежащими физическому уничтожению несмотря на их 3-х миллионное количество.

Весь свой вес и влияние военного союзника и участника в разгроме Германии СССР употребил на то, чтобы эту же оценку массы беженцев из СССР, военнопленных и, конечно, добровольцев РОА, приняли и Союзники. И в первые послевоенные месяцы это очень успешно достигалось. Бесконечные проверки в лагерях ДП при участии представителей НКВД, организации насильственной групповой репатриации, несмотря на массовые протесты и самоубийства выдаваемых на жестокую расправу беженцев, аресты и передача отдельных лиц в руки советских властей и снова проверки, всё это производилось американцами, англичанами и французами по требованию СССР. Организация, созданная для заботы о беженцах, американская УНРА, была насквозь пронизана коммунистами, попутчиками и агентурой НКВД. Эти условия, конечно, не способствовали объединению в среде второй эмиграции или созданию в ней каких-либо

её организаций. Наоборот, люди старались затеряться в массе других, более счастливых беженцев, по законам не подлежаших репатриации, выдавая себя за старых эмигрантов, выходцев из Польши, Прибалтийских государств, меняя свои фамилии и подделывая документы. Главное было не попасть в липкую паутину советских организаций, действовавших везде, где сосредотачивались беженцы.

Только через три-четыре года по окончании войны, когда основная масса второй эмиграции наконец как-то начала устраиваться в странах принявших её и люди почувствовали относительную безопасность, начались первые шаги к созданию своих организаций и к более близкому контакту с общественностью первой волны старой эмиграции. В эти времена многие представители уже устроенной и опытной в жизни вне родины первой эмиграции не проявляли особо нежных чувств к своим коллегам из второй волны. Несмотря на общие чувства ненависти к советскому большевизму, для старой эмиграции новые пришельцы были "подсоветские люди" с совершенно другим воспитанием, другим уровнем культуры, другим образом мышления. Дети одних родителей, разлучённые в детстве и встретившиеся после 25-летней разлуки, прожившие это время в совершенно не похожих условиях, конечно, будут весьма различны по своему духовному облику.

Разница условий первых нескольких лет жизни двух волн российской эмиграции вне своей страны решительно повлияла на их возможности в деле информации свободного мира о событиях, заставивших их сделаться эмигрантами, а также опубликовать правдивый исторический обзор этих событий в противовес стремлению Советского Союза фальсифицировать историю в своих интересах.

Первая эмиграция в этом отношении проделала огромную исторически важную работу. Используя свои политические и материальные возможности, наличие в своей среде значительного количества писателей, журналистов и общественных деятелей с именами известными не только в России, но и за границей, симпатию европейской общественности к их судьбе, свою объединённость и организованность, первая эмиграция создала свою литературу всех жанров и направлений. Мемуары, воспо-

минания, повести, романы, поэтические произведения, исторические трактаты, политические обзоры, книги, журналы, газеты. Всё это появлялось во множестве и среди моря этих публикаций немало было значительных, талантливых произведений, переведённых на многие языки и ставших украшением многих библиотек во всём мире. Поэтому все попытки со стороны Советской страны переписать по-своему страницы истории 1917-1922 годов, не привели ни к чему, мир знал правду и видел обе стороны медали. Кроме того, многие произведения авторов первой эмиграции дали в руки свободного мира возможность критического восприятия всех сообщений, идущих из Советского Союза и определения их фактической исторической ценности.

Первая эмиграция скрупулёзно собрала большие, средние и мелкие события революции и гражданской войны воедино и сложила их на полках истории. Даже описание незначительной стычки офицерской роты с эскадроном красных кавалеристов на переправе степной речки наверное где-то нашло своё место.

Вторая эмиграция не успела этого сделать. Европейские центры — Белград, Прага, Берлин и Париж, где концентрировалась деятельность первой, для второй эмиграции были закрыты. После беженских лагерей, эта вторая волна эмиграции оказалась в таких странах, как Соединенные Штаты, Аргентина, Бразилия, Австралия... Потребовалось ещё дополнительное время чтобы хоть как-нибудь приспособиться к экзотике "нового мира", нового во всех смыслах этого слова. О прошлом не было времени подумать, нужно было отдавать всю энергию для настоящего, чтобы существовать "сегодня", и будущему, чтобы не погибнуть "завтра". Наконец пришло время, когда можно было оглянуться назад и пересмотреть свой багаж прошлого. В этом багаже нашлось много, очень много, чрезвычайно ценного: документы, записи, дневники и главное ещё свежая память того, что произошло и как произошло в эти памятные годы, от июля 1941 до мая 1945. Но время было потеряно! В новых странах "российского рассеяния" не было общественного интереса к маленьким кусочкам "личных историй", пусть даже являющихся необходимым составляющим всей "большой истории". Опубликовать что-нибудь было почти немыслимо. Свой русский читательский рынок не представлял возможности редким русским

издательствам принять на себя финансовый риск по выпуску книг. Конечно, существовала и существует сегодня возможность издания мемуаров, рассказов, воспоминаний... чего угодно, но за свой счёт. Ряд авторов-энтузиастов, переполненных воспоминаниями, рискнули. Но редко кто достиг успеха. Большинство, получив от издателя 500 или 1000 экземпляров своих произведений, сложили эти дорогие их сердцу "кусочки истории" у себя. Реакция читающей публики обычная: "Да, слышал я об этой книжке, говорят хорошо написана... нет, покупать не буду, зачем деньги тратить? Иван Иванович купил, когда прочтёт, передаст госпоже А., а она передаст нам с женой, вот и познакомимся, нам не к спеху!"

Мир занят новыми насущными вопросами и все эти маленькие детали большого катаклизма истории 1941-45 годов всё больше уходят в туман прошлого. Живые свидетели, участники, хранители редких документов, и авторы неопубликованных воспоминаний, записей и литературных произведений, стареют и один за другим уходят из жизни, оставляя в ящиках письменных столов пачки исписанных листов, документов, связок писем, пожелтевших фотографий... Наследники, часто уже плохо читающие или совсем не читающие по-русски, выполняя печальную необходимость ликвидации личных вещей умершего отца, матери или какого-то родственника, собирают всё это наследство в кучу вместе с оплаченными счетами за газ, электричество и прочим бумажным хламом и уничтожают, даже не подозревая какое преступление они совершают. Да преступление! Не с точки зрения уничтожения "оригинала литературного произведения" т. к. литературная ценность этих рукописей обычно посредственна, но с точки зрения уничтожения уникальных записей фактов, свидетельских показаний для суда истории. Ведь в этих гибнущих или уже погибших рукописях — богатый, искренний и правдивый материал для будущих, скажем уже запоздалых, историков, чтобы они могли дать правдивый анализ истории этих лет и уроки её для будущего.

Этот печальный факт постепенного исчезновения из памяти человечества документации исключительного явления второй эмиграции недооценивается в кругах рассеяния российской эмиграции и среди общественности свободного мира. Ложь

повторенная сто раз, в особенности при отсутствии громких опровержений, часто превращается в правду! Этим правилом широко воспользовался Советский Союз, чтобы представить миру и записать в историю свою версию событий и причин этого явления. Настоящая, правдивая картина всех этих событий слишком страшна и опасна для тоталитарного строя и всей его философской основы.

Один из представителей "третьей волны", ознакомившись с содержанием довольно любительски написанной рукописи, но содержащей много малоизвестных фактов, сказал: "Здесь это не пойдёт, максимум 300 экземпляров, это не коммерция! Вот если бы эту вещь можно было бы выпустить в Советском Союзе, то стотысячный тираж гарантирую... и я бы хорошо заработал на этом деле!" Конечно это так, этот господин ещё недавно работал в Госиздате и хорошо знает ёмкость читательского рынка в СССР, интересы публики и постоянную жажду увидеть другую сторону каждого вопроса вместо надоевшей лживой советской пропаганды.

Пленные, беженцы, добровольцы РОА... Сталин в своё время отказался подписать международную конвенцию Красного Креста о правилах содержания и ответственности за военнопленных. Он сказал, что согласно присяге каждый военнослужащий Красной Армии обязан бороться с врагом до последней капли крови и, следовательно, сдавшийся в плен — нарушитель присяги, преступник против "советской родины" и СССР не интересуется его существованием. За первые 5-6 месяцев войны таких "преступников, нарушивших присягу" оказалось по одним подсчётам 2,5 миллиона, по другим до 4-х. Солдаты и офицеры "непобедимой Красной Армии", призванные воевать только на территории врага, т. к. "ни одной пяди своей земли мы врагу не отдадим", отдавали врагу сотни километров советских земель, массами сдаваясь в плен почти без сопротивления. В самый решающий момент истории Советского Союза защитники его границ, не захотели защищать не только границы, но и целые области, и победоносное движение немцев до Москвы и до Ленинграда объяснять только тем, что это был внезапный "предательский удар", слишком нелепо и неправдоподобно. Лишь идиотско-звериное отношение немцев к массе сдавшихся в

плен советских военнослужащих, освобождённых от всякой ответственности за их жизнь самим Сталиным, и нечеловеческие условия существования пленных в лагерях, приостановили поток пленных. Оказалось, что действительно лучше быть убитым в бою, чем погибнуть в немецком плену. Сколько в действительности попало в плен? Сколько пленных погибло в немецких лагерях? Что происходило в этих лагерях? Почему самым жестоким истязателем пленных была *своя внутренняя лагерная полиция*, состоящая из тех же пленных советских солдат и офицеров? Сколько пленных вернулось после войны домой и какова их судьба? А сколько не пожелало вернуться и всякими правдами и неправдами, сумев вырваться из-за проволоки лагерей, осталось вне досягаемости советских властей? Что предшествовало и что послужило причиной этого феноменального явления: отказа многомиллионной массы молодых граждан многонационального Советского Союза, "ровесников Октября", воспитанников "Великой Партии Ленина и Сталина", зашищать свою Социалистическую Родину, партию и правительство? Важность правдивого ответа на эти вопросы для анализа прошлого и прогноза на будущее переоценить нельзя. А искать ответы в советских источниках, наивно и глупо.

Население встречало немецкие войска с цветами, с хлебом и солью, как освободителей от советского рабства! Это действительно было во многих местах. Но радость "освобождения" длилась очень короткое время, немцы быстро доказали "освобождённому от юдо-коммунизма" населению, что сбежавшее на восток советское НКВД, ничем не лучше пришедшего с запада немецкого Гестапо. Немцы вели себя в оккупированной части Советского Союза дико-жестоко и недальновидно-глупо, они и были ответственны за вспыхнувший пожар партизаншины... Так почему-же, когда счастье им изменило и они начали своё отступление, вместе с ними всё-таки уходило население? Не отдельные "коллаборанты, продавшиеся врагу", не "классовые враги и контрреволюционеры", а сотни тысяч рабочих с заводов, крестьян из колхозов, учителей, инженеров, докторов, университетских профессоров и т. д. Бросали всё что имели и с детьми, со стариками, пользуясь всеми возможными видами транспорта от поездов до телег запряженных клячей и до собственных ног

вместе с колоннами немецких войск или вслед за ними уходили в неизвестность, спасаясь от приближающейся Красной Армии, т. е. от советской власти, несущей опять-таки "освобождение", но теперь уж от "нацистов-захватчиков". Почему люди, включившиеся в этот массовый исход, в конечном итоге предпочли своё изгнание радостной встрече со своей советской жизнью после трёхлетней разлуки? Если бы дело касалось нескольких тысяч, советские объяснения можно было бы принять, но уходили многие сотни и сотни тысяч! Сколько людей ушло? Куда они переселились? Много ли из них вернулось домой? Попробуйте получить более или менее точные ответы на эти, опять-таки первостепенной важности для истории, вопросы и вы увидите, что это почти невозможно. Конечно среди рукописей и описаний "маленьких личных" трагедий и драм, гибнущих вместе с бумажным хламом, точных статистических данных — мало, хотя и их можно там найти, но зато там бесчисленное количество ответов на первопричины, породившие эту статистику.

И наконец, РОА, Русская Освободительная Армия! Писательница Ирина Сабурова как-то назвала это явление "Трагическая феерия РОА". Это, без всякого преувеличения, феноменальное явление в истории, оплёванное и опачканное стараниями Советского Союза и некоторых политических группировок в западных странах, до сих пор свободным миром не понято. Для этого мира, главная загадочность заключается в том, что армия генерала Власова по крайней мере на 75% состояла из бывших военнопленных и, так называемых, "остовских" рабочих, насильно увезенных из районов оккупации на работы в Германию. Это были как раз те группы населения СССР, которые в наибольшей степени пострадали от своего "знакомства" с гитлеровским нацизмом и его патологической жестокостью и всё же добровольно ставшие солдатами РОА, военного союзника этого гитлеровского нацизма для борьбы с наступающим советским коммунизмом. И чем ближе Красная Армия подходила к границам Германии, тем больше усиливался поток добровольцев, записывающихся в РОА. Только в последней стадии войны немцы наконец стали понимать, что без активного участия российских народов на их стороне в борьбе с коммунистическим СССР, их победа немыслима и даже не по-

беда, а дальнейшее существование. Но, создание мощной вооруженной освободительной силы из подсоветских народов со своим политическим руководством в случае успеха, гарантировало организацию нового государственного устроения на территориях Советского Союза, вне сомнения антагонистического любым домогательствам гитлеризма. Крылатая фраза в массах РОАвцев — "первая пуля по коммунисту, вторая по немцу-нацисту, а третья про запас — себе в лоб при нужде" была хорошо известна немцам и принималась ими вполне всерьёз! Но всё же, утопающий хватается за соломинку, Гитлер был вынужден согласиться на создание РОА. Другого союзника в этой отчаянной и последней попытке в то время история не представила и в результате создался странный, неестественный союз российской демократии КОНР-а и немецкого нацизма. Что представляла собой РОА, как она была организована качественно и количественно? Сколько было людей под командой Власова, как они были подготовлены психологически и в военном отношении к борьбе с Красной Армией? Какие планы были у командования РОА, конечно прекрасно понимавшего, что уже в середине 1944 года Третий Рейх катился по наклонной плоскости в пропасть гибели. Были ли установлены хоть какие-нибудь связи с западными союзниками? Как воспринимала вся масса людей самых разных национальностей из Советского Союза, в немецкой форме с значком, изображающим андреевский флаг, и тремя буквами РОА на рукаве, своё неуверенное настоящее и мрачное будущее? Расшифровывали "РОА", как "Русская Обречённая Армия".

Среди нескольких десятков статей и полторы дюжины книг, выпущенных за все эти годы, найти исчерпывающие ответы на все эти и сотни других вопросов, касающихся этих необыкновенных решающих лет 1941-1945 не представляется возможным. Опубликованная литература 2-ой эмиграции поразительно бедна и по количеству и по качеству. Фактическое историческое наследство использовано в очень малом проценте, а остальное из ящиков письменных столов умирающих свидетелей и участников событий этих лет, идет в огонь вместе с завалявшимися счетами и квитанциями...

Победителем в этой истории "исчезновения истории", конеч-

но, является Советский Союз. Там так же, как и в свободном мире, вопросам гражданской войны посвящены многие сотни книг литературных и исторических произведений. Это была одна из излюбленных тем, используя которую с тенденцией и подтасовкой фактов, можно было легко доказывать своему населению и до известной степени другим странам тезис о "славе и неизбежности победы угнетённых над угнетателями". Массы рабочих и крестьян, объединившись под руководством "Славной Партии Большевиков и её вождя Ленина" победили и изгнали из страны капиталистов и помещиков и создали "Социалистическое, своё самое справедливое, самое демократическое и самое счастливое государство"! Во всяком случае здесь есть элемент правды: победили, изгнали и создали... остальное зависит от силы и методов убеждения и от места занимаемого отдельной личностью в этом "созданном государстве".

Первая эмиграция зачислена давно в эту категорию "побеждённых и изгнанных капиталистов и помещиков". Всё просто и понятно! Совсем другое положение с "эмиграцией № 2"! Само наличие её является полным, неопровержимым доказательством абсолютного банкротства всего философского основания системы советского социализма, всей системы Советского Союза, построенной на обмане и лжи. Не изгнаны, а сами *добровольно ушедшие*! Не капиталисты и помещики, а рабочие, крестьяне, советская интеллигенция, воспитанники и ровесники Октября! Во всей этой истории для Советской Власти является кошмаром мысль о том, что если тогда, при тех далеко не благоприятных условиях, была большая тяга среди советских людей к борьбе против собственного правительства, то что же может произойти, если противником в будущем вооруженном столкновении окажется такая страна, как США или подобная им, у которой не будет территориальных притязаний и нет чувств расовой нетерпимости? Основные настроения массы подсоветского населения мало изменились за эти годы, а если и изменились, то в сторону, не выгодную для Кремля. "Комсомольский советский патриотизм" давно полностью исчез, народ давно потерял веру в "будущий коммунистический рай" и если в 1941 году народу нечего было защищать, то теперь и подавно нечего.

Слишком ясная картина, её трудно использовать в нужном

направлении, поэтому необходимо уничтожить эти позорные страницы советской истории, делая вид, что их совсем не было. В этом фальсификаторы истории весьма преуспевают, используя разветвлённую по всему миру систему искажения правды, фальшивой информации, подделок и пропаганды, при безразличии и отсутствии интереса в свободном мире и молчаливой инертности первой и второй политических эмиграций! Ложь, повторенная сто раз, делается правдой! Пленные — нарушители присяги, с немцами ушли немногочисленные группы ренегатов и коллаборантов, добровольцы РОА — банды бандитов и изменников, продавшихся врагу! Вот и всё, просто и понятно!

Можно ли как-то остановить этот процесс уничтожения свидетельских показаний, судебных улик и вещественных доказательств для суда истории? Вероятно нет... для этого потребовалось бы нечто, чем мы уже не обладаем: временем, направленной организацией, средствами и настойчивым желанием восстановить истину. Очевидно на полках истории российских эмиграций будет много материалов о первой и третьей волнах и очень мало о второй.

Кстати о 3-й волне эмиграции, самой малочисленной и самой счастливой. С очень большой натяжкой эту эмиграцию можно назвать политической. В основном это точно определённая, этническая эмиграция, состоящая почти сплошь из евреев, небольшого количества армян и ещё меньшего количества немцев. Комбинация вынужденных уступок в политике Кремля и сильный нажим США, дали возможность лицам еврейского происхождения получить визы на выезд в государство Израиль на основе международного соглашения о "воссоединении семей". Первые группы этой волны действительно направлялись по месту своего назначения, но вскоре положение изменилось. Оказалось, что редко кто из представителей 3-й волны имел достаточный запас патриотизма, храбрости и желания селиться в пограничных кибуцах и с автоматом на шее заниматься тяжёлой, совершенно непривычной для них работой. Не для этого они рискнули объявить там в СССР о своём желании покинуть Советский Союз и освободиться от "обязанностей" советского гражданина. В результате, огромное большинство третьей волны оказалось в Америке. Еврейская общественность Америки при-

няла их с распростёртыми объятиями, организовывая разнообразную помощь, моральную поддержку, финансовое обеспечение на первое время и подыскание работы. Они покидали свою родину не под огнём пулемётов, не во время военного хаоса бегства или отступления, бросая всё, сохраняя свою жизнь, наоборот они в мирной обстановке, хотя часто и очень эмоционально напряженной, складывали свои чемоданы, забирали с собой очень много личного имущества, включая коммерческие ценности, им предоставлялся транспорт для вещей,билеты на аэропланы. И самое главное, что все эти люди знали, что после какого-то периода относительных неприятностей, им всем обеспечен дружеский приём и тёплое, всестороннее участие в их судьбе. Кроме того, значительный процент представителей третьей эмиграции занимал довольно привилегированное положение в "том" мире до своего заявления о желании эмигрировать, среди них оказалось много "работников печати" с опытом и знаниями в этой области. Всё это вместе взятое представило исключительно благоприятные условия быстрого появления литературы 3-й эмиграции, в большом количестве и на многих языках. Фактически эта литература начала появляться в свободном мире как предшественница третьей эмиграции. Публикации "Самиздата" и рукописи диссидентов и оппозиционеров из СССР в большом количестве передавались на Запад и публиковались здесь. В те времена, когда люди, потом оказавшиеся во 2-й волне эмиграции, ещё были дома советскими гражданами, такие вещи были совершенно немыслимы, авторы таких произведений, прежде чем имена их стали бы известны, погибли бы на островах "Архипелага ГУЛаг". Одно интересное обстоятельство. Третья эмиграция привезла с собой полностью советское отношение к людям второй эмиграции и советское определение её как "нацистской", а, следовательно, огульно "антисемитской". Вероятно это естественная реакция уже "потомственных гомо советикус" второго и третьего поколения их, тем более что в то время, когда образовалась вторая волна, родители третьей в большинстве были функционерами именно той тоталитарной системы, от которой бежала на Запад масса людей второй эмиграции. Достаточно трагичный факт! Конечно, это специфическое отношение последней волны эмиграции к

своим "коллегам", вырвавшимся из объятий мачехи-родины на 35 лет раньше, во многом может ускорить процесс исчезновения и уничтожения страниц "Истории Советского Союза" нежелательных для власти.

Несколько лет тому назад я опубликовал в эмигрантской печати, или лучше сказать, в изданиях американцев русского происхождения, несколько отрывков из повести о жизни советских военнопленных в немецких лагерях. Один знакомый мой, прочтя их, с укоризной сказал: "К чему всё это... не понимаю, зачем вспоминать все эти ужасы? Прошло, ну и слава Богу, что живы остались".

Да, вероятно нужно вычеркнуть из памяти "все ужасы" и не портить настроение своим знакомым и незнакомым читателям ни здесь... ни там на старой "Родине". А всякие записи, заметки, дневники и прочий бумажный хлам — в огонь... История пишется теми, кому положено этим делом заниматься. Слава Богу, что живы остались... не все, конечно, но хоть часть...

Бурбанк, Калифорния *П. Н. Палий*

В ТОСКЕ ПО УТРАЧЕННЫМ АБСОЛЮТАМ

"...С пацифизмом и Вы и я боролись как с программой революционной пролетарской партии. Это ясно. Но где, кто, когда отрицал использование пацифистов этой партией для разложения врага, буржуазии?"

Ваш Ленин

Письмо Г. В. Чичерину и поручение секретарям. Написано 16 февраля 1922 г.
В. И. Ленин, ПСС, т. 54, стр. 171.
Документ № 277.

То, что представлено ниже как диалогическое столкновение мнений, есть на самом деле ряд монологов, звучащих на протяжении нескольких лет.

Это полифоническое самовыражение имеет трагический оттенок, объективно свойственный всей серьезной историософской и политологической публицистике: занятая коренными проблемами существования общества, она на деле мало влияет на ход решения этих проблем. Это печальное обстоятельство особенно сильно проявляется в публицистике эмигрантской и самиздатской, имеющей вне своей относительно узкой среды почти призрачного читателя. Для публицистики — жанра, всегда предполагающего ярко выраженную адресованность, это обстоятельство глубоко драматично. Но молчание, по-видимому, вообще невозможно. И монологи, оборачиваясь диалогами,

звучат, питаемые надеждой, что как-то когда-то с чьей-то таинственной помощью пробьются к читателю, для которого пишутся, чтобы воплотиться в его деяниях.

Одна из главных тем современной русской неподцензурной публицистики — обсуждение планетарной необходимости сопротивляться тоталитарной экспансии и анализ форм этого сопротивления. Центральный мотив этой темы — пожелание, требование или совет лишь ненасильственного сопротивления диверсионному и насильственному самораспространению тоталитаризма.

Ниже будут рассмотрены некоторые из подходов к этой проблеме.

II

Я уже писала[1] о том, как удивляет в монологе А. И. Солженицына "Коммунизм у всех на виду — и не понят"[2] сочетание, с одной стороны, призыва противопоставить экспансии коммунизма "хотя бы стену неколебимой воли", с другой — упоминание о "военных" в числе общественных сил Запада, призываемых возвести достаточно прочную стену на пути тоталитарного нашествия на человечество. Предусмотрено ли в этом призыве и силовое сопротивление насилию? И если предусмотрено, то исключительно ли сопротивление осажденной крепости? Ответа на этот вопрос в упомянутом монологе А. И. Солженицына нет.

А. П. Федосеев предлагает иную модель сопротивления: силой оттеснять коммунизм на участках, где атака явно не вызовет в настоящий момент глобального контрнаступления, например, в Латинской Америке, в Африке, кое-где — в Азии. И уж во всяком случае решить окончательно — более не отодвигаться со своих рубежей ни на пядь. Не допускать расширения "большой зоны" и не сужать более и без того ограниченной территории не охваченного ею мира.

Иногда при чтении русской неподцензурной публицистики возникает впечатление, что абсолютизация ненасилия, порожден-

---

1. Д. Штурман, С кем вы, мастера культуры? "Голос Зарубежья", №№ 20-21, 1981.

2. "Посев", №3, 1980, и др. ж-лы.

ная отвращением к тоталитарному насилию XX века, начинает ослабевать. Апостолы ненасилия, пришедшие к своему абсолюту путем реактивного отталкивания от абсолюта противоположного, утрачивают целостность своего настроения. Но — не хотят отступать, не хотят расстаться с выстраданным ощущением, что абсолюту должен быть противопоставлен иной абсолют, а не полумера. В действительности же абсолютам противостоят лишь позиции, чуждые абсолютизации. Абсолюты же не взаимоисключаются, а сливаются или переходят друг в друга.

III

Может быть, наиболее трагично и наиболее полно отвращение к насилию проявляется во всем том, что удается произнести в его мученическом пленении Андрею Дмитриевичу Сахарову. Со многими колебаниями я решаюсь обратиться к позиции благороднейшего из обретших слышимый голос современников наших. Но именно безграничное уважение заставляет остановиться на его взглядах с достаточной обстоятельностью.

А. Д. Сахаров выводит свой постулат принципиального ненасилия из опыта всеобъемлющего насилия, пережитого и переживаемого народами СССР:

"Чрезвычайно важно принципиальное ограничение ненасильственными методами. Такая позиция естественна в стране, прошедшей через все круги ада насилия. Призыв к новым революционным переворотам или к интервенциям был бы безумием и страшным преступлением в неустойчивом мире, стоящем в нескольких шагах от термоядерной пропасти...

...Я убежден, что необходимо... ...чисто нравственное — движение, подготавливающее в сознании людей основы демократических, плюралистических преобразований, необходимых в стране, нужных всему человечеству ради мира на Земле".[3]

Я думаю, все, для кого важно происходящее в СССР, убеждены, что такое движение необходимо. Тысячи людей в нем

3. А. Д. Сахаров, Тревожное время. "Новое русское слово" от 13-14 июня 1980 г.

участвуют и вне сравнительно малочисленных героических групп открытого сопротивления, участвуют буднично и повседневно, в бесчисленных дружеских кружках, названных Д. Паниным "микробратствами". Вдумчивое исследование окружающей жизни, неподцензурное чтение и просветительство перебрасывают мостики от "микробратства" к "микробратству". Таких островков и клеток в этом интеллектуально-нравственном движении больше, чем кажется.

Но является ли такое движение единственно мыслимой *для всех* вероятных обстоятельств формой сопротивления тоталитарному насилию? Согласимся, что в нынешнем СССР немедленная попытка революционного переворота "снизу" была бы безумием, но только в силу своей обреченности на удушение, на провал? В большинстве предостережений от попытки революции в СССР звучит страх перед разгулом разнонаправленного кровавого насилия, которое развяжет такая попытка. Я думаю, что вопрос о том, как потечет антикоммунистическое восстание в СССР, можно пока не обсуждать, ибо массовое восстание не стоит на повестке дня, а узкий заговор может иметь успех, лишь возникнув у самой вершины иерархии власти, что тоже весьма маловероятно. Массовое восстание могло бы стать теоретически мыслимым лишь после широкой, очень длительной, конспиративной просветительно-пропагандистской работы в массах. Но после такой работы резко упала бы опасность того, что восстание потечет по предполагаемому пути кровавого столпотворения. Просвещенные массы приблизились бы к чехословацко-польскому варианту событий. Пока что нет ни достаточно массовой просветительно-антирежимной работы инакомыслящих в толщах народа, ни стихийного порыва масс к революции. Однако это не делает мысль о восстании преступной: скорее всего она просто-напросто несвоевременна. В. Рыбаков недавно очень кстати напомнил нам, "что власть свергается только свободными или полусвободными людьми и никогда — несвободными".[4] Советские люди еще ни внешне, ни, главное, внутренне даже не "полусвободны". Их нельзя подвигнуть сейчас на революцию. Им еще не ясно и то, чем такая революция

4. "Русская мысль" № 3388 от 26 ноября 1981 г.

должна была бы заменить тоталитарный режим. Но значит ли это, что антикоммунистическая революция в тоталитарных странах не только невозможна (сегодня), но и нежелательна? И действительно ли единственной ее формой может быть кровавый хаос? Согласимся: попытка революции со стороны сотни-другой протестантов в огромной империи, действительно, была бы *сегодня* безумием. Но — преступлением ли? Разве что только против себя самих...

Возникает вопрос, который неоднократно ставился польским писателем-антикоммунистом И. Мацкевичем, в частности, в "Голосе Зарубежья": следует ли считать насильственную революцию всегда преступлением или безумием — вне зависимости от ее потенций и от целей, которые она перед собою ставит?

А. Д. Сахаров видит одно из главных достоинств оппозиционного движения правозащитников в СССР в том, что последние не ставят перед собой политических целей, исключают из своих планов идею прихода к власти. Но сделаем фантастическое допущение, что деятельность каких-то антитоталитарных организаций в СССР была бы связана со стремлением захватить власть (от чего вполне разумно отказываются не имеющие никаких шансов на успешный захват ее правозащитники). Реалистично ли было бы это намерение и для чего его носителям нужна была бы политическая власть — вот что существенно и что должно было бы подлежать обсуждению в каждом конкретном случае. Общего, годного на все случаи исторической жизни, ответа вопрос о желательности или, напротив, нежелательности революции в тоталитарных условиях не имеет и иметь не может.

Интервенция тоже не может не рассматриваться конкретно, относительно данного участка фронта успешно ведущейся коммунизмом войны за свое мировое господство. Например, чистейшим безумием была бы попытка Чехословакии 1968 года или Польши 1980-81 годов произвести интервенцию против душащего их СССР. Ведь если бы не советская оккупация (или постоянная угроза таковой) в Польше и в других социалистических странах Восточной Европы давно произошли антикоммунистические революции, которые при снятии советской угрозы не были бы там ни безумием, ни преступлением. И были в истории послевоенной Европы периоды (например, осень 1956 года),

когда Запад мог посредством серьезной военной угрозы заставить СССР убраться из Восточной Европы.

Интервенция может быть и преступлением: таковы, например, интервенции СССР в Венгрию, в Чехословакию, в Афганистан, в Польшу[5] и т. д. ("и т. д." были до и будут после перечисленных акций).

Но вот своевременная мощная интервенция США на Кубу или в наши дни — в Никарагуа не вызвала бы мирового термоядерного конфликта (как не вызвала его акция генерала Пиночета против чилийских коммунистов), зато не позволила бы СССР "ногою твердой стать" в Латинской Америке. И в Азии, и в Африке есть такие уязвимые для коммунизма точки, где интервенция мощных антикоммунистических сил повернула бы ход истории данного региона и, возможно, не только его.

И ведь что главное: нет никакой уверенности в том, что "в неустойчивом мире, стоящем в нескольких шагах от термоядерной пропасти" (А. Д. Сахаров), принципиальная ненасильственность ответных и превентивных действий атакуемой стороны может помочь сохранить хотя бы сегодняшнее сомнительное равновесие. Ведь тотальное насилие имеет конечной целью не свою безопасность в стратегически наиболее выгодных для себя границах, а завоевание и переделку мира (из каких побуждений: идеологических или выживательных, — я здесь разбирать не буду; экспансия — способ существования экономически импотентных режимов). Ему и мир завоевать, и людей переделать по своим потребностям нужно как можно быстрее, так как, по весьма точному замечанию А. Д. Сахарова, —

"в исторической перспективе, в условиях мирного и спокойного развития, плюралистические свободные структуры более жизнеспособны и динамичны,"[6]

чем структуры тоталитарные. В мирном соревновании время всегда работает против тоталитаризма. Отлично чувствуя справедливость этого взгляда, тоталитаризм посредством многообразной инфильтрации в жизнь свободного и "третьего"

5. Осуществленная польской же вооруженной рукой, ведомой рукой СССР.

6. А. Д. Сахаров, Тревожное время. "Новое русское слово" от 13 и 14 июня 1981 г.

миров не дает им решать их проблемы спокойно и мирно, последовательно, не торопясь. Кремль же спешит. Поэтому:

"миру предстоят очень трудные времена, жестокие катаклизмы, если Запад и определяющие свое место в мире развивающиеся страны не смогут уже сейчас проявить должную стойкость, единство и последовательность в сопротивлении тоталитарному вызову".[7]

О какого рода "сопротивлении тоталитарному вызову" идет здесь речь? В чем состоит последовательность и как должна выразиться стойкость "сопротивления тоталитарному вызову"? Пленный мыслитель советует человечеству серьезнейше над этим задуматься. СССР действует против Запада и развивающегося мира: а) физически оттесняя их на удобные для себя рубежи; б) разлагая и соблазняя их своими злокачественными миражами, деморализуя их изнутри; в) организуя и направляя мировой терроризм. А. Д. Сахаров не может диктовать и подсказывать миру конкретные формы сопротивления. Он по коренным качествам своей высокой личности не хочет и не может решать за других. Он пытается лишь разбудить в читателях чувство тревоги и волю к спасению:

"Это относится к правительствам, интеллигенции, бизнесменам, ко всему населению. Необходимо осознание чувства общей опасности — остальное, я думаю, придет, тут я верю в западного человека, в его практический, деловой и одновременно устремленный к крупным целям ум, в его доброжелательность и решительность".[8]

Доброжелательности у западного человека хоть отбавляй. Особенно в тех случаях, когда она не стоит особых усилий. А вот решительности — чем ближе к нему находишься, тем меньше ее в нем видишь. Решительность западных правительств и граждан пребывает в идеально латентной форме.

Я не знаю, как сотворен мир и кто предопределяет его судьбы. Я только верю, что во многом людские судьбы определяются через самих людей, через их выбор, через их действия и ответственность (не во всем, разумеется, но в немалом). В своих

7. Там же.

8. А. Д. Сахаров, Тревожное время. "Новое русское слово" от 13 и 14 июня 1981 г.

размышлениях о нашем тревожном времени А. Д. Сахаров несколько раз говорит о своей надежде на "логику исторического развития". Но не является ли "логика исторического развития" в существенной степени равнодействующей *всех* личных миропониманий людей — субъектов этого исторического развития? С одной стороны, чем напряженней эпоха, тем судьбоносней становятся для всех и каждого его миропонимание и общественное поведение. С другой стороны, тоталитаризм создает такие страшные ситуации, когда реализация их воли и убеждений для втянутых в "черную дыру" партократической диктатуры людей становится сверхчеловечески трудной задачей. А. Д. Сахарову, по его словам, *хотелось бы верить* в то, что и в СССР "сегодня и руководители страны не идут и не могут идти" против стремления людей к миру, "этого самого главного импульса людей", "что они тут искренни, что они из автоматов власти становятся людьми". Эти слова звучат как заклинание, как страстный порыв внушить "автоматам власти" человеческое отношение к вопросам жизни и смерти людей и народов. Горькое *"я хотел бы верить"* — вместо оптимистического "я верю" — свидетельствует о подозрении автора, что "автоматы власти" не очеловечатся даже у края термоядерной бездны. Ведь говорит же он несколько ниже, что

"...и стремление людей к миру эксплуатируется, и это, быть может, самый страшный обман. Оно используется для оправдания всего негативного в нашей жизни: экономических неурядиц, сверхмилитаризации, для оправдания якобы "защитных" внешнеполитических акций — будь то Чехословакия или Афганистан, для оправдания закрытости и несвободы общества, для оправдания экологических безумств — уничтожения Байкала, лугов и пашен, рыбных богатств страны, отравления воды и воздуха".[9]

Что же следует делать Западу в его противостоянии силам, которые даже стремление людей к миру способны лишь цинично эксплуатировать в своих темных целях?

"Страны Запада должны сделать все необходимое, не поддаваясь на шантаж и демагогию — вроде кампании против американских ракет в Европе, — чтобы поддержать, а в ряде областей — восстановить это

9. Там же.

равновесие. Недопустимо, чтобы другая сторона имела возможность использовать в случае конфликта втрое больше танков и артиллерии, или в полтора-два раза больше атомных подводных лодок, или вдвое большую, сухопутную армию, или стратегические ракеты в полтора-два раза большей суммарной мощности (я не утверждаю, что такова в точности ситуация, я недостаточно знаю о фактическом положении дел; но я привел эти цифры, встречающиеся в передачах зарубежного радио, так как они хорошо поясняют мою мысль и дают представление о серьезности ситуации). Пресса, пользующиеся известностью публицисты, государственные деятели должны неустанно разъяснять это людям, не боясь прослыть 'правыми', 'агентами военно-промышленного комплекса', 'поджигателями войны' ".[10]

Здесь, казалось бы, все понятно: речь идет о боеспособности, во всяком случае — обороноспособности Запада, а значит, и о готовности защищать свои рубежи военными средствами.

Но, с другой стороны,

"вопросы войны и мира, вопросы разоружения так важны, что и в самой трудной ситуации они должны иметь абсолютный приоритет, и нужно использовать все существующие возможности для их решения, готовить почву для дальнейшего продвижения в будущем. И в первую очередь — для предотвращения ядерной войны — основной опасности современного мира. В этом совпадают цели всех ответственных людей на Земле, в том числе, как я считаю и надеюсь, и советских руководителей, несмотря на проводимую ими опасную экспансионистскую политику, несмотря на их цинизм и на владеющие ими догматические предрассудки и чувство неуверенности, часто не позволяющие им проводить более реалистическую внутреннюю и внешнюю политику".[11]

А. Д. Сахаров принадлежит к тому небольшому числу русских голосов, которые Запад, вернее имеющая уши часть западных политиков и обывателей *слышит*. Но массовый слух всегда избирателен. Западный слушатель в большинстве своем пропустит мимо ушей грозные предупреждения первого из двух последних отрывков и уцепится за родственные его духу идеи второго.

---

10. Там же.
11. Там же.

В словах А. И. Солженицына о "стене неколебимой воли", в предупреждениях А. Д. Сахарова о необходимости "проявить должную стойкость, единство и последовательность в сопротивлении тоталитарному вызову" заключена их общая мысль о том, что Западу отступать далее некуда. Все практические формы взаимоотношений между свободным и тоталитарным мирами должны были бы вытекать из этой категорической аксиомы. Но Запад не слышит предупреждения о смертельной опасности. Зато он услышит и очистит от всех предостерегающих оговорок мысль о том, что "вопросы разоружения... ...и в самой трудной ситуации... ...должны иметь абсолютный приоритет", и с готовностью отодвинет в неопределенное будущее призыв к поддержанию равновесия *в вооружении*. С еще большей готовностью он примет дорогую его сердцу идею о "чувстве неуверенности" советских правителей, которых не следует задевать за больное место.

Но с чего бы им все-таки быть неуверенными, если они в своей внешней политике с 1943 года идут, пусть с небольшими и временными отступлениями на отдельных участках, от победы к победе? Кроме того, применительно к своим целям (оставаться у власти, расширять свое господство и олигархически пользоваться его плодами) они уверенно ведут самую реалистическую политику. При этом их мускулистая и самоуверенная наступательная политика с первых дней существования ленинской партии и с первых часов существования ее государства строится со всесторонним учетом психологии их противников, извечно страдающих недостатком бдительности и воли к борьбе. Они не раз терялись и отступали, когда в их противниках просыпалась воля к сопротивлению. Сегодня социализм терпит по всему внутреннему фронту своей системы перманентный экономический кризис. Партократические вожди все хуже руководят производством, все меньше обеспечивают нужды своих подданных, все труднее овладевают поведением и сознанием общества. Если бы их запереть извне и решительно не дать им ни на шаг двинуться из своих пределов; если бы перестать им подбрасывать хлеб,[12] современную технологию и технику, — внутренний кри-

12. Из соображений чистой гуманности Запад достаточно часто шлет безоговорочно медикаменты, продовольственные и другие товары в охваченные

зис, развиваясь и углубляясь, привел бы их, может быть, за вполне обозримое время к таким сдвигам, которые отодвинули бы человечество от края пропасти. Но все эти "если бы" не имеют смысла по отношению к тем, кто не слышит предупреждающих голосов. А ведь и А. И. Солженицын и А. Д. Сахаров переводятся на западные языки.

IV

Миролюбивая склонность Запада ко всяческим компромиссам (с собственными уголовниками и экстремистами ли, с тоталитарными ли силами и правительствами) и антипатия подсоветских, вырвавшихся или изгнанных из СССР инакомыслящих к силовому сопротивлению насилию имеют разные корни. Запад оберегает убывающую комфортабельность своего нынешнего существования, пряча голову под крыло и стараясь не думать о последствиях своего благодушия. Подсоветские же инакомыслящие прошли сквозь все круги ада насилия, кто — лично, кто — в историческом опыте своих народов, и поэтому решительно отвратились от насильственных методов устроения мира. Отвратились тем более полно, что в своем недавнем историческом прошлом пережили могучий соблазн радикально-насильственного переустройства общества.

Небольшой литературный экскурс: доктор Юрий Живаго, герой прославленного романа Б. Пастернака, был в юности бездумно левоориетирован, как вся его среда. Никогда так остро не ощущается невыносимость помех, как в пору активного раскрепощения общества. Несмотря на то, что в России начала XX века шло такое раскрепощение, Юрию Живаго и его поколению революция казалась необходимым и радостным апогеем и

бедствием тоталитарные страны. Но если эта помощь распределяется по усмотрению *их правителей*, то она и используется в первую очередь для поддержания *необходимых им* групп и слоев населения — звеньев партийного и административного аппарата, органов безопасности, вооруженных сил и т. п.; и таким образом становится добавочным средством для обуздания голодающих и бунтующих масс подвластного народа. Именно это человеколюбивые либеральные демократы и упускают из виду... Последний и, пожалуй, наиболее яркий пример этому — Польша (см. "Новое русское слово" от 24.12.1981, стр. 1: "Продовольствие не доходит до голодных").

торжеством всего того светлого и благородного, что кружило их головы. Поэтому они, как могли, помогали революционерам и встретили их победу восторженно (не только в феврале, но и в октябре). Во всяком случае, они чувствовали себя внутренне обязанными к восторгу перед революцией.

Очень скоро выяснилось, что послеоктябрьская действительность отнюдь не есть продолжение, усиление и очищение лучших сторон их, Юриных родителей и сверстников, его самого, дореволюционного существования, а есть конец и отмена всего того, чем они были живы и чем дорожили до октябрьских событий. Началось нечто страшное, ни на что знакомое не похожее. И повзрослевший доктор Живаго, наблюдающий то с одной, то с другой стороны фронта этот ужас, пришел к выводу, что людям насилие *не нужно ни при каких обстоятельствах*, что добром легче было бы добиться доброго в людях и для людей.

Ошибка, заключенная в рассуждениях доктора Живаго (хотя бы в его первом разговоре с Самдевятовым в железнодорожном вагоне) лексически ничтожна, но семантически грандиозна. Частный, но ценный вывод, что насилие не нужно было *тогда, в тот исторический момент, и в тех ложных целях, в которых его применили* к России февраля и октября 1917 года, подменяется глобальным, но сомнительным выводом о ненужности насилия *вообще, всегда, по отношению к любому объекту*. Этот вывод законен для тех, кто от надежды на сносное посюстороннее человеческое общежитие решительно отказался и мыслит категориями исключительно потусторонними. Но здесь, на Земле, такой, как она есть, этот вывод *в ходе его абсолютизации* начинает рано или поздно работать в пользу насильников и против насилуемых.

Сознание, потрясенное разгулом насилия XX века, отказалось рассматривать эту проблему конкретно-исторически и житейски. Между тем здесь наиболее важны вопросы конкретные: *где, когда, при каких обстоятельствах, в каких целях, в каких масштабах и формах, под чьим и каким контролем* применяется или предлагается силовое сопротивление насилию?

От А. Д. Сахарова при всем его отвращении к применению силы не ускользает печальная необходимость устрашения насильника встречным силовым потенциалом. С огромной

тревогой он, пленник атакующей стороны, говорит о том, как изменилось международное соотношение сил в пользу СССР и как

"Одновременно с изменением соотношения сил (это, конечно, не единственная причина) усиливалась скрытая и явная экспансия СССР в стратегически и экономически ключевых районах земного шара. Юго-Восточная Азия (руками Вьетнама), Ангола (руками кубинцев), Эфиопия, Йемен — вот лишь некоторые примеры. Вторжение в Афганистан, может быть, является новым и еще более опасным этапом этой экспансии".[13]

А. Д. Сахаров твердо уверен, что без равновесия сил "не будет ни разоружения, ни, быть может, мира", то есть, не будучи устрашенным перспективой ответного удара, насильник не остановится.

"Какие именно меры должны применять страны Запада — это вопрос конкретного анализа, с учетом не только военно-технических, но всех стратегических в более широком плане факторов".[14]

Однако тут же звучит знаменательное предостережение:

"Если страны Запада в чем-то "перегнут" палку (пока нет существенных признаков этого) — СССР будет вынужден принять ответные меры. В принципе с этим тоже надо, конечно, считаться. Но главное сейчас — линия на переговоры, реальное согласование ограничения вооружений с позиции равновесия сил".[15]

Но, может быть, *"пока нет существенных признаков этого"* (а также, рискну добавить, и несущественных признаков роста агрессивности Запада тоже нет; есть только робкие попытки США с момента прихода к власти президента Рейгана задуматься над восстановлением равновесия, утраченного в эпоху пресловутого "детанта", встреч на высшем уровне и переговоров на более низких уровнях), не стоило бы Запад остерегать от "перегибания палки"? Западный пацифизм, и

13. А. Д. Сахаров, Тревожное время. "Новое русское слово" от 13 и 14 июня 1980 г.
14. Там же.
15. Там же.

собственный, и взращиваемый на Западе Советским Союзом, и без таких оговорок создает настроение и состояние полной духовной демобилизованности, несопротивления любому варианту своей судьбы. Ведь А. Д. Сахаров ранее предупредил, что даже равновесие военно-технических сил не предрешает благоприятного хода событий:

"Для оценки ситуации очень важны особенности СССР — закрытого тоталитарного государства с фактически милитаризованной экономикой и бюрократически-централизованным управлением, которые делают его усиление относительно более опасным".[16]

Так можно ли надеяться *главным* образом (к чему Запад и склонен) на переговоры? Есть ли основания предполагать, что СССР согласится разоружиться до состояния своего равновесия с Западом?

Запад очень склонен в отношениях с тоталитаристами не дразнить гусей (иными словами, не перегибать палки). А ведь речь идет вовсе не о гусях: гусь — вегетарианец, он зашипит и ущипнет до синяка, только если его раздразнить и перепугать. Здесь же идет речь о хищниках, которые, дразни их или не дразни, питаются не травой и зерном, а мясом. Чем их дразнили, к примеру, Афганистан или Ангола? Хищник должен бояться пули или капкана. Размягченное же западное сознание, еще и не взявшись за палку, тотчас же уцепится за совет не перегибать ее...

V

Как далеко может нас завести полный отказ от релятивизма в обсуждении проблемы насилия, свидетельствует следующий небольшой литературный эпизод: в статье Г. Померанца "Князь Мышкин"[17] поставлены в субъективно-психологическом аспекте рядом:

"...люди Штерна, убивавшие детей в деревне Дейр Ясин, и люди д-ра Хаббаша (бывшего врача), убивавшие детей в Маалоте, на севере

16. Там же.
17. "Синтаксис" № 9, 1981; стр. 131.

Израиля... ... они переполнены своей обидой, своей обездоленностью, до совершенной неспособности думать о чем-то другом, принять в расчет еще что-то, кроме своей обиды".

На первый взгляд — проявление высшей гуманистической широты и всепонимания. На второй взгляд — неведение основных фактических обстоятельств того, о чем идет речь (а если ведение, то кощунство).

Во время войны Израиля за его независимость, узаконенную специальным решением ООН, арабская войсковая часть, дислоцированная в деревне Дир-Ясин, преграждала путь израильским войскам.

Израильское командование предупредило противника о штурме и *предложило эвакуировать мирное население из деревни.* Вскоре арабы подняли белый флаг капитуляции. Израильские солдаты пошли во весь рост в деревню, чтобы принять капитуляцию — и были встречены уничтожительным залпом, от которого погиб и командир части. Затем был штурм, ожесточенные уличные и внутридомовые бои, в которых погибло много мирных жителей деревни. Израильтяне, начиная с Менахема Бегина (см. его книгу "Восстание") и кончая левыми журналистами, по сей день часто обсуждают этот эпизод и страдают из-за него.

Что произошло в Маалоте, где арабские террористы взяли в здании школы заложниками, мучили, изувечили и убили очередями в упор десятки детей, все, вероятно хорошо знают и без меня. Я лишь на днях услышала достоверный рассказ о девушке, потерявшей в Маалоте правую руку. Ее младшему брату, пытавшемуся бежать из здания, террористы хладнокровно прострелили обе ноги; их пришлось ампутировать.

Доходить в своей жажде объективности до отождествления трагического военного эпизода с массовым убийством детей-заложников — справедливо ли? Но такова невольная инерция абсолютных оценок.

Максималистское неприятие силовых действий со стороны диссидентского сознания, ушибленного тоталитарной жестокостью, и расслабленная неготовность к отпору со стороны беспечного западного сознания сливаются в некий общий фон

пассивного благоприятствования насилию. На этом фоне большой удачей для человечества было бы не остаться глухим к тревоге, звучащей в сдержанном монологе великого человека, терзаемого сегодня в Горьком. Мир оказался слишком слаб для того, чтобы заставить хищника не когтить чету Сахаровых.

Не приговор ли это свободе мира?

Дора Штурман

ИЗ ИСТОРИИ НАШЕИ ЗАКРЫТОСТИ

ИММИГРАЦИОННАЯ И ЭМИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА СССР В 1917 — 1927 ГГ.

Проведшие в шоке многие годы своей жизни, мы не вернули себе памяти. И так повернулась наша история, что в сегодняшнем СССР редкие безумцы требуют для себя и своего народа права на свободную эмиграцию. (К ограниченной еврейской эмиграции мы давно относимся как к явлению исключительному, не подчиненному, казалось бы, логике.)

До революции любой гражданин России мог получить заграничный паспорт и уехать за пределы страны. Если же подданному этого консервативного государства не терпелось поскорее покинуть свою родину, он легко мог нелегально перейти границу, не рискуя при этом быть пойманным. И уж само собой разумеется, что даже в годы "царской реакции" любой иностранец мог въехать в Россию и проживать в ней в свое удовольствие. Так было, пока те, кто легально и нелегально ходили через границу в годы царизма, не захватили власть в свои руки. С тех пор мы имеем те, что имеем. В данной статье делается попытка рассмотреть общую структуру эмиграционной и иммиграционной политики советского правительства в первое десятилетие советской власти. Для изучения этой проблемы автор исследует собрания официальных правительственных законов, декретов и постановлений, ежегодно выходивших в свет. Работа, таким образом, не ставит своей целью показ летописи эмиграции и иммиграции и анализ их истории.

*

Первая мировая война, октябрьская революция и вызванная ею гражданская война привели Россию к небывалому в ее истории общественно-политическому кризису, результат которого отразился на эмиграции и иммиграции. Первая мировая война заставила европейские страны, в ней участвовавшие, раскидать по территориям чужих государств тысячи своих граждан в качестве пленных, беженцев или интернированных. Распад Российской Империи и образование новых государств, таких, как Польша и Финляндия, поставили на повестку дня вопрос об оптациях. В той или иной степени решением аналогичных задач занимались все европейские государства. Но, не в пример Европе, СССР рассматривал свои проблемы сквозь призму теорий классовой борьбы, перманентной революции и капиталистического окружения. Результатом этой политики явилась массовая эмиграция из России, образовавшая свои крупнейшие политические центры в Париже, Берлине, Праге, Софии, Харбине и Белграде.

В то же время, новый советский режим привлек тысячи западных коммунистов и рабочих, желавших попытать счастья в "новом свете", в РСФСР. Советское правительство вынуждено было так же сотрудничать с европейскими державами в деле обмена и возвращения на родину иностранных граждан, в большинстве своем — военнопленных.

В 1917 г., еще не собранные в кодексы, законы создавались на основе общей политики государства, вырисовывавшейся уже тогда. Неотъемлемым звеном этой политики стал принцип тотального контроля всех связей советской республики и заграницы. Еще слаба была власть, но 2 декабря 1917 г. Троцкий издал приказ о визации паспортов при въезде в РСФСР.[1] Отныне въезд в пределы РСФСР разрешался лишь лицам, имевшим паспорта, заверенные единственным в те дни представителем за рубежом Вацлавом Воровским, находившимся в Стокгольме. Тремя днями позже Нарком внутренних дел Петровский распоря-

1. Собрание Узаконений РСФСР (далее: С. У. РСФСР), 1917-1918, ст. 78, 2 декабря 1917 г.

дился о запрещении выезда из Советской России без разрешения местных Советов граждан государств, воевавших с РСФСР.[2] Это была робкая, неосторожная поступь неопытной советской власти. Она протаптывала себе дорожку через декабрь, и к концу его изобрела общие положения о въезде и выезде, каких не знала и многовековая царская Россия. Здесь были одновременно и паспорта с фотографиями, и надлежащие печати, и специальные разрешения со специальными подписями, специальные же представители НКВД и НКИД; предусматривались обыски и личные осмотры для всех, включая женщин, стариков и детей. Лишь дипломатам, в соответствии с международными нормами, делались исключения. И уже на втором месяце революции правительство запретило вывозить документы, могущие повредить экономическим или политическим интересам советской власти.[3] Вослед Сов. России только что созданное правительство советской Украины запретило въезд в республику "нежелательных элементов", оправдав подобное решение "военной ситуацией".[4]

Иммиграционная политика, 1917-1927

Иммиграционную политику советских республик в первые послереволюционные годы предопределили политические и идеологические факторы. Понятие интернационализма, как и все в советской России, имело классовый характер. Именно поэтому иммиграционные законы несли на себе печать идеологии, согласно которой мир делился на два враждебных лагеря — пролетариат и буржуазию. Неудивительно, что первый советский иммиграционный закон, принятый в декабре 1917 г., разрешил въезд в РСФСР только политическим эмигрантам, получившим личные удостоверения от созданных за границей эмиграционных комитетов и разрешение на въезд от представителя СНК.[5]

Принцип этот, однако, нашел свои исключения. В странах

2. Там же, ст. 89, 5 декабря 1917 г.

3. Там же, ст. 174, 21 декабря 1917 г.

4. Собрание Узаконений Украинской ССР (далее: С. У. УССР), 1919, ст. 267, 11 марта 1919 г.

5. С. У. РСФСР, 1917-1918, ст. 174.

Востока никакая политическая борьба не протекала в отрыве от религии. Отталкивать от себя религиозных революционеров этих стран было бы тактической ошибкой. Большевики понимали, что антиколониальное движение к югу от РСФСР станет сильнее, если мусульманские революционеры будут знать, что в случае поражения на родине они смогут укрыться в стране Советов. РСФСР, таким образом, стала базой не только для европейских и американских революционеров, но и для религиозных революционеров Востока. И те, и другие могли получить здесь право политического убежища, которое, с марта 1918 г., предоставлялось иностранцам, преследуемым на своей родине за преступления политического или религиозного характера.[6]

Согласно тому же закону, правительство возвращало на родину только уголовных преступников; но трудно поверить, чтобы "классовое правосознание" большевиков позволило им отослать хоть одного. Годом позже советская Украина придумала возвращать тех политических заключенных, которые совершили преступления против другой советской республики, т. е. — РСФСР.[7] Закон этот не прижился. Российские преступники не искали политического убежища в советской Украине, а украинская ЧК могла расстреливать арестованных без лишних затрат денег и времени на транспортировку смертников в РСФСР.

Наличие постоянных жителей-иностранцев не удовлетворяло советское правительство, стремившееся к созданию монолитного общества, где никакая из групп не имела бы таких привилегий, как освобождение от службы в армии, или права на эмиграцию. Не решаясь заставить иностранцев, в том числе и политических эмигрантов, живших в России, принять советское гражданство, правительство, однако, с апреля 1918 г., сделало

6. Там же, ст. 519; Декреты ВЦИК РСФСР, 1917-1918, № 56, 28 марта 1918 г. Через несколько лет формулировка этой статьи была изменена, и за религиозные преступления политическое убежище уже не давалось. Это было в те годы, когда советская власть уничтожала русскую православную церковь и духовенство советской Азии. Но уже в 1928-м году, демонстрируя народам Востока и всего мира свою терпимость к мусульманской религии, советское правительство взяло на себя обязательство по перевозке советских паломников-мусульман из портов СССР в порты Геджаса и обратно. (См. Собрание законов СССР — и далее: С. З. СССР — 1928, ст. 248).

7. С. У. УССР, 1919, ст. 194, 1 марта 1919 г.

его получение необыкновенно легким. Анкеты и заявления подавались в низшую правительственную инстанцию — местный Совет. Там и решался вопрос о принятии в подданство.[8] Вскоре после этого первая советская Конституция предоставила трудящимся иностранцам в РСФСР все политические права русских граждан и разрешила местным Советам принимать их в гражданство РСФСР "без всяких затруднительных формальностей".[9] Иностранцы, проживавшие за пределами РСФСР, также могли получить советское подданство, но в этом случае прошение подавалось на имя председателя ВЦИК. Новых советских граждан регистрировал НКВД, в обязанности которого входил контроль над бывшими иностранцами. Заинтересованность в притоке политических беженцев вызывалась прежде всего желанием советского правительства иметь в РСФСР кадры профессиональных революционеров, необходимые для претворения в жизнь теории перманентной революции, поддерживаемой всеми лидерами большевиков, и в первую очередь Лениным, Троцким и Бухариным.

Правда, и тогда, когда этого не хотели иностранцы, но требовали интересы революции, советское правительство не делало различий между советскими и иностранными гражданами. Так, на иностранцев был распространен закон о "единовременном чрезвычайном десятимиллиардном налоге". Это явилось прямым нарушением международного права, согласно которому военные налоги не могли взиматься с иностранно-подданных.

С новыми трудностями столкнулось советское правительство при определении статуса беженцев, бывших подданных Российской империи. Многие из них не являлись гражданами советской России, так как ранее проживали, либо родились, за пределами РСФСР, например, в Польше, Финляндии, либо на территориях, отданных Германии в соответствии с Брест-Литовским мирным договором. 13 июля 1918 г. советское правительство разрешило этим беженцам официально выйти из советского подданства.[10] Но этот жест, казавшийся гуманным, был

8. С. У. РСФСР, 1917-1918, ст. 405, 5 апреля 1918 г.
9. Там же, ст. 582, ратифицирована 10 июля 1918 г.
10. Там же, ст. 577, 13 июля 1918 г.

обычным тактическим маневром большевиков: двумя неделями позже Ленин подписал новый приказ и объявил всех беженцев, не воспользовавшихся только что предоставленным им правом и не заявивших о выходе из советского подданства, гражданами РСФСР.[11]

Правительство хотело изменить статус иностранцев в РСФСР по политическим, военным и экономическим соображениям. Так, иностранцы не подлежали призыву в армию, а в случае ареста иностранно-подданного об этом сообщалось представителю заинтересованного государства. Частная собственность, полностью конфискованная у советских граждан, могла в некоторых случаях оставаться за иностранцами. Из квартир иностранцев не конфисковывалась мебель, хотя сами квартиры конфискованы быть могли.[12] (Над нелогичностью подобных постановлений никто не задумывался). Для решения этой проблемы украинское правительство в июне 1919 г. уравняло иностранцев и украинских граждан в правах на имущество. Месяцем раньше иностранцы, проживавшие на Украине, стали пользоваться всеми правами, но и, за некоторым исключением, нести те же обязанности, что и граждане советских республик. Наблюдение за иностранцами и привлечение их к трудовой повинности осуществлялось с помощью периодически проводимых регистраций, во время которых иностранцы обязывались в недельный срок зарегистрироваться в соответствующих органах советской власти и заполнить анкету из 24 пунктов, указав, в частности, "кто из партийных или советских работников или какой заводской комитет или советское учреждение может поручиться за лояльность к советской власти" и "с кем из *иностранцев* имел сношения в Советской России и *за границей*" (курсив мой — Ю. Ф.). Неявившиеся для регистрации в срок привлека-

11. Там же, ст. 623, 27 июля 1918 г.

12. С. У. УССР, 1919, ст. 115, 13 февраля 1919 г. С 1921 г. иностранцы, проживавшие на Украине, были подчинены законам о привлечении их к обязательной трудовой повинности. (Там же, 1921, ст. 335, 27 июня 1921 г.) И тут их "уравняли", но не доверили работы, имевшей "прямое отношение к делу обороны республики" — рытье окопов, возведение укреплений, производство оружия и снарядов, пошив военного обмундирования. Правительство опасалось шпионажа.

13. С. У. РСФСР, ст. 361, 22 июля 1919 г.

лись к ответственности "по всей строгости военно-революционного времени", т. е. вплоть до расстрела. О любой перемене адреса иностранцы уведомляли регистрационные учреждения. Несоблюдение этого правила также каралось "по всей строгости военно-революционного времени". Домовым комитетам, владельцам и управляющим домами вменялось "в строжайшую обязанность следить за точным и неуклонным исполнением сего обязательного постановления".

Советская карательная практика также никогда не делала различий между советскими и иностранными подданными. За содеянные политические и уголовные преступления они подвергались одинаковому наказанию. Это во многом облегчало работу ЧК и революционных трибуналов, которые не нуждались в выяснении гражданства своих жертв и могли с большей быстротой вершить "правосудие". Юридическим обоснованием предоставления карательным органам права вынесения приговоров иностранно-подданным стал первый советский уголовный кодекс — "Руководящие начала по уголовному праву РСФСР", — принятый в конце 1919 г. и распространивший свою юрисдикцию на всех советских и иностранных граждан, находившихся в РСФСР и совершивших политические или уголовные преступления в РСФСР или за его пределами. На практике это означало, что иностранец, совершивший, по мнению советских властей, преступление (например, против советской власти) на своей родине, мог быть судим за это в РСФСР.

Политика советского государства по отношению к русским, находившимся за рубежом, была выражена в январе 1918 г., когда правительство разрешило бывшим гражданам Российской империи вернуться в РСФСР.[14] Но даже они не могли въехать беспрепятственно: въездные визы выдавались только представителем СНК за границей. Власть всегда относилась с осторожностью к людям, проведшим за рубежом часть своей жизни. В общей проблеме возвращения на родину российских граждан выделился вопрос о пленных и демобилизованных. Поток этот не был новым и наметился еще до революции. Советское правительство не внесло каких-либо видимых изменений в

14. Там же, 1917-1918, ст. 226, опубликовано 12 января 1918 г.

законы царской России о вернувшихся военнопленных; принимало их с почетом и даже выдавало вознаграждение за время пленения. Советы давали это не из гуманности, но по военным соображениям. С одной стороны, они нуждались в призывниках для Красной Армии. С другой, опасались, что оставшиеся за границей русские граждане могут быть вовлечены в деятельность антисоветских организаций за рубежом. В дополнение к этому, существовала 9-я статья Женевской конвенции о военнопленных, обязующая правительства вознаграждать своих подданных за время, проведенное в плену. Перед лицом международной общественности рабоче-крестьянское правительство еще не смело предать ее забвению. После короткого отпуска солдаты вновь забирались в армию. Офицеры, однако, призывались немедленно: Красная армия нуждалась в офицерских кадрах, а правительство настолько не доверяло им, что боялось оставить в тылу, предпочитая иметь офицеров на фронте, под бдительным контролем комиссаров.

Если на русских военнопленных первой мировой войны распространялась Женевская конвенция, она не затрагивала пленных войны гражданской. Когда благонадежность последних казалась ВЧК сомнительной, они направлялись в лагеря принудительных работ, где специальные комиссии набирали из их числа "добровольцев" для Красной армии. Психологический расчет был верен: из советского концлагеря редкий упрямец не хотел отправиться на фронт. Тех же военнопленных, кто выполнял у неприятеля работы, относившиеся к военным действиям, Ленин приказал довольствовать на общих основаниях с лицами, состоявшими под судом революционных трибуналов и содержавшихся под стражей или в концентрационных лагерях.[15] В шутку или всерьез, но не уточнил Ленин, где нужно содержать таких военнопленных. ВЧК догадалась: как довольствовали, так и содержали. В том же году советское правительство официально заявило, что, в случае пленения солдат армии Булак-Булаховича, оно не рассматривает их как военнопленных.[16] Именно в первые революционные годы родилось то чудовище, которое

15. Там же, 1920, ст. 331, 5 августа 1920 г.
16. Правда, 26 января 1921 г., № 16.

пожирало людей во время и после окончания Великой отечественной войны. Кто упрекнет Сталина, что *он* был новатором?

Новый период советской истории начался в марте 1921 г., когда X съезд РКП(б) провозгласил замену продразверстки налогом и разрешил, "в пределах местного хозяйственного оборота", производить обмен продовольствия на промышленные товары. В то же время, Кронштадтское восстание и рабочие волнения в Петрограде и Петроградской губернии и Москве заставили правительство перейти от политики военного коммунизма к Новой экономической политике. Экономические соображения стали играть главенствующую роль при решении политических вопросов. Ставку на мировую революцию сменила теория построения социализма в одной стране. Советская иммиграционная политика преследовала теперь новые цели: защиту экономических интересов и борьбу с врагами революции *внутри* государства. Именно поэтому в 1921 г. правительство пересмотрело свое отношение к, так называемой, трудовой иммиграции.

До революции в европейской части России работало сравнительно небольшое число иностранных рабочих. После переворота некоторые из них вернулись домой, а тех, кто остался в России, приравняли к русским рабочим. Распределением иностранных рабочих по промышленным предприятиям, через комиссию "по делам ввозного труда", руководил Наркомат труда.

Первоначально советское правительство приветствовало трудовую иммиграцию, хорошо вписывающуюся в теорию пролетарского интернационализма и доказывающую преимущества новой социалистической системы перед умирающим капитализмом. В дополнение к этому, казалось бы, советская промышленность нуждалась в квалифицированных рабочих, а сельское хозяйство — в современной технологии обработки земли. На практике, однако, безработица в городах и нехватка зерна, скота и элементарных орудий в деревне были столь велики, что как иностранные рабочие, так и крестьяне, прибывавшие без ничего, взваливались на государство тяжкой обузой. Это толкнуло правительство на иной путь. Если еще в мае 1921 г. Украина помогала эмигрантам из США и ряда других стран, то

в августе того же года правительство УССР признало всякое переселение на Украину "невозможным и нежелательным". Лишь в исключительных случаях разрешался приезд организованных коллективов, которые формировали отдельные трудовые артели или использовались в совхозах.

В июне 1921 г. первые ограничения на въезд трудовых иммигрантов ввела РСФСР; а в мае 1922 г. Совет труда и обороны постановил "считать в настоящее время необходимым максимальное сокращение иммиграции и допущение к въезду в РСФСР только тех групп рабочих, относительно которых имеется полная гарантия, что они найдут необходимый заработок на территории республики". На практике этот закон применялся почти исключительно к американским фермерам. Более того, в 1922 г., в целях облегчения их иммиграции в РСФСР, правительство внесло изменения в общие правила. Наркомат иностранных дел выдавал въездные визы организованным в США группам трудовых иммигрантов "не входя в обсуждение вопроса по существу". Представитель ВСНХ в Америке А. Геллер получил мандат на решение всех вопросов подотдела трудовой иммиграции. Организация групп американских трудовых иммигрантов сосредоточилась в его руках. Вскоре правительство РСФСР образовало постоянную комиссию СТО по урегулированию сельскохозяйственной и промышленной иммиграции. Комиссия состояла из трех человек и первоначально занималась подготовкой для новых иммигрантов промышленных предприятий и пустующих земель. Позднее в ведение Комиссии передали дела подотдела трудовой иммиграции при ВСНХ. В результате, в руках Геллера и трех представителей постоянной комиссии СТО сконцентрировалась вся деятельность, связанная с трудовой иммиграцией в РСФСР.[17]

Исходя из экономических соображений, но и в целях уменьшения общего числа иммигрантов, правительство установило высокий имущественный и денежный ценз для въезжающих иностранцев и этим сделало невозможной иммиграцию

17. С. У. РСФСР, 1922, ст. 440, 10 мая 1922 г.; там же, ст. 997, опубликовано 22 ноября 1922 г.

бедных фермеров. С 1923 г. непременным условием допуска иммигрантов в СССР являлся ввоз основного и оборотного капитала в количестве, обеспечивающем организацию и ведение хозяйства.[18] Размер и форма такого капитала определялись договором, заключаемым между фермерами и советскими властями. Земля, обычно целинная или залежная, сдавалась иммигрантам в аренду. Таким образом, с фермеров взимали не только налоги, но и земельную ренту. Одновременно, заинтересованное в поднятии целинных земель, правительство предоставляло селившимся на них ряд льгот.

Об иммиграции промышленной уже не шло и речи: безработица предопределила этот вопрос. Допускалась только сельскохозяйственная иммиграция. Но даже к ней правительство относилось скептически: контакты американских фермеров и советских крестьян могли привести к усилению антисоветских настроений в деревне. В годы НЭПа, однако, выбор между политическими и экономическими выгодами казался настолько сложным, что, не прекращая иммиграции формально, власти периодически изменяли и дополняли иммиграционные законы, делая переселение нерентабельным для иммигрантов и все более и более выгодным для самого государства. Так, с 1923 г. все расходы по переезду и транспортировке машин и сельскохозяйственного инвентаря несли фермеры.[19] Когда даже это не остановило потока неутомимых иммигрантов, правительство только что созданного Советского Союза решило впускать иностранцев лишь с общего согласия НКИД и СТО. Это существенно осложнило процесс оформления документов для въезда в СССР.

Уже в 1921 г., не желая расширять частный сектор сельского хозяйства и рассредоточивать иностранцев по территории республики, создавая этим возможность их широких контактов с

---

18. Там же, 1923, ст. 128, 2 февраля 1923 г.; там же, ст. 525, 8 июня 1923 г. Для нужд сельскохозяйственной иммиграции в Поволжье и на юго-востоке страны отводилось примерно 220 тысяч десятин целинных и залежных земель.

19. Ранее правительство частично оплачивало перевозку техники и инвентаря и оказывало иммигрантам помощь семенами и скотиной. Теперь же в силе оставались лишь некоторые льготы по уплате налогов и отбыванию воинской повинности.

украинскими гражданами и усложняя контроль над иммигрантами со стороны НКВД, Украина закрыла свои двери для индивидуальной иммиграции. Но лишь с 1925 г., в дополнение ко всем ограничениям, введенным ранее, непременным условием въезда в СССР трудовых иммигрантов стала их организация в сельскохозяйственные коммуны, артели или кооперативы по уставам аналогичных объединений, уже существовавших в СССР. Индивидуальная сельскохозяйственная иммиграция допускалась лишь при наличии родственных связей или подселении фермера к уже организованному обществу при обязательном согласии местных советов и членов кооператива. На практике это правило относилось только к ре-эмигрантам — лицам, эмигрировавшим из страны ранее и вернувшимся обратно.

Само собой разумеется, что иммигранты и ре-эмигранты отдавали в распоряжение кооперативов все привезенное ими имущество и становились обычными советскими крестьянами. Таким образом, правительство сосредоточивало иммигрантов в отдельных кооперативных хозяйствах на целинных и залежных землях, создавая этим естественные препятствия контактам русских и украинских крестьян с фермерами и облегчая государству контроль над последними. В то же время, в целях борьбы с безработицей в городе, правительство разрешило иностранным рабочим, имевшим, согласно конституции СССР, все политические права советских подданных, получать сельскохозяйственные земельные наделы на общих основаниях с гражданами Советского Союза.[20]

В сентябре 1926 г., через два месяца после заседания пленума ЦК и ЦКК, на котором разбирался вопрос о росте капитализма в деревне, правительство решило остановить трудовую иммиграцию в СССР. В предшествующие годы, запретив въезд крестьян-бедняков и поощряя иммиграцию американских фермеров-"кулаков", правительство само вносило лепту в усиление капиталистического сектора деревни. Организация фермеров-иммигрантов в кооперативы не меняла положения: коммуны получались "кулацкие". Теперь же правительство начало

20. С. З. СССР, 1925, ст. 303, 26 июня 1925 г.

обратный процесс, отменив ряд существенных постановлений 1923-25 гг. о сельскохозяйственной иммиграции и распустив в январе 1927 г. комиссию по трудовой иммиграции в СССР.[21] Вопросы трудовой иммиграции решались теперь по соглашению между НКВД, НКИД, ВСНХ, ОГПУ, РКИ и Наркоматов Военно-морских дел и Внешней и Внутренней торговли. Трудно поверить, чтобы восемь советских учреждений, имевших свои специфические интересы, в том числе и в иммиграционной политике, могли прийти к какому-либо общему решению относительно въезда иностранных фермеров.

Судьба американских фермеров в СССР представляется трагичной. Их образцовые хозяйства не могли попасть в разряд некулацких. Из этих американцев только единицы сумели вырваться на родину. Остальные, безусловно, погибли. Число трудовых иммигрантов не было велико в сравнении с массами советского крестьянства, а потому исчезновение иностранцев, раскиданных компактными группами на огромных территориях СССР, осталось незамеченным.

В отличие от сельскохозяйственной, промышленная иммиграция не остановилась полностью. Начавшаяся индустриализация требовала такого количества специалистов, каким не располагало советское государство. Учитывая это, ВСНХ разрешил иммиграцию инженеров и техников ряда отраслей промышленности. Малочисленность этой иммиграции не могла отразиться на повышении уровня безработицы в стране. В годы НЭПа, подчиняясь законам рентабельности, РСФСР пересмотрела свою политику в отношении иностранных студентов, которые до этого времени могли не только бесплатно учиться, но и получать некоторую финансовую помощь от советского правительства. То, что из пропагандистских соображений считалось выгодным в первые революционные годы, теперь стало неоправданной расточительностью. Более чем в простом сбережении денег, правительство было заинтересовано в привлечении молодых иностранных специалистов к работе в советском народном хозяйстве. С июня

21. С. У. РСФСР, 1926, ст. 458, 13 сентября 1926 г. Например, был отменен закон о выделении на нужды сельскохозяйственной иммиграции 220 тысяч десятин земли; С. З. СССР, 1927, ст. 95, 21 января 1927 г.

1921 г. все иностранцы, получавшие стипендии советского правительства, по окончании институтов поступали на общих основаниях в распоряжение хозяйственных органов РСФСР и отрабатывали по своей специальности срок, равный пребыванию в институте на материальном обеспечении государства. Несогласные снимались со всех видов материальной помощи.

Расширение контактов с иностранными державами в период НЭПа заставило правительство позаботиться о создании общих правил их въезда, которые до этого времени существовали лишь в виде отдельных законов. Согласно ноябрьскому декрету 1921 г. единственным документом для въезда в республику признавался паспорт с фотографией, визированный советским полномочным представительством за границей.[22] Принятое несколькими месяцами ранее, 21 марта 1921 г., сразу же после подавления кронштадтского восстания и бегства сотен его участников в Финляндию, постановление, под страхом тюремного заключения запрещавшее нелегальный въезд в РСФСР, также оставалось в силе.[23]

В связи с ростом торговли и мореплавания правительство приняло некоторые меры предосторожности в отношении иностранных моряков. С октября 1921 г. те из них, кто, по мнению советских властей, совершил преступления на берегу, на берегу же могли быть арестованы. Закон этот не противоречил международному праву, а потому остался бы позорным пятном в истории советской юрисдикции, если бы в феврале 1922 г. правительство, в нарушение общепринятых норм, не разрешило ЧК арестовывать иностранных моряков на их суднах.

Если для ограничения трудовой иммиграции советское правительство использовало экономические санкции, например, повышение денежного и имущественного ценза, то для уменьшения общего числа иммигрантов оно прибегло к политическим мерам, изменив закон о предоставлении иностранцам

22. С. У. РСФСР, 1921, ст. 559, 20 октября 1921 г. Паспорта с фотографиями были введены много ранее, но общего правила о паспортах и их визации не существовало до издания данного декрета.

23. Там же, ст. 138, 20 октября 1921 г. Подобный закон в ноябре того же года приняло правительство Украины. См. С. У. УССР, 1921, ст. 710, 28 ноября 1921 г.; С. У. РСФСР, 1921, ст. 559

гражданства. С 1921 г. иностранцы, желавшие получить советское подданство, заявляли об этом в губернский исполнительный комитет, причем в случае отказа дело не подлежало пересмотру. С новых российских граждан правительство брало подписку с обязательством защищать советский строй "от всяких посягательств" и запрещало им апеллировать к правительству своей родины.

Но идея закрытого общества не могла быть достигнута, пока за границей находились сотни тысяч российских подданных. Согласно декрету 1923 г. российским гражданам за рубежом предлагалось зарегистрироваться в советских полномочных представительствах, а лицам призывного возраста — немедленно вернуться под страхом уголовного наказания. Боязнь, что русские, находящиеся за границей, будут использованы в борьбе против советских республик, была еще сильнее в отношении тех, кто покинул Россию в составе Белых армий и организаций. Особенно опасным казалось то, что некоторые армии, например, войска Семенова в Западном Китае, даже за границей оставались укомплектованными воинскими единицами. Чтобы разрушить эти армии изнутри, получив при этом и пропагандистские выгоды, правительство, через многочисленные амнистии 1921-1926 гг., разрешило вернуться на родину солдатам белых армий, рядовым участникам антисоветских организаций и восстаний и некоторым категориям эмигрантов, покинувшим Россию после революции.

Желание советского правительства отомстить своим бывшим противникам всегда оставалось замаскированным, но никогда не исчезало. Именно с помощью амнистий правительству удалось заманить в СССР многих эмигрантов и "осудить" их за борьбу против советской власти. Было в этих амнистиях и что-то тупо-хозяйственное: все *свое* иметь при себе. И лишь одному не нашлось в них места — откровенному прощению. Рядовым, а тем более — активным участникам антисоветского движения, нелегко давалось разрешение на въезд. Необходимо было покаяться, обещать лояльно относиться к советской власти и получить официальный документ о прощении за *все* совершенные против советской власти преступления. Получившие такую "амнистию" возвращались в СССР, где их часто судили за

то, что они указали *не все* свои преступления, а следовательно, за что-то не прощены. Еще ре-эмигранты не знали, что факт получения въездной визы в Советский Союз и документа о восстановлении во всех правах не означал амнистии.[24] Попавшихся на этот обман тоже сажали. Активных участников антибольшевистского движения впускали и с еще одной, казавшейся невинной, оговоркой: при условии *действительного и искреннего* (а как проверить?) раскаяния.[25] Так погиб, например, атаман Анненков, которого расстреляли за "неоткровенное" раскаяние. Некоторых лидеров антисоветского движения заманили в СССР или похитили и убили чекисты.

Из первой волны русской эмиграции немногие вернулись на родину. О тех, кто отчаялся пойти на это, ни память народа, ни история страны не оставили никаких воспоминаний.

В то время, как американская трудовая иммиграция фактически прекратилась во второй половине двадцатых годов, подъем сельскохозяйственной ре-эмиграции пришелся на 1925-27 гг., когда правительство не только разрешило вернуться в страну легальным эмигрантам, ни и обещало, что предоставит значительные налоговые и таможенные льготы желающим заниматься сельским хозяйством.[26] Это была последняя попытка советского государства вернуть своих граждан.

В первое десятилетие советской власти иммиграция не была однотонной, но менялась в течение времени. Политическая иммиграция, основанная более на иллюзиях, чем на конкретных знаниях и понимании советской действительности, началась стихийно и была относительно велика в три первых пореволюционных года. Трудовая иммиграция, в отношении которой советское правительство не имело четкой политики до 1921 г., была тесно связана с политической: рабочие и крестьяне Запада иммигрировали в коммунистическую страну. Советское правительство остановило это движение в 1921 году, когда политические интересы заставили большевиков пойти на введение

24. Сборник разъяснений Верховного Суда РСФСР, Москва, 1932, стр. 312, циркуляр № 8 от 19 марта 1925 г.

25. С. У. УССР, 1922, ст. 287, 12 апреля 1922 г.

26. С. З. СССР, 1925, ст. 152, 31 марта 1925 г.; там же, ст. 303, 26 июня 1925 г.

НЭПа и уделить большее внимание экономике. Именно в годы НЭПа советское правительство выработало четкую иммиграционную политику и ограничило саму иммиграцию, а бывшие русские и советские граждане, покинувшие родину вследствие первой мировой войны, революции и гражданской войны, получили право вернуться домой.

Иммиграционный процесс первого десятилетия оборвался в 1927 году, когда советское правительство, готовившееся к коллективизации деревни, фактически запретило сельскохозяйственную иммиграцию. Промышленная иммиграция была крайне ограничена уже с 1921-22 годов. К 1928 году прекратилась и ре-эмиграция, так как лица, покинувшие страну ранее и желавшие вернуться, сделали это в годы НЭПа.

(Окончание следует)

Юрий Фельштинский

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ВЯЧЕСЛАВУ ИВАНОВУ

С 3-го по 5-е апреля в Йельском университете состоялась Первая международная конференция, посвященная творчеству выдающегося русского поэта, мыслителя и ученого Вячеслава Ивановича Иванова (1866-1949). В ней принимало участие около тридцати ученых из пяти стран.

Несколько обстоятельств сделали возможным осуществить это большое литературное событие. С одной стороны, издание брюссельским издательством "Жизнь с Богом" полного собрания сочинений Вяч. Иванова, осуществляемого в течение десяти лет под редакцией Ольги Александровны Дешарт (ныне покойной) и сына поэта — Дмитрия Иванова. Это издание впервые дало возможность как специалистам, так и широкому кругу читателей полно ознакомиться с поэзией, прозой, эссе и дневниками человека, бывшего одной из наиболее значительных фигур русского Возрождения начала века, да и мировой духовной культуры этого столетия.

По разным причинам в течение полувека имя Вячеслава Иванова предавалось забвению и лишь немногие любители, знатоки и специалисты отдавали себе отчет во всей значительности его поэтического, научно-философского и религиозного творчества. В СССР имя поэта обходилось молчанием вплоть до начала семидесятых годов. За рубежом его творчество, пронизанное утверждающим религиозным оптимизмом, представлялось несозвучным атмосфере уныния и отчаяния, охвативших Запад, особенно после Второй мировой войны. За

Ивановым сложилась репутация поэта чрезвычайно трудного, темного и тяжелого — поэта для ученых, мыслителя для мистиков, недоступного широкой публике, неудобопонимаемого и оттого незаслуживающего специального глубокого рассмотрения.

Ход событий и общее духовное развитие современности сделали очевидным уже с середины шестидесятых годов последовательное воскрешение выдающихся мыслителей прошлого, принадлежавших к блистательной плеяде русского серебряного века. Процесс этот стал задачей живой и насущной. Хотя и в СССР и на Западе интерес к наследию Вяч. Иванова продолжает неукоснительно развиваться, но для предания завершенности этому интересу оказалось необходимым другое обстоятельство, сделавшее столь представительной и интересной эту научную встречу. Конференция была организована благодаря энтузиазму, проявленному Отделением славянских языков и литературы Йельского университета, Американской Ассоциацией по развитию изучения славянских стран и особенно — стараниям организатора конференции профессора Роберта Л. Джексона. Две замечательные черты отличали ивановскую конференцию от привычных научных встреч такого рода. С одной стороны, это было чрезвычайное многообразие представленных тем, с другой — помимо науки и литературной критики, к участию были привлечены разнообразные искусства, так или иначе перевоплотившие многие идеи и художественные образы Вячеслава Иванова. К числу таких нужно отнести музыкальный вечер, на котором прозвучали произведения дочери поэта Лидии Ивановой. Концерт имел место 4-го апреля в Дуайтской часовне. Большинство вокальных номеров были написаны ею на стихи Вяч. Иванова, но также — Пушкина и Кальдерона.

Попытка изобразительной интерпретации отдельных мотивов поэта была представлена серией рисунков художницы Лесли Джексон. Основой этих работ явились "Римские сонеты" Вяч. Иванова.

Участникам конференции был продемонстрирован трехминутный кинофильм, заснятый в римской квартире Иванова итальянской кинохроникой в 1948 году. В эти короткие мгновения в зале буквально ощущалось живое присутствие поэта. Кроме того, в университетской библиотеке была организована выставка книг, рукописей, фотографий. Большой интерес вызвали первые издания сборников поэта, а также неопубликованная рукопись перевода трагедии Эсхила "Агамемнон".

Конференция завершилась чтением стихов Вячеслава Иванова —

оригинального текста "Римских сонетов" и их замечательного перевода на английский язык, выполненного Лаури Нельсон. Отрывок из "Повести о Светомире-царевиче" прочел Ю. Ольшанский.

Высокий уровень представленных докладов вполне соответствовал тем требованиям, которые Вячеслав Иванов предъявлял к себе самому, а именно: максимально отдаваться предмету изучения, достигая значительных творческих высот. Конференция была открыта руководителем ее Робертом Л. Джексоном. В своем кратком слове он отметил невероятную ситуацию: такая крупная фигура этого столетия, как Вячеслав Иванов, в течение десятилетий пребывала в забвении. Джексон сказал, что конференция ставит задачей воскрешение этого глубочайшего мыслителя и поэта, оставившего определенный отпечаток на культурном развитии своей эпохи. Но только сейчас мы начинаем осознавать всю огромность духовного потенциала его творчества, которому предстоит оказывать влияние на настоящее и будущее ничуть не менее, чем он оказывал на эпоху современную этому творчеству.

Аудитория приветствовала детей Вячеслава Иванова, которых мы уже упоминали и которые прибыли специально из Рима. Имя Ольги Александровны Дешарт (Шор), биографа и блестящего интерпретатора творческого наследия Вяч. Иванова, вложившей много усилий для публикации собрания его сочинений, скончавшейся в 1978 году, было признательно упомянуто многими участниками встречи.

Первым докладчиком был Дмитрий Вячеславович Иванов. Его темой явились "Повторяющиеся мотивы в творчестве Иванова". Это выступление касалось наиболее сложных метафизических аспектов ивановской мысли. Взаимоотношение человека с Богом выражается в формуле: "Ты еси". "Еси", — говорит человек Богу и через любовь к ближнему таким образом осуществляется сам. Эта идея осуществления себя в Боге характерна для разных произведений Иванова, но главным образом — для его поэмы "Человек". Такое представление связано с другой психо-религиозной концепцией, развивавшейся Ивановым на протяжении ряда лет и нашедшей свое завершение в статье "Анима", толкующей взаимоотношение женского и мужского элементов человеческой души и их отношение к тому, что Иванов называл "самость", то есть глубинное присутствие божества в нашей психологии. На аудиторию произвело впечатление, что за всем этим стройным и проникновенным изложением просвечивало некое мемуарное начало, личная сопричастность.

Затем выступил В. Эрлих (Йельский университет) с докладом "Символистский круг и Иванов", где показал, что Вяч. Иванов был центральной фигурой в символистском движении и в ярких характеристиках представил взаимоотношения поэта с его соратниками в означенном круге. Говоря о "Переписки из двух углов", докладчик подчеркнул способность Иванова к конструктивному оптимизму и воле к сохранению и радостному преображению культурной сокровищницы.

Виктор Террас из Браунского университета (доклад "Эстетическая мысль Иванова — контекст и предшественники") в суховатой, сугубо научной манере проследил влияния на Иванова немецкого идеализма и, главным образом, эстетики Шеллинга и неоплатонистской мысли.

Ренэ Велек (Йельский университет) представил сообщение "Литературная критика Иванова", в котором коснулся статей, написанных об основных классиках русской и западноевропейской литературы — Гёте, Шиллере, Байроне, Толстом и Достоевском. Позиция, занятая профессором Влеком, во многом полемична по отношению к подходу, осуществлявшемуся Ивановым. Однако блестящей интуиции Иванова было отдано должное и весь спор был исполнен такта и уважения, чего, надо сказать, нехватало в докладе Терраса.

Иоганнес Хольтхузен из Западной Германии в докладе "Cor Ardens и эстетика символизма" сделал разбор системы образов, составляюших символистскую поэзию вообще и поэзию Вяч. Иванова в частности, заостряя внимание на чисто ивановском способе переработки этих символических единиц.

Э. Станкевич (Йельский университет) говорил о взглядах Иванова на роль звука в стихосложении и имеющей место тенденции видеть в Иванове одного из представителей того направления в поэтике, которое выделяло преимущественно роль стихотворной формы, не заботясь часто о содержании с лингвистической точки зрения. Станкевич доказывал, что ивановский символизм представляет собой символизм объективный или реалистический, не впадающий в многосложную капризность звукописи, которую культивировали символисты иного толка (Бальмонт, например). Докладчик выявил связь между лингвистическими и стиховедческими идеями Иванова и современной нам теоритической поэтикой.

К той же проблеме примыкал доклад Томаса Венцлова из Йельского университета, рассматривавшего стихотворение Иванова "Язык". Свою задачу докладчик выполнил в классической манере структурального

метода, несомненно будучи под влиянием тартуской школы литературоведения. Сонет Иванова "Язык" был проанализирован на всех уровнях: грамматическом, морфологическом, фонетическом и наконец философско-метафизическом.

Нельзя не отметить, что два последних доклада отличались излишней формальностью метода, как бы математизацией предмета и несколько механическим заполнением заранее приготовленных формул.

Нина Каучишвили (Бергамский университет, Италия) говорила об искусстве цвета в языке Иванова, сопровождая свое выступление показом диапозитивов русских икон. Н. Каучишвили установила связь между цветовым воплощением иконописи и цветовым звуковедением Иванова. Анна Тамарченко из Гарвардского исследовательского центра положила в основу своего доклада доселе неопубликованные тексты конспектов бакинских лекций Иванова о поэтике. Недоступность этого материала придала совершенно особый характер выступлению Тамарченко, которая показала, что указанные конспекты представляют собой единственно существующее обобщенное изложение взглядов Иванова на поэтику.

Доклад Владимира Маркова из Калифорнийского университета был одним из наиболее значительных на конференции. "Вячеслав Иванов как поэт — дань и новая оценка" — так назывался его доклад, исполненный мысли и подлинного чувства. Сам докладчик несомненно принадлежит к числу больших поклонников творчества этого русского поэта. Начав с отказа от взгляда на Иванова, как на поэта для узкого круга избранных ценителей и ученых, Марков коснулся чисто артистической и поэтической стороны ивановского творчества, справедливо подчеркивая, что ценность этой поэзии сохранится на все времена вне зависимости от философских, теоретических и интеллектуальных толкований. Для Маркова Иванов в первую очередь ценен как поэт прекрасный и высокий, поэт, в котором открываются бесконечные грани глубочайшего чувства звука и образа, поэт, сделавший свой подлинно уникальный вклад в развитие русской литературы.

Протоиерей Кирилл Фотиев из Нью-Йорка докладывал об "Исповедальности и христианском единстве на основе письма Иванова к Шарлю Дю Босу", в котором поэт объясняет принятие им католицизма и делится своими мыслями о различных проблемах, связанных с развитием церковности и экуменизма.

Теме "Философии познания Иванова (Кант и неокантианство)" был

посвящен доклад Джеймса Веста из Вашингтонского университета. Большая заслуга докладчика в том, что он сумел показать всю сложность отношения Иванова к Канту и его последователям, различить непосредственный взгляд Иванова на философа, с которым он имел равноправный диалог. Вест показал как зависимость взглядов Иванова от Канта, так и наоборот — оригинальное развитие и переосмысление кантовских взглядов. С другой стороны, докладчик вскрыл недоверие Иванова к неокантианству, в котором он видел профанацию и огрубление идей философа, а также путь, ведуший в конце концов к обезбожествлению мира и к тому, что он называл "целюлярностью", то есть замкнутостью в самом себе.

Алексис Раннит, эстонский поэт и критик искусства (Йельский университет), выступил с докладом "Творческое воображение Иванова: поэт и мыслитель как критик искусства". Своеобразие подхода Раннита проявилось в том, что его толкование коснулось не только теоретических статей Иванова, но и большого стихотворного произведения — "Терцины к Сомову". В этом произведении докладчик справедливо усмотрел единственную в своем роде попытку художественной критики в поэтической форме. Иванов использует путь критики для выражения собственных воззрений на античность, например, говоря о картине Л. Бакста "Древний ужас". А в эссе о литовском художнике Чюрленисе Иванов создает многоплановую панораму, достойную космичности искусства художника.

Роберт Джексон — "Переписка Иванова из двух углов" — противопоставил положительное мироошушение Иванова с негативно отрешенной позицией М. Гершензона, увидев в последней окончательное воплошение типа лишнего человека в русской литературе. Гершензон как бы отождествляется с героями своих исследований о русских интеллигентах минувшего столетия и являет в своем лице воплошение данного культурно-психологического типа. В то же время, культурный пафос Иванова делал его мыслителем универсальным и конструктивным.

Василий Рудич (Йельский университет) выступил с сообщением об Иванове и классической античности. Он проследил взаимоотношения его с классическим наследием в трех основных областях творчества: поэзии, философии и научной деятельности. Было подчеркнуто малоизвестное качество Иванова как ученого-классика. Высоко оценена его книга "Эллинская религия страдающего бога".

Иванову и русской поэзии XVIII века, имевшей влияние на его творческую лабораторию, был посвящен интересный и содержательный доклад Ильи Сермана из Иерусалимского университета.

Генрих Штамлер из Канзасского университета продемонстрировал точки притяжения между Ивановым и Ницше. Последний значительно определил движение ивановской мысли в будущем, но докладчик показал также и момент, в котором ученик, осознав ограниченность положений своего учителя, предпринял шаг вперед и выявил фундаментальное различие с ним. В первую очередь это проявилось в вопросе о Дионисе, в котором Ницше видел явление сугубо эстетическое, а Иванов — религиозное. Иванов не мог согласиться и с провозглашенным богоотрицанием Ницше и потому усматривал в философе глубоко трагический пример человеческого сознания, неспособного выйти за свои пределы.

Кэрол Аншуэц из Стэнфорда говорила об Иванова и Белом, заостряя внимание на Иванове не только как на теоретике символизма, но и на влиянии его на роман А. Белого "Петербург", которое она считает решающим в смысле системы образов. Многие образы Белого берут свое начало в теоретических рассуждениях Иванова.

Памела Дэвидсон (Оксфорд, Великобритания), основываясь на многочисленных мотивах из Данте в поэзии и статьях Иванова, а также на его неопубликованном переводе из "Божественной комедии", выявила всю значимость Данте в духовном развитии Иванова и установила ряд соотношений в трактовке некоторых вопросов, в частности во взаимоотношении античности и христианства.

Фаусто Мальковатти из университета в Павии (Италия) сделал доклад "Миф страдающего бога и рождение греческого театра в теории драмы Иванова". Трактуя тему, главным образом, на основе работы Иванова "Эллинская религия страдающего бога", он видит проблему возникновения театра, как некоего народного трагического и религиозного действа в связи с более широкой концепцией Иванова — искусства как проявления соборности.

Лаури Нельсон, профессор Йельского университета, говорил о переводах Иванова Петрарки. Сопоставляя переводы с оригиналами сонетов, Нельсон тонко углубился в своеобразный диалог этих поэтов, показывая адекватность удачи или неудачи в их взаимном общении, как бы взаимном обогащении, иными словами.

Лидия Вячеславовна Иванова прочла отрывок из своих воспомина-

ний, посвященных отцу и матери — писательнице Лидии Зиновьевой-Аннибал, о их пребывании в Швейцарии, Петербурге и Москве. Большая часть этих замечательных воспоминаний посвящена периоду знаменитой башни. Написанные ярко и проникновенно, со всей очевидной непосредственностью и живостью, эти страницы восстанавливают многое, доселе неизвестное даже в этом, теперь столь интенсивно изучаемом периоде.

Другое выступление — Кристины Поморской из Массачусетса — было замечательно также своим личным характером. Это была оценка и осмысление роли Ольги Александровны Дешарт в семье Ивановых и творческого развития самого поэта. На основе мельчайших подробностей и деталей, открытых ею в период общения ее с О.А. Дешарт в семидесятых и шестидесятых годах, докладчица сумела воссоздать образ этого необыкновенного человека огромных знаний, теплоты, воли и таланта. Главным трудом Дешарт стало предисловие, которое само можно считать монографией, написанное для первого тома собрания сочинений Иванова.

Рикардо Пиккио, Йельский университет, рассказал об итальянском периоде жизни Иванова и, в частности, о взаимоотношениях с итальянской литературой, остановившись на нескольких оригинальных статьях Иванова, а также — на попытке соавторства Иванова с итальянским писателем Ле-Гатто в переводе на итальянский отдельных строк из А.С. Пушкина.

Григорий Тамарченко, из Гарвардского исследовательского центра, сделал интересный доклад об Иванове в советской критике. Он различил три периода отношения к Иванову: период после революции, когда поэта обычно замалчивали и сочувственные отзывы о нем не появлялись в печати; затем период вульгарного поругания в 30-е, 40-е и 50-е годы, когда в нем видели "типичного представителя буржуазного искусства"; и наконец период, начавшийся с середины 60-х годов, возникновению которого в значительной мере способствовали бакинские ученики Вяч. Иванова. Тогда же началась и переоценка его творчества, приведшая к опубликованию тома избранной поэзии Иванова в малой серии "Библиотеки поэта".

Доклад Алексея Климова из Вассар-колледжа касался более широкой темы: Иванов и его критика в русской литературе. А. Климов, начиная с первых рецензий В. Брюсова, выявил тенденцию видеть в Иванове поэта эзотерического, темного и непонятного, отрицающую

торжественность и высокий стиль, свойственные его поэзии. Докладчик сравнил эти атаки с попытками дискредитации Мильтона на тех же основаниях, имевшие место в 20-е и 30-е годы в английской литературной критике.

Ричард Берджи из Принстона сделал сообщение о неопубликованных переводах Иванова из Эсхила. Само зачитывание этих переводов показало присутствующим языковую виртуозность Иванова, воссоздающую мощь греческого оригинала.

Конференция завершила свою работу созданием международного общества в честь Вячеслава Иванова, ставящего своей целью широчайшее изучение и пропаганду наследия этого русского поэта, мыслителя и ученого. Было решено, что следующая конференция состоится в итальянском городе Бергамо. Том трудов конференции будет подготовлен к печати. Нет сомнения, что уровень, и разнообразие докладов конференции, отразивших разнообразнейшие области творчества Вячеслава Иванова, как в историческом, так и в культурном отношении, позволит ей стать основной вехой для исследователей творчества поэта и русского символизма в литературе начала текущего столетия.

Валерий Блинов
Нью Хейвен

СЕНАТОР МОЙНИХЭН ЦИТИРУЕТ "НОВЫЙ ЖУРНАЛ"

Сенатор от штата Нью Йорк Дэниель Патрик Мойнихэн, в новогоднем номере бюллетеня для избирателей "Письмо Нью Йорку", воспользовался цитатой из "Нового Журнала", как подтверждением известного заявления Ленина о "капиталистах и веревке". Приводим выдержку из бюллетеня сен. Мойнихэна от 26-го декабря 1981 г.: —

"Предсказание неминуемого бедствия

...Захватив власть, Ленин предсказал, что Запад будет забрасывать Советский Союз излишками своей продукции. Это предсказание существует в нескольких вариантах. Согласно самой широко распространенной версии, Ленин сказал своему соратнику Карлу Радеку: "Империалисты так жадны на прибыли, что продадут нам даже ту веревку, на

которой мы их повесим". Хотя нет прямого подтверждения, что Ленин действительно это сказал ему, но имеются все основания верить, что он написал нечто подобное. Вскоре после смерти Ленина, художник Ю. Анненков списал нижеприведенные слова из бумаг Ленина. Этот отрывок был много лет спустя напечатан на страницах "Нового Журнала", русского издания, виходящего в Нью Йорке: — "...Капиталисты всего мира и их правительства, в погоне за завоеванием советского рынка закроют глаза на действительность и превратятся таким образом в глухонемых слепцов. Они откроют кредиты, которые послужат нам для поддержки коммунистической партии в их странах и, снабжая нас недостающими у нас материалами и техниками, восстановят нашу военную промышленность, необходимую для наших будущих победоносных атак против наших поставщиков. Иначе говоря, они будут трудиться по подготовке их собственного самоубийства". (кн. 65 "Н. Ж.", 1961 г. *РЕД*).

...Не похоже ли наше недавнее поведение на полное подтверждение этого пророчества Ленина? После [советского] вторжения в Афганистан, президент Картер прекратил продажу излишков нашей пшеницы Советам. Аргентина и Австралия сразу же поспешили продать им недостающее зерно. Когда же наступил 1980-ый год с выборами нового президента, кандидаты соревновались друг с другом как в провозглашении своего антикоммунизма, так и в обещаниях — если их выберут — отменить запрет на продажу [советам] зерна...".

СОРОКАЛЕТИЕ "НОВОГО ЖУРНАЛА"

30-го января с. г. Вашингтонский отдел Литературного Фонда, под председательством проф. Е. А. Якобсон, провёл публичное собрание, посвященное сорокалетнему юбилею "Нового Журнала". С докладом о журнале выступил его соредактор проф. Е. Л. Магеровский. После доклада было чтение произведений сотрудников журнала. Л. А. Нарциссова прочла стихи своего мужа, поэта Бориса Нарциссова, который не мог быть по болезни. Т. Фесенко выступила с литературно-критическим разбором перевода поэмы Стивена В. Бене, сделанного поэтом Иваном Елагиным. И. Елагин читал свои стихи, А. Кторова — отрывок из своей новой книги.

СТАТЬИ ИЗ "Н. Ж." В ЭФИРЕ

Радиостанция "Голос Америки" использовала в своей передаче в СССР статью Н. Моравского "Вся власть советам, а не партиям" (о Кронштадском восстании, к его 60-летию), опубликованную в 144 кн. "Нового Журнала".

Радиостанция "Свобода" в связи с 40-летием "Н. Ж." взяла интервью у проф. Е. Л. Магеровского (соредактора журнала), посвященное вопросам русской культуры за рубежом и, в частности, "Новому Журналу".

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО "Н. Ж." В ВАШИНГТОНЕ

Общественный деятель в Вашингтоне, Н. В. Моравский, 5129 Worthington Dr., Bethesda, Mr., взял на себя представительство "Н. Ж." в столице США и ее окрестностях.

КНИГА Ю. ФЕЛЬШТИНСКОГО

Chalidze Publications (New York, 505 Eighth Ave., N. Y. 10018) выпускает книгой работу Ю. Фельштинского "История ленинской провокации. Убийство германского посла графа Мирбаха и 'восстанье' левых эсеров в июле 1918 г.". Эта работа Ю. Фельштинского была опубликована в "Н. Ж." (кн. 142 и 143).

БИБЛИОГРАФИЯ

Д. ШТУРМАН. "НАШ НОВЫЙ МИР". Из-во "Лексикон", Иерусалим, 1981, 367 стр.

> "Учение Маркса всесильно, потому что верно". В.И. Ленин.
>
> "Прежняя наша программа была теоретически правильна, но практически несостоятельна". В.И. Ленин, изд. 4, т. 32, стр. 201.
>
> А воз и ныне, спустя полвека, там.....

Ученых трудов, посвященных критике марксизма, на русском языке не так уж много. В "Диаматии" опровергать марксизм противопоказано, а в свободном мире "философская нищета марксизма" давно доказана. И тем не менее, живуч он, этот марксизм, среди тех, для кого "закон не писан": типичному пролетариату "пограбить награбленное" всегда охота, а наивных утопистов, верующих в идеал "свободы и равенства на земле", хоть пруд пруди...

Если не считать материалов публицистического характера, то библиография русского "антидиамата" исчерпывается немногими работами, среди которых прежде всего следует выделить некоторые экономические труды С.Н. Булгакова ("От марксизма к идеализму", 1903 г., "Философия хозяйства", 1912 г. и др.), Н.О. Лосского ("Диалектический материализм в СССР", 1934 г.), Б.П. Вышеславцева ("Философская нищета марксизма", 1957 г. и "Кризис индустриальной культуры" 1953 г.). Советскому читателю эти книги недоступны.

В 1981 году эта библиография пополнилась прекрасным, обстоятельным исследованием Доры Штурман. Автор книги, по образова-

нию филолог и историк (по призванию же, как это видно из опубликованных ее статей в зарубежье, — политолог и экономист), до 1977 пребывала в СССР и книга ее, в первичном варианте, в самиздате, появилась уже к концу шестидесятых годов.

Каково содержание книги? Несколько ироническое название "Наш новый мир" и в том же духе выдержанное оглавление могло бы ввести в заблуждение читателя, не потрудившегося заглянуть в текст. Ибо книга эта — не "антиутопия", а *серьезнейшая критика марксизма с позиций теории и практики.* Ее задача — показать, "почему такая великолепная теория уже столько лет приводит к совершенно противоположным результатам" (Ян Прохазка, "Товарищам", ЛГ № 26, 1968).

В теоретической части книги автор делает очную ставку различным (в смысле противоречивости) текстам сперва одного и того же классика марксизма, включая и основателя его, а затем дает нечто вроде синоптического обзора отмеченных противоречий у различных марксистов, представляя таким образом как-бы вертикальное и горизонтальное сечение проблемы. Дальше следует сопоставление теоретических утверждений с фактическими "достижениями", вскрывающее порочность системы и ее пагубное влияние на общество в целом. Весьма красноречива цитата из трудов современных теоретиков-аппаратчиков, набором ловко подтасованных эвфемизмов маскирующих зияющий разрыв между "канонами" диамата и безнадежной действительностью.

Содержание книги можно еще определить и как сравнительный анализ конкурентнорыночного хозяйства и хозяйства монокапиталистического (коммунистического), анализа, вскрывающего связи и зависимости между политической экономией и экономической политикой. Поясним в нескольких словах различие между этими дисциплинами.

Термин "экономия" происходит от греческого слова "икономия", означающего хозяйствование, заведование домашним хозяйством, домохозяйство, домостроительство, управление, руководство, устроение, устройство. *Политическая экономия,* названная так для отличия от частно-домашней, семейной экономии, имеет своим предметом сложный процесс общественного производства, подачи и купли материальных ценностей. Она перекрывается с рядом смежных дисциплин, как напр. статистика, коммерческое право, искусство хозяйственного расчета (калькуляции) и т. п. Самая отвлеченная часть политической экономии занимается общими принципами действования

того субъекта, которого можно назвать "хомо фабер" или "хомо экономикус" — это философия политической экономии. В своей теоретической части политическая экономия излагает историю экономических доктрин, открывает общие законы, господствующие в различных хозяйственных системах, иллюстрирует теоретические тезисы примерами их практического осуществления в прошлом. *Экономическая же политика* (теоретическая и практическая), это искусство применения или использования экономических и юридических законов и материальных потенций соответственно целям, которые могут лежать и вне хозяйственной области. Так, напр., фискальная политика данного государства может иметь в виду заботу о благосостоянии общества, но может заниматься изысканием средств для вооружения страны, для финансирования шпионажа или подрывной работы в других государствах.

Конкурентнорыночная система хозяйствования основана на принципах частной собственности, частной инициативы, свободного соревнования: ее субъект-делатель — индивидуум, личность. Коммунистическая система отменяет вышеуказанные принципы: ее субъектом-делателем в теории признается рабочий класс в целом (коллектив), на практике же — это "партактив"; частная инициатива заменяется центральным планированием и предписаниями свыше, инстинкт же конкуренции осуществляется нелегально только в очередях перед "распределителями товаров" и на неизбежном "черном рынке".

Отменяя "буржуазный" капитализм, который, хотя и имеет свои "грехи", т. е. недостатки, присущие борьбе за существование (а в настоящее время, вернее, в борьбе за преуспевание), но тем не менее постоянно их преодолевает и оправдывается изобилием материальных благ в целом, — коммунистический монокапитализм, будучи предельно неэластичным, как правило без исключений, приводит широкие массы населения к определенному обнищанию.

Почему это так бывает — поясним на следующем примере-аналогии.

Во вселенной действует универсальный закон взаимопритяжения масс, частным видом которого является закон гравитации. Закон этот "естествен", так как он заложен в сущность бытия, всего, что существует в тварном мире, т. е. в категориях времени и пространства. Даже электроны "ведут себя" согласно этому закону, как бы считая его собственным, автономным свойством, не подозревая того, что закон этот

действует на всех, высших, уровнях существования. Действие этого закона — автоматично, а в тех частных случаях, когда он нарушается, то вспыхивающие здесь и там локальные "катастрофы", "взрывы", заглаживаются немедленно восстанавливающимся состоянием гармонии, наподобие того, как выравнивается гладь водной поверхности после всплеска от брошенного камня. В результате действия этого закона, вернее — закономерности, вселенная не пребывает в хаосе, но является постоянно становлящимся и обновляющимся *космосом*. Представим себе теперь некий "казус ирреалис": одна из стихий, назовем ее "князем мира сего", взбунтовалась против этой извечной закономерности и решила, захватив власть, установить новый закон, *противоположный* закону взаимопритяжения масс... Ясно, что космос моментально взорвался бы в результате универсальной коллизии.

Какую аналогию этой закономерности мы можем найти в человеческой среде? Это — инстинкт самоутверждения, выражающийся в стремлении к собственности, желании осуществления своей воли (творческий интерес к чему-то) и автоматическое сопротивление принуждению (свобода к чему-то, для чего-то и от чего-то).

Как для жизни организма характерно производить все новые и новые энергии вопреки господствующему в неорганической области закону энтропии, так и *личная заинтересованность* влечет человека к производству ценностей сверх необходимого для жизни минумума: это — залог прогресса, залог изобилия, во всяком случае — достатка, запаса. Создавать что-либо новое это значит использовать накопленное, запасное, будь то материальное, будь то интеллектуальное. И, если можно сказать, что положение *данного* атома материи не только обусловлено остальной вселенной, но что и он сам обусловливает (в соответственной мере) положение этой вселенной, то по аналогии можно сказать, что и в человеческом обществе индивидуальная выгода обусловливает, в массе, общую, а общая, в обратном порядке, частную. Конечно, человеческое общество пребывает не в статическом состоянии, а в состоянии динамическом: отклонения от правила случаются, но они как бы автоматически корригируются действием закона оптимальной выгоды целого.

Весь этот механизм свободного, т. е. конкурентного рынка, с постоянными коррекциями, перестает действовать автоматически, естественно когда в основу хозяйствования кладется *гетерогенная цель* и весь аппарат экономической жизни *противоестественно*

настраивается на новый, нехозяйственный лад. В таком случае экономия подчиняется *политике* и общественный организм начинает вести жизнь подобно жизни человека, заболевшего раком: сначала ткани и железы работают как-бы по-прежнему, но результаты этой работы пожираются раковидной опухолью, дающей все более распространяющиеся метастазы, пока деятельность их не нарушается настолько, что гибнет и организм, и паразитирующий на нем рак. Разве что во-время будет сделана операция...

Книга Доры Штурман является талантливой, убедительной и прекрасной развернутой иллюстрацией к тому, что сказано выше. И если бы в свободном мире в высших школах был бы введен предмет "антидиамата", то книга эта была бы исключительно ценным пособием для преподавателей такой дисциплины.

Игумен Геннадий (Эйкалович)

СТИВЕН ВИНСЕНТ БЕНЕ́. ТЕЛО ДЖОНА БРАУНА. ПЕРЕВОД И. ЕЛАГИНА. (Ann Arbor, Michigan). Ardis (1979).

Автор громадной эпической поэмы, появившейся теперь и на русском языке, поэт и писатель Стивен Винсент Бене (1898-1943), брат известного американского поэта, критика и издателя Вильяма Роза Бене (1886-1950), получил образование в Иельском университете, где в свое время учился и его старший брат. Его многочисленные произведения свидетельствуют о неуемном интересе к американской жизни во всех ее проявлениях.

Сын и внук кадровых офицеров, отказавшийся от военной карьеры только по состоянию здоровья, он был захвачен эпопеей гражданской войны в США (в которой — на разных сторонах — участвовали оба его деда) и проделал огромную работу по ознакомлению с историческими трудами, архивными материалами, воспоминаниями и письмами, относящимися к войне Севера и Юга. Его поэма "Тело Джона Брауна" была издана в 1928 г. Писал ее Бене во Франции, куда он отправился как стипендиат Фонда Гуггенгейма, что избавило его от необходимости зарабатывать на хлеб насущный пустенькими рассказами для журналов. Там, вдалеке от Америки, он, по его же словам, еще сильнее любил ее и с воодушевлением отдался работе над давно задуманной поэмой. Написанная ярким, легко доходящим до читателя

языком, она выдержала множество изданий, среди которых были специальные школьные издания, а также издания для военнослужащих. Этот пользовавшийся популярностью поэтический рассказ о судьбах людей во время войны и ее героических и обыденных событиях был отмечен премией Пулицера. Другое нашумевшее произведение Бене, рассказ "Дьявол и Дэниэль Вебстер", напечатанный в 1937 г., позже лег в основу кинофильма и по нему было написано либретто народной оперы. За все свои произведения С. В. Бене был избран в 1938 г. членом Американской академии искусств и литературы.

Сам Бене в предисловии к первому изданию 1928 г. упоминает, что он решил не загромождать свое произведение разными примечаниями и библиографией, поскольку "это поэма, а не исторический труд". Тем не менее он упоминает о ряде использованных им исторических материалов и подчеркивает, что, "описывая известные события, я старался придерживаться исторических фактов там, где такие факты были твердо установлены. С другой стороны, воспроизводя мысли и чувства определенных исторических личностей, я один несу ответственность за воссоздание их в поэме. Что касается вымышленных персонажей, то они не списаны ни с каких определенных лиц". Однако в другом месте Бене указывает, что его герои делают только то, что могли сделать любые подобные им люди, находясь на их месте в те времена.

В издании 1968 г., снабженном предисловием и солидными примечаниями Джека Л. Каппа и Роберта Кембла (преподавателей Военной Академии США, Вест Пойнт), указанные специалисты утверждают, что Бене с безошибочной точностью умеет связывать исторические события с человеческим опытом описываемых им лиц. Без какой-либо политической предвзятости, без расовых предубеждений и региональных симпатий, Бене дает объективную картину американского прошлого, пропущенного через призму человеческого опыта своих героев и восприятия ими окружающей действительности. Вдумчивой передачей событий Бене оживляет для читателей прошлое, делает его доступным, понятным и близким.

В предисловии к изданию 1941 г. своей поэмы сам С. В. Бене указывает, что она написана разными размерами и что это сделано умышленно. "Когда я впервые намечал ее план, то у меня возникла довольно сложная схема ее построения — исторические лица должны были неизменно выступать в белых стихах, и т. д. Такая схема оказалась слишком сложной для того, чтоб придерживаться ее с точностью.

Но вышло все же так, что в поэме доминируют три размера — белый стих, как таковой, в монологах и раздумьях Бенджамина, Линкольна и т. д.; легкий, быстрый размер, наводящий мысль на танцы или езду верхом, употребляется в большинстве эпизодов, связанных с Вингейтом. И наконец более длинная и грубоватая строка. Читатель может, если хочет, думать о них как о музыкальных темах; особенно это относится к "вингейтскому размеру", который, по-моему, содержит нечто, напоминающее об учтивости и элегантности довоенного Юга. Длинная грубоватая строка также набрана с определенной целью: "я хотел подобрать такой размер, в пределах которого я мог бы касаться множества американских явлений... и он звучал бы так, словно я говорю запросто, а не ораторствую". (Перевод мой. Т.Ф.).

В этом кратком предисловии Стивен Винсент Бене (названный так в честь своего деда-генерала, занимавшего высокий пост в американской армии) подчеркивает, что, по его мнению, поэзия предназначена для всех, а не только для ученых. Она не ограничена каким-либо классом читателей, она открыта для любого читателя, "которому нравится звучание и качание ритма, красочность и огонь слов".

Именно Иван Елагин, излюбленным приемом которого является изменение размера и ритма в собственных стихах для психологического выделения определенных моментов, поэт с богатым словарем и острым ощущением оттенков слов, оказался идеальным переводчиком для поэмы Бене. Эти качества в соединении с профессорской точностью в подходе к тексту позволили ему через полвека после создания монументального — 12.000 строк! — произведения Бене донести его до русского читателя с предельной близостью не только к авторскому тексту, но и всему психологическому настрою поэмы.

Вот как звучит в необычайно близком к оригиналу переводе Елагина "вингейтский размер", выбранный автором для описания своей героини:

Казалось, у ней эппелтоновский рот,
Садится в седло она, как Эппелтоны,
Но если мечтает она иль взгрустнет,
Проступит сокрытое в ней затаенно.
На сутки могла она сесть за шитье
И выглядеть так, как из гипса святая,
Но только лишь скрипки послышится звук

Взыграет и сердце у ней и каблук,
И грация в ней просыпалась иная,
И делала сразу же схожей ее
С французом-отцом, шалопаем и хватом,
С учителем танцев Дюпре, что когда-то
Не в добрый свой час заявился на Юг
В ботинках с блестящею пряжкой резной,
С привычкой придерживать туз козырной...

А вот портрет генерала Ли — "статуя из белого стиха", по словам самого Бене:

Он верил в долг и следовал ему
С примерной неизменностью и силой,
Велик был в пораженьи и победе,
Всегда самим собою оставаясь.
Солдаты за него на гибель шли,
Но он щадил солдат, где только мог.

"Разговорный, грубоватый размер" Бене звучит у Елагина так:

...Но вот они кое-как выбрались, строиться стали,
Волосья у Бейли торчали и сонно и гневно,
Кричали кругом офицеры, что им полагалось кричать,
Их всех захватили врасплох, они вновь понесут пораженье.
Пока им еще все равно. Но скоро их кровно коснется.
У Бейли штаны не застегнуты, и не нашел он рубахи.
Джек думал сказать это Бейли, да некогда было уже...

Конечно, в поэме звучат и другие ритмы, как, например, прелестная песенка Мелоры:

С любовью сосватал туман на заре,
Когда ветвь была зелени рада,
Но вырезать сердце мое на коре
Успела я до листопада.

Весной зеленела листьев семья,
А нынче стала каленой.
У ветра кольца не просила я
Там, под веткой склоненной.

Падайте листья, легко летя,
На меня с моею бедою.
У меня не у первой будет дитя
От ветра, что шел стороною...

Можно пожалеть, что этому переводу поэмы не предшествует хотя бы краткое предисловие, небольшое вступление, которое помогло бы русскому читателю скорее войти в мир, встающий перед ним на страницах книги. В принципе построение поэмы как будто бы несложно — военные судьбы двух основных героев, богатого южанина-аристократа Клея Вингейта и северянина Джека Эллиата, парня из Коннектикута, оказавшихся в двух вражеских армиях, да двух девушек, Салли и Мелоры, полюбивших их. В русло этого основного рассказа вливается множество иных потоков, то плавно следующих за его течением, то отбегающих в сторону, чтоб дать более полную и широкую картину тяжкой годины Америки, поданной с редкой объективностью и уважением к геройству обеих сторон.

Не говоря уже о портретах крупных военачальников и президентов Севера и Юга, Линкольна и Джефферсона Дэвиса, поэма полна ярких и незабываемых образов людей разного круга. Тут и негр Куджо, преданный мажордом в пышной вингейтской усадьбе, где "даже ворчать на хозяев он мог, и знал обо многом, что им невдомёк", в годы войны с тоской зарывающий в землю столько раз им с гордостью чищенное серебро хозяев, чтоб уберечь его от солдат армии Шермана; и другой негр, беглый раб Спэд, мечтающий добиться свободы, чтоб завести себе "черную бабу и хорошего мула"; и фермер Джон Дифер, "бочкогрудый пеннсильванец" и меткий стрелок, уроженец гор Лука Брекенридж, и лихой Бэйли, и трус, шпион Шиппи, и пустая красавица Люси Вэзерби, играющая роль вдохновительницы уходящих на фронт южан, и многие, многие другие, чьи судьбы тесно сплетаются с войной.

Но само название поэмы таково, что оно вряд ли может сразу привлечь внимание неискушенного в американской истории русского читателя, чаще всего незнакомого с деятельностью аболициониста, пылавшего такой фанатичной ненавистью к рабству, что это повело к ряду вооруженных выступлений, в которых принимал участие сам Джон Браун и его сыновья. Мечтая об освобождении рабов при помощи оружия, Браун и его единомышленники (18 человек) захватили 16 октября 1859 г. арсенал в Харперс Ферри в штате Вирджиния и засели в нем. Большинство участников этого выступления были перебиты, сам

Джон Браун был ранен и принужден сдаться. Его судили и ему был вынесен смертный приговор — в декабре того же года его повесили. Но песнь "Тело Джона Брауна" продолжала жить, а позже превратилась в военный гимн северян, правда с измененными в 1862 г. словами.

Описание этих событий, считающихся прелюдией к гражданской войне, предшествует непосредственному рассказу о судьбах героев поэмы, на многих страницах которой как бы звучит мотив песни, с которой полки уходили в бой, которую солдаты Севера пели на бивуаках...

Иван Елагин вообще много переводит американских поэтов, но его решение взять на себя огромный труд по переводу поэмы Бене нужно особо приветствовать — в выборе этого произведения были проявлены вкус и проницательность.

Как сообщает Чарльз А. Фентон в своей книге "Стивен Винсент Бене", изданной Иельским университетом в 1958 г., ни одно произведение американской поэзии так не взволновало широкие круги читателей со времен появления "Песни о Гайавате" Лонгфелло, как "Тело Джона Брауна". До конца своей жизни Бене получал множество писем от читателей из разных концов страны, особенно же от южан, с благодарностью за его беспристрастность и точность в изображении исторических лиц и событий. Литературные критики находили его описания боев при Булл Ране и Геттисберге достойными "Энеиды". Во время Второй мировой войны к нему шли письма из-за океана от американских военных, зачитывавшихся его поэмой даже в боевой обстановке.

Фентон отмечает, что до 1957 г. было уже 18 переизданий поэмы, предназначенных для средних школ, и 44 переиздания для высших учебных заведений. "Тело Джона Брауна" читали и разбирали в классных комнатах и аудиториях всех штатов США, поэма вошла даже в обязательный список литературы для студентов некоторых университетов Канады. В 1944 г. даже одному из американских кораблей было присвоено имя поэта, скончавшегося за год до этого от болезни сердца.

Если энтузиазм американских читателей в отношении "Тела Джона Брауна" можно сравнить с впечатлением, произведенным на них поэмой Лонгфелло, то невольно напрашивается и параллель между переводами этих замечательных произведений американских поэтов на русский язык. Так, как Бунин донес до русских читателей весь аромат индейского фольклора в "Песне о Гайавате", так и Ивану Елагину удалось великолепно передать на русском языке всю специфику поэмы Бене.

С этой книгой Бене в переводе Елагина, звучащем, как оригинал, следует познакомиться широким кругам русскоязычных читателей, тем более, что и Россия пережила братоубийственную гражданскую войну. В художественном и честном рассказе американского поэта мы можем найти много общих черт с одной из наиболее трагических страниц истории нашей родины.

Татьяна Фесенко

РОМАН ГУЛЬ. "Я УНЕС РОССИЮ". АПОЛОГИЯ ЭМИГРАЦИИ. ТОМ I. "РОССИЯ В ГЕРМАНИИ". Изд. "Мост". Нью Йорк. 1981. (365 стр.)

В 1921 году в Берлине вышла первая книга Романа Гуля — "Ледяной поход" (с Корниловым). Автору её в то время было 25 лет. "Я — мальчишка, первая книга, — вспоминает Р. Гуль, — а тут — сам Максим Горький, мировая знаменитость, "всероссийский гигант", автор всяких Буревестников, Челкашей, Мальв, Песней о соколе и прочее, пишет — "интересная книга". "Ледяной поход" действительно вызвал интерес читателей, причём у некоторых особый — книга попала даже на стол к Ленину, который, как известно, любил "изучать своих врагов".

Со времени "Ледяного похода" прошло ровно 60 лет, за эти годы Роман Гуль написал много других интересных и нужных книг, и вот теперь в 1981 году вышел первый том его трилогии "Я унес Россию".

Читая первый том трилогии — "Россия в Германии", видишь и убеждаешься, что автор не только сумел сохранить в памяти всё, связанное с Россией, не только отлично помнит и ярко повествует о прошлых годах и событиях, но — равно как и другие герои книги — действительно унес с собой Россию, спас то, что от неё осталось.

Трилогия "Я унёс Россию" имеет подзаголовок — "Апология эмиграции". Исходя из этимологии слова "апология" следует предположить, что автор поставил своей целью защитить, оправдать белоэмиграцию. В действительности же "бежавшая на Запад" русская интеллигенция, о которой пишет Гуль, заслуживает не оправдания, а скорее восхваления.

"Россия в Германии" начинается с того, что автор коротко рассказывает о себе до эмиграции, о своих родных, о предках, а также о губернской Пензе — родине Р. Гуля. "Я умер бы от 'изнеможения блаженства', — пишет он, — если бы увидел свою Пензу. Но её увидеть

уже нельзя. За годы революции *моя Пенза* исчезла. Я получил как-то альбом фотографий *советской* Пензы. Как же изуродовала и обезобразила Пензу власть этой 'интернационалистической' партии".

Да, при всей своей любви к родине — так, что даже кажется, "умер бы от изнеможения блаженства", доведись ему на неё вернуться, — Роману Гулю чуждо животное чувство ностальгии. Грабежи, убийства, поджоги, расстрелы именем революции Р. Гуль не может ни забыть, ни простить. В этом он схож с И. Буниным.

Интересны страницы, посвященные графу А. Толстому, ставшему впоследствии депутатом Верховного Совета СССР, членом Академии наук СССР и трижды сталинским лауреатом. Перед читателем встаёт живой, а не хрестоматийный образ автора "Хождений по мукам" и "Хмурого утра", которые он в силу своих "чревоугоднических" наклонностей переписал, переделал и приноровил к требованиям, предъявляемым к советским писателям. Роман Гуль не то чтобы "осуждает" А. Толстого, а лишь иронизирует над его "восхождением к вершинам советской славы".

"В начале 20-х годов в русском зарубежье выступили два народившихся идеологических течения — евразийство и сменовеховство", — пишет Р. Гуль в главе, озаглавленной "Иллюзии примирения", и далее скупыми, точными мазками рисует картину страшной трагедии людей обманувшихся, обманутых, попавших в ловушку и сгинувших в СССР. "Теперь-то, из прекрасного далека истории мы видим, мы понимаем, что головка большевиков все иллюзии примирения встречала бдительно-враждебно, по-гангстерски: *использовать*— как можно, а потом — в штаб Духонина". Главы "Евразийство", "Сменовеховцы", "П.Н.Милюков", "В.А.Маклаков', "Возвращенчество" и другие, в которых Гуль рассказывает об "иллюзиях примирения", читаются с особенным интересом. Их хочется перечитывать, чтобы до конца понять, не упустить даже то, что автор, не желая быть навязчиво-дидактическим рассказчиком, будто прячет между строк. К слову сказать, Роман Гуль, по тому, как он пишет, каким языком говорит, как мыслит и чувствует, совсем не похож на какого-нибудь "дядю", вспоминающего: "Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя..." Хоть он и говорит в своём вступлении, что "достиг Мафусаилова возраста", об этом тут же забывается, ибо никакой возрастной дистанции между читателем и автором не возникает.

Уже этот первый том трилогии охватывает столько, что не знаешь с чего начать. Кому не интересно услышать о Марине Цветаевой, Саше

Черном, Максимилиане Волошине? Или, например, о публичных выступлениях в Берлине Сергея Есенина. "Честно говоря, — вспоминает Роман Гуль, — мне было его жаль, в нём было что-то жалостливое, невооружённым взглядом было видно, что этот человек несчастен самым настоящим несчастьем". Интересны страницы о дружбе с Константином Фединым и другими Серапионами.

"Я унёс Россию" — отнюдь не "замогильные мемуары", как называет свою книгу автор; скорее, это нового вида историко-философский роман, т. к. герои, персонажи книги — реальные люди, судьбы их — заставляют думать и размышлять о путях России и ее будущем. Кроме того, каждый образ написан Гулем художественно, несмотря на то, что книга носит форму воспоминаний. Взять, к примеру, портрет Марины Цветаевой: "Как-то Эренбург сказал, что Цветаева хочет со мной встретиться. Я пришёл. Постучал в дверь комнаты. Услышал — "войдите!" Вошёл. Марина Ивановна лежала на каком-то странном предмете, по-моему, на сундуке, покрытом ковром. Первое, что бросилось мне в глаза — её руки — все в серебряных браслетах и кольцах (дешёвых), как у цыганки". Гуль пишет, — "как женщина Цветаева не была привлекательна... Ходила широким шагом, на ногах — полумужские ботинки..." Так, рисуя, вроде бы, один контур, Гуль создает ясный образ Цветаевой.

Отдельные главы "России в Германии" представляют собой законченные новеллы, органично входящие в канву романа. Это, в первую очередь, глава "Бегство матери из Сов. России", которая читается в полном смысле с захватывающим интересом, и глава "Моя жена Ольга Андреевна", в которой Гуль, полный доверия к читателю, пишет, всё равно как бы говорит другу: "С Олечкой мы счастливо прожили 50 лет (двух месяцев не дотянули до золотой свадьбы)". Затем, сам того не замечая, придаёт своему повествованию новеллистически-художественную форму.

"Я унёс Россию" — книга замечательная, она выходит за рамки мемуарного жанра и представляет своего рода "философский трактат", облечённый в художественную форму. Лейтмотив произведения начинает звучать уже во второй главе книги, когда Гуль пишет: "Кажется, что стремительный лёт России в бездонную пропасть не кончился и через 60 лет, что Россия всё ещё куда-то летит и летит, не достигая дна. А до дна она дойдёт только во всеобщем космическом атомном катаклизме, когда и она и другие страны превратятся в отравленные пустыни с миллионами трупов. Вот тогда ленинская 'авантюра во

всемирном масштабе' закончится. Дно будет наконец-то достигнуто".

Роман Гуль далеко не оптимист, веры в возрождение России у него почти не осталось. И откуда её взять, если

"Идут бараны в ряд,
Бьют барабаны!
Шкуру для них дают
Сами бараны!"

"Я унёс Россию" — книга не столько о России, сколько об общечеловеческих проблемах современного мира.

Юлия Тролль

УСТАМИ БУНИНЫХ. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы. Под редакцией Милицы Грин. В трех томах. Том II. "Посев". Франкфурт 1981.

В книге 131 "Нового журнала" я дал весьма положительный отзыв о первом томе дневников "Устами Буниных". Будучи уже тогда знаком с содержанием позднейших записей, я высказал мнение, что второй том (и даст Бог третий) будет таким же захватывающе интересным и необходимым для понимания, как Бунина так и эмиграции "первого призыва".

"Во второй том этой книги", пишет проф. Грин, "входят дневниковые записи первого периода эмигрантской жизни Ивана Алексеевича и Веры Николаевны. Начинаются они с приезда Буниных в Париж весной 1922 года (опечатка: Бунины приехали в Париж в конце марта 1920 года, *С. К.*), кончаются получением Буниным Нобелевской премии по литературе в конце 1933 года".

Каков лейтмотив дневников? Они настолько богаты самым разнообразным содержанием — от личного самочувствия до судеб России, — что ответить коротко на поставленный вопрос невозможно. Конечно, душевная травма потери родины, шок от "окаянных дней" — жизни под большевиками в Москве и в Одессе, проходят красной нитью сквозь 300 страниц второго тома. Боль по России особенно сильно звучит в первые годы эмиграции. "Фондаминский говорит, что здесь не верят тому, что рассказывается о большевиках. (...) не только французы, но и русские, которые не жили при большевиках, не хотят даже узнать, что такое большевики, и твердят, что (...) там много идей и красоты" (4 апр. 1920, стр. 7). К интереснейшим местам "политического"

характера относятся меткие портреты политических деятелей: А. Ф. Керенского, В. А. Кривошеина, В. А. Маклакова, Б. В. Савинкова, П. Б. Струве и многих других. С краткими комментариями встречаются имена военных, участников Белого движения: Врангеля, Кутепова, Миллера. С большим талантом, под стать бунинскому перу, описаны Верой Николаевной похороны Великого Князя Николая Николаевича. Это как бы набросок к незабываемой главе, вошедшей в книгу "Жизнь Арсеньева".

Как известно Бунины жили главным образом в Приморских Альпах неподалеку от Ниццы, время от времени посещая Париж. Туда к ним наезжали знакомые — Зайцевы, Мережковские, Степуны, Рахманиновы. На вилле у Буниных постоянно жили писатели Л. Ф. Зуров и Г. Н. Кузнецова. Без преувеличения можно сказать, что перед глазами читателя проходит длинной вереницей цвет литературной России великого русского исхода. Читатель дневников узнаёт, как создавались землячества, литературные кружки, возникали издательства, рождались и умирали газеты и журналы, как горела и гасла надежда на возвращение в Россию, и как редели ряды эмиграции.

Всюду и непрерывно витает смерть. И Бунин не был бы Буниным, если бы не вложил в описание этого своё, исключительно бунинское мастерство и своё неповторимое умение выразить в нескольких словах загадочность смерти. "Умер Осип Серг. Цетлин. И осталось Монте Карло, вечная праздничная синь моря" (18.X.33; стр. 290). Или: "Известие в письме из Москвы о смерти Насти (жена брата, Е. А. Бунина, *С. К.*). Оказывается умерла уже 'года три назад'. Какой маленький круг от начала до конца человеческой жизни! Как я помню, как я гимназистом ехал к ней, держа венчальную иконку, в карете в Знаменское! В жизни то и дело изумление, недоумение, а выражать это — наивность!" (1.X.33; стр. 291).

Естественно, что в дневниках отводится больше всего места делам литературным. Очень живы зарисовки писателей, поэтов, критиков, ученых, журналистов, имена которых прочно укоренились в русской литературе. Занимательны, а порою и спорны, суждения Буниных о собратьях по перу. Среди них Бальмонт, Гиппиус, Дон Аминадо (Шполянский), Б. К. Зайцев, Зуров, Георгий Иванов, Куприн, Ландау (Марк Алданов), Мережковский, А. Н. Толстой, Тэффи, Ходасевич, М. Цетлин, Цветаева, И. С. Шмелев. Вообще же в "Именном указателе" около 600 фамилий!

Заботы о хлебе насущном, неуверенность в завтрашнем дне, последние десять франков в кармане неотъемлемая часть дневников. "(...) Готовлю обед. Был Рощин. Ни копейки! Забегал он и к Нилус. У них уже желтая повестка — если не заплатят до завтра полудня, то придут описывать. Я покормила Рошина, но дать могла лишь 3 фр., а Ян (так Вера Николаевна называла мужа, *С. К.*) 2 фр., т. к. у самих одни долги" (27 февраля 1929 года). Мысли о России, о жизни на родине, воспоминания о ней не сходят со страниц дневников. Вот запись Буниной: "Наше Рождество. Тоска о прошлом. Беспокойство о тех, кто там. Безрадостность этого дня здесь" (25 дек./7 янв. 1925 г., стр. 133). Нравственное удовлетворение и временное материальное облегчение принесла Нобелевская премия (1933 г.). "О закулисных интригах в связи с присуждением ее Бунину пишется в дневниках. Об этом много и компетентно писал Андрей Седых.

"Устами Буниных" удивительная, замечательная книга. Она очень своевременна, местами она перекликается с книгой Романа Гуля "Я унес Россию". Местами эти две книги дополняют друг друга, дают сходные оценки людей и событий. "Устами Буниных" нужная и исторически важная книга, в особенности теперь, когда настоящая Россия уходит в небытие, когда столько на нее наклеветано и так искажено ее правдивое лицо. Дневники Буниных, без претензий на литературность, подкупают своей искренностью, личное отходит на задний план, общечеловеческое и общерусское остается. Напечатание их в нынешней Советской России немыслимо и поэтому мы должны быть очень благодарны Милице Эдуардовне Грин, заслуженному профессору Эдинбургского университета, за обнародование этих неповторимых записей. Она привела в порядок рукописи, снабдила необходимыми примечаниями и внушительным именным указателем. Каждому известно сколько героического труда стоит издание книги в эмигрантских условиях. С нетерпением будем ждать выхода третьего тома, в который входят записи "после нобелевского" периода, военных и послевоенных лет жизни Буниных.

Сергей Крыжицкий

ALLA CRONE. "EAST LIES THE SUN". (A Dell Book. First printing November 1981. Copyright by Alla Crone 1982) поступает в продажу между ноябрем 1981 и мартом 1982 г.

Получив от издательства готовые к печати оттиски, надо было внимательно их прочесть, исправить погрешности, ошибки, опечатки и т. д. Содержание меня заинтересовало и роман был прочитан в один присест. Приятно удивила аккуратность и точность работы. Как пример укажу на то, что бабушка Тани (героиня романа) в Москве и в Самаре в 1917 году несколько раз в разговорах о В. О. Каппель говорит: — полковник. Через несколько страниц происходят события 1919 г. и он уже повсюду — генерал. Роман — не протокол, но точность всегда радует.

Такой с виду пустяк, как передача русских слов по-английски требует большого уменья. Принятые транслитерации часто не годятся. В романе, где возможно, используется система Библиотеки Конгресса. Если она уродует русское произношение, изобретается подходящий вариант.

Что же это за роман? Исторический, психологический, эротический, социально-философский, приключенческий? В нём есть всё, что может подойти под любую рубрику. По форме это роман-эпопея: по длине (45 глав) и по сложному и богатому материалу, охватывает целую эпоху: жизнь в Маньчжурии, революция в России, отступление русской армии в Сибири на восток, и опять жизнь в Маньчжурии.

В романе есть сведения по русской истории, музыке, живописи, о русских обычаях, без обычных ошибок, которыми часто пестрят книги о России. Для облегчения чтения американским читателям дана подробная карта: — Москва, Самара... с отступлением русской армии на восток. Русские фамилии даны в легком для американцев чтении. Кстати, пожалуй, впервые американский читатель узнает, как был предан адмирал А. В. Колчак генералом Жаненом. Об этом предательстве написано откровенно. Своим американским друзьям буду горячо рекомендовать эту книгу. Им будет полезно узнать о такой "дружбе народов".

В романе ничто не умалчивается, не преувеличивается. Всё распределено строго пропорционально. Эпизоды сбалансированы. Пропорции соблюдены. Каждая глава кончается на интригующем читателя месте, что ведёт к увлекательному чтению.

О литературной технике можно сказать: писательница ею вполне владеет. Все приёмы ей знакомы, включая приём приближения, которым теперь с успехом пользуется кинематограф (приём, применённый Л. Н. Толстым в романе "Война и Мир" в сцене умирающего А. Болконского). Так называемый flashback или воспоминания сокращают повествование, помогая ориентировке читателя. Чувство меры нигде не нарушено.

Разрешение трудных ситуаций и проблем идёт правильным путём. Читатель верит в естественность событий, а это — главное для занимательного чтения. Действующих лиц много, но не утомительно много. Все приемы так наз. strong story, или хорошо сработанного романа, налицо. Архитектоника или композиция строго продуманы и хорошо выполнены. Уместные небольшие "антракты" — описания красоты природы, краткие интересные эпизоды и т. п. позволяют читателю "перевести дух".

В идейном плане роман повторяет лучшие русские традиции: никого не осуждать по частным случаям. Осуждаются недостойные поступки.Они иногда анализируются "мудрыми персонажами", которые вскрывают их неблаговидность. Красной нитью проходит идея, что в гражданской войне были люди, не желавшие истреблять своих сограждан. Но зверства и жестокости также нигде не замалчиваются. Показано, что некоторые люди в исключительно тяжелых положениях пользуются юмором для защиты своей жизнеспособности. Сословная отчужденность (преувеличенная в иностранных романах о русской жизни и особенно в кинематографе) исчезает.

Всё, что было в то время: отчаяние, надежды, слухи, сплетни, клевета, невообразимая злоба, исключительная доброта, сложнейшие чувства, вся жизнь составляет ткань романа и... ничего мелодраматического. В этом сила романа.

П. П. Лапиккен.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Многоуважаемый Мицуёси Нумано,

В "Новом Журнале", кн. 145, напечатана Ваша статья (перепечатана из сборника 1981, Токио) "Судьба искусства Юрия Олеши. Его жизнь в метафорах". Прочтя Вашу работу захотелось мне, как слависту и историку русской литературы, обменяться мнениями. Вперед скажу, что с предельно резким мнением А. Белинкова о поведении Ю. Олеши и о его творчестве я не могу согласиться. Подлостей, предательства за Ю. Олешей я не знаю. Бойцом типа А. Солженицына он не был. Жизнь и партия его придавили. Один довольно известный югославский историк литературы ездил в Москву и познакомился с Ю. Олешей незадолго до его кончины. Ю. Олеша жаловался, что ему надо подниматься при больном сердце на шестой этаж, что трудно доставать лекарства и т. п. Это не судьба тех, кто прислуживается к властям. Но это замечание не касается Вашего эссэ в его существе. Позвольте же мне, коллега, не согласиться с Вами, а частично и с Ю. Олешей и его критиками. Дело в том, что при всем блеске некоторых метафор-сравнений автора "Зависти", "Трех толстяков" и др., не они решают дело о том, кто может быть по праву назван талантливым, значительным писателем. В структуру литературного произведения необходимо входит композиция, идея, сюжет и мотивы охваченные индивидуальной стихией языка писателя. Метафоры не создают основу искусства ни у прозаика, ни у поэта. Ю. Олеша интересен своей чуткой, оригинальной изобретательностью в области мотивов и их сцеплений. Отсюда и его любовь к фантастике, так же как и у А. Грина.

С искренним уважением

Ростислав Плетнев, февраль, 1982

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

А. Величковский. Нерукотворный свет. Стихи. Предисловие Ю. Иваска. Послесловие Р. Герра. Париж. 1981 (46 стр.).

А. Федосеев. Благодетели. Лондон. 1982 (35 стр.).

Петро Григоренко. В подполье можно встретить только крыс. Изд. "Детинец". Нью Йорк. 1981 (844 стр.).

Устами Буниных. Дневники И. А. и В. Н. Буниных и другие материалы. Под редакцией Милицы Грин. Том II. "Посев". Франкфурт. 1981 (318 стр.).

Ив. Кремнев (А. Чаянов). Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии. "Серебряный век". Нью Йорк. 1981 (93 стр.).

В. Аксенов. Затоваренная бочкотара. Рандеву. Повести. "Серебряный век". Нью Йорк (141 стр.).

Д. Штурман. "Наш новый мир". Теория, эксперимент, результат. Изд. "Лексикон". Иерусалим. 1981 (367 стр.).

Н. Ульянов. Скрипты. Изд. "Эрмитаж". Анн Арбор. 1981 (227 стр.).

Н. Коржавин. Сплетения. Стихи. "Посев". 1981 (250 стр.).

Л. Ржевский. Бунт подсолнечника. Изд. "Эрмитаж". Анн Арбор. 1981 (235 стр.).

А. Скачинский. Было это так. Научно-фантастический рассказ. Ашфорд. 1980 (30 стр.).

Игумен Геннадий (Эйкалович). Беседа об антисемитизме. Изд. "Глобус" Сан Франциско. 1981 (43 стр.).

Т. Величковская. Цветок и камень. Стихи. Париж. 1981 (105 стр.).

О. Ильинский. Стихи. Книга пятая. Нью Йорк. 1981 (94 стр.).

А. Михник. Польский диалог: церковь — левые. Перев. с польского Н. Горбаневской. Лондон. 1980 (250 стр.).

В. Ворошильский. Сны под снегом. Повесть о жизни М. Салтыкова-Щедрина. Анонимный перевод распространяемый самиздатом. Лондон. 1980. (176 стр.).

Н. Резникова. Огненная память. Воспоминания о А. Ремизове. Беркли. 1980 (145 стр.).

Прот. А. Киселев ...Память их в род и род. Нью Йорк. 1981.(107 стр.).

Странник. Переписка с Кленовским. Редакция Р. Герра. Париж. 1981 (317 стр.).

ВСКОРЕ ВЫХОДИТ НОВАЯ КНИГА

РОМАНА ГУЛЯ

ОДВУКОНЬ ДВА

статьи

Содержание: "Прогулки хама с Пушкиным", "Ленин и Архипелаг ГУЛАГ", "Все ли было благополучно в Датском королевстве?", "Алексей Толстой" "О книге Глеба Струве", "Солженицын в СССР и на Западе", "Книга Жореса Медведева", "Переписка через океан Г. Иванова и Р. Гуля", "К вопросу об 'автокефалии' ", "Два некролога: Б. И. Николаевский и В. А. Кравченко".

Роман ГУЛЬ

«Я унес Россию»

АПОЛОГИЯ ЭМИГРАЦИИ

ТОМ I. «РОССИЯ В ГЕРМАНИИ»

Полный текст. В «Новом Журнале» печатался сокращенный.
В книге 365 стр., много фотографий. Цена — 10 долларов.

ОТЗЫВЫ ПЕЧАТИ: «Талант Р. Гуля, как портретиста, не может не восхищать» («Новое Русское Слово», Н. Андреев).

«Читать в эмиграции приходится много, но потрясаться не так уж часто... Книга Романа Гуля для меня — потрясенье» («Новое Русское Слово», Дора Штурман).

«Книга «Я унес Россию» — ценнейшее свидетельство, дающее живое представление о жизни и деятельности русской эмиграции... «Я унес Россию» исключительно полезна для новейшей эмиграции» («Русская Мысль», М. Гольдштейн).

«Невероятную правду о создании на месте предполагаемого Земного Рая небывалой каторги рассказал побывавший в самом эпицентре Всероссийской катастрофы А. Солженицын... Дочитав книгу Романа Гуля, тоже хватаешься в отчаяньи за голову: «Боже! Что они с ней сделали? И как мы могли это позволить?» («Русская Мысль», М. Сергеев).

«Эту честную и правдивую во многом книгу следует почитать тем, кто интересуется первым периодом российского зарубежья... Многое, многое в книге замечательно» («Часовой», В. О.).

«Захватывает в описаниях движенье и портрет в действии» («Новый Журнал», Р. Плетнев).

«Внутренней свободой дышит вся книга Р. Гуля («Голос Зарубежья», В. Пирожкова).

«. . замечательная книга...» («Голос Зарубежья», Н. Нефедов).

Заказы направлять в "Новый Журнал":
New Review, 2700 Broadway, New York, N. Y. 10025.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

под редакцией

РОМАНА ГУЛЯ
и
Е. Л. МАГЕРОВСКОГО

■

В 1982 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

■

Подписная цена на 1981 год 24 доллара
(за 4 книги)

Цена одной книги — 7 долларов
Во Франции — 25 франков

■

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы: 666-1692

Прием по делам редакции и конторы — по понедельникам и средам, от 10-ти до 12-ти час дня